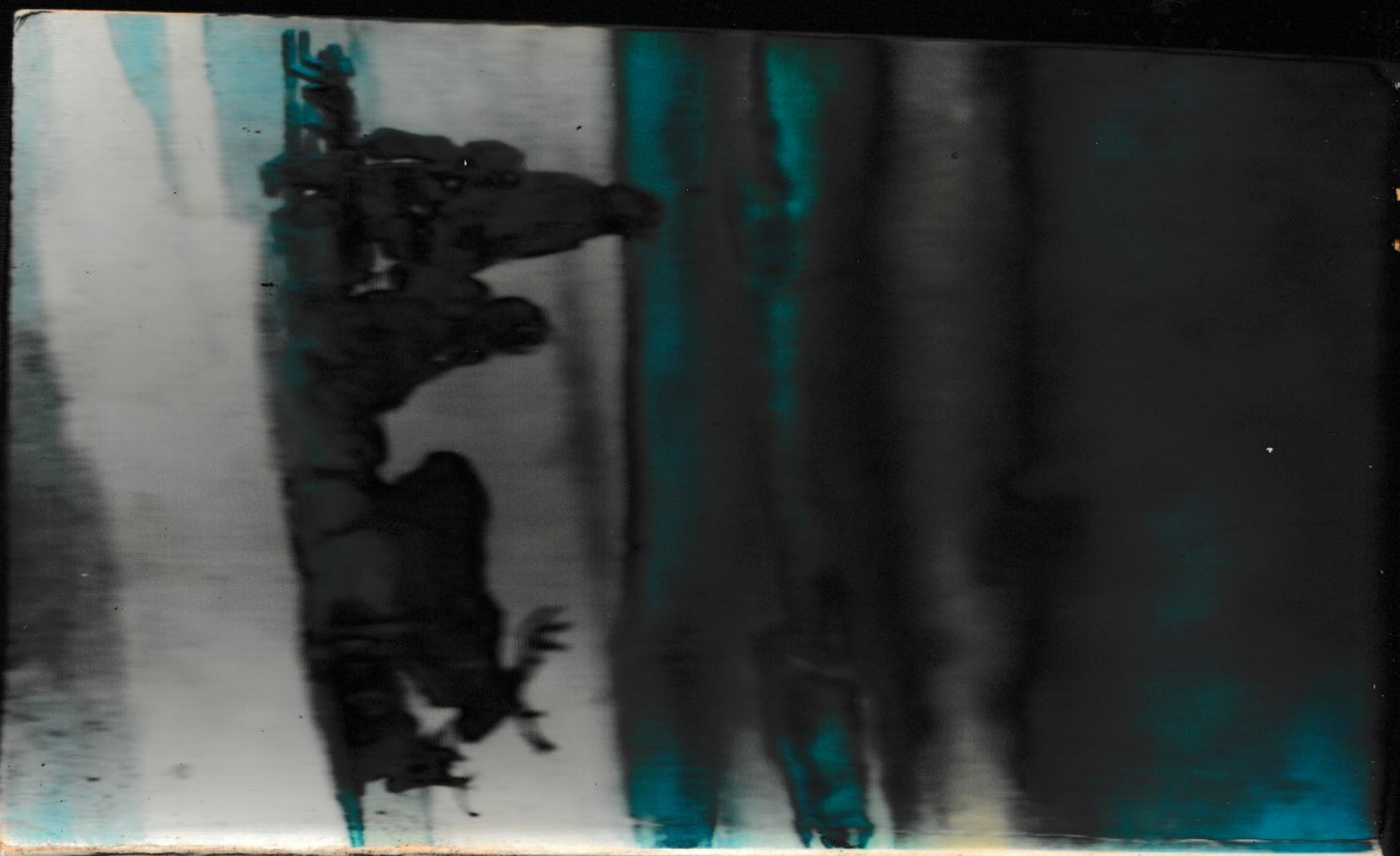

В. Каверин

ДВА КАПИТАНА

Книга вторая

В. Каверин

ДВА КАПИТАНА

Роман
в двух книгах

Книга вторая

Москва
«Художественная литература»
1979

Р2
К 12

Художник
А. Лурье

Каверин В. А.
К12 **Два капитана:** Роман. Кн. 2.—М.: Худож. лит., 1979. 288 с.

Во второй книге романа В. А. Каверина «Два капитана» продолжается история юноши Сани Григорьева, девизом которого стали слова «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Р

К $\frac{70302\text{-}392}{028(01)\text{-}79}$ Б3-37-18-79

К $\frac{70302\text{-}391}{028(01)\text{-}79}$ Б3-37-18-79

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1979 г.

Часть шестая,
рассказанная Катей Татариновой

МОЛОДОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Глава первая
«ТЫ ЕГО НЕ ЗНАЕШЬ»

Иван Павлыч деликатно ушел из вагона, а Валя все передавал приветы какому-то Павлу Петровичу из зверового совхоза: «Фу, черт! И доктору! Чуть не забыл!», пока Кира не вернулась и не увела его за руку. Мы остались одни. Ох, как мне не хотелось, чтобы Саня уезжал!

Вот какой он был в эту минуту — мне хотелось запомнить его всего, а не только глаза, в которые я смотрела: он стоял без фуражки и был такой молодой, что я сказала, что ему еще рано жениться. В форме он казался выше, но все-таки был маленького роста и, должно быть, поэтому иногда невольно поднимался на цыпочки — и сейчас, когда я обернулась. Он был подтянутый, аккуратный, но на макушке торчал хохол, который удивительно шел ему, особенно когда он улыбался. В эту минуту, когда мы обнялись и я в последний раз обернулась с площадки, он улыбался и был похож на того решительного, черного, милого Саню, в которого я когда-то влюбилась.

Все где-то стояли, но я не видела никого и чуть не упала, когда спускалась с площадки. Ох, как мне не хотелось, чтобы он уезжал!

Он взмахнул фуражкой, когда тронулся поезд, и я шла рядом с вагоном и все говорила: «Да, да».

— Будешь писать?

— Да, да!

— Каждый день?

— Да!

— Приедешь?

— Да, да!

— Ты любишь меня?

Это он спросил шепотом, но я догадалась по движению губ.

— Да, да!

С вокзала мы поехали провожать Ивана Павлыча, и дорогой он все говорил о Сане.

— Главное, не нужно понимать его слишком сложно,— сказал он.— А ты самолюбивая, и первое время вы будете ссориться. Ты, Катя, вообще его почти не знаешь.

— Здрасти!

— Знаешь, какая у него главная черта? Он всегда останется юношей, потому что это пылкая душа, у которой есть свои идеалы.— Он строго посмотрел на меня и повторил: — Душа, у которой есть свои идеалы... А ты гордая — и можешь этого не заметить.

Я засмеялась.

— И ничего смешного. Конечно, гордая, и девочкой, между прочим, была совсем другая. А он — вспыльчивый. Ты вообще подумай о нем, Катя.

Я сказала, что я и так думаю о нем слишком много и не такой уж он хороший, чтобы о нем думать и думать. Но вечером я так и сделала: села и стала думать о Сане. Все ушли. Валя с Кирой в кино, а Александра Дмитриевна в какой-то клуб — читать литмонтаж по Горькому «Страсти-мордасти», который она сама составила и которым очень гордилась, а я долго сидела над своей картой, а потом бросила ее и стала думать.

Да, Иван Павлыч прав — я не знаю его! Мне все еще невольно представляется тот мальчик в куртке, который когда-то ждал меня в сквере на Триумфальной и все ходил, ходил, пока я вдруг не решилась и не пошла к нему через площадь. Тот мальчик, которого я обняла, несмотря на то что три школы могли видеть, как мы целовались! Но тот мальчик существовал еще только в моем воображении, а новый Саня был так же не похож на него, как не похож был наш первый поцелуй на то, что теперь было между нами.

Но я вовсе не понимала его слишком сложно. Я просто видела, что за тем миром мыслей и чувств, который я знала прежде, в нем появился еще целый мир, о котором я не имела никакого понятия. Это был мир его

профессии — мир однообразных и опасных рейсов на Крайнем Севере, неожиданных встреч со знакомыми летчиками в Доме пилота, детских восторгов перед новой машиной,— мир, без которого он не мог бы прожить и недели. Но мне в этом мире пока еще не было места. Однажды он рассказывал об опасном полете, и я поймала себя на очень странном чувстве — я слушала его, как будто он рассказывал о ком-то другом. Я не могла вообразить, что это он, застигнутый пургой, только чудом не погиб при посадке, а потом трое суток сидел в самолете, стараясь не спать и медленно замерзая. Это было глупо, но я сказала:

— А ты не можешь устроить, чтобы этого больше не было?

У него стало смущенное лицо, и он сказал насмешливо:

— Есть! Больше не будет.

...Разумеется, он сам мог бы передать мне свой разговор с Вышимирским. Но он попросил Ивана Павлыча. Он почувствовал, что дело совсем не в том, что он лично оказался прав. Здесь была не личная правда, а совсем другая, и я должна была выслушать ее именно от Ивана Павлыча, который любил маму и до сих пор одинок и несчастен. Я знала, что в этот вечер Саня ждал меня на улице, и нисколько не удивилась, увидев его у входа в садик на углу Воротниковского и Садовой. Но он не подошел, хотя я знала, что он идет за мной до самого дома. Он понял, что мне нужно побыть одной и что, как бы я ни была близка к нему в эту минуту, а все-таки страшно далека, потому что он оказался прав, а я — неправа и оскорблена тем, что́ узнала от Кораблева...

Мы провели только один вечер вместе за все время, что Саня был в Москве. Он пришел очень усталый, и Александра Дмитриевна сейчас же ушла, хотя ей хотелось рассказать нам о том, как трудно выступать перед публикой и как непременно нужно волноваться, а то ничего не выйдет. Солнце садилось, и узенький Сивцев Вражек был так полон им, как будто оно махнуло рукой на всю остальную землю и решило навсегда поместиться в этом кривом переулке. Я поила Саню чаем — он любит крепкий чай — и все смотрела, как он ест и пьет, и наконец он заставил меня сесть и тоже пить чай вместе с ним.

Потом он вдруг вспомнил, как мы ходили на каток, и выдумал, что один раз на катке поцеловал меня в щеку и что «это было что-то страшно твердое, пушистое и холодное». А я вспомнила, как он судил Евгения Онегина и все время мрачно смотрел на меня, а потом в заключительном слове назвал Гришку Фабера «мастистый».

— А помнишь: «Григорьев — яркая индивидуальность, а Диккенса не читал»?

— Еще бы! А с тех пор прочитал?

— Нет,— грустно сказал Саня,— все некогда было. Вольтера прочитал — «Орлеанская девственница». У нас в Заполярье, в библиотеке, почему-то много книг Вольтера.

У него глаза казались очень черными в сумерках, и мне вдруг показалось, что я вижу только эти глаза, а все вокруг темнеет и уходит. Я хотела сказать, что это смешно, что в Заполярье так много Вольтера, но мы вдруг много раз быстро поцеловались. В эту минуту позвонил телефон, я вышла и целых полчаса разговаривала со своей старой профессоршей, которая называла меня «деточкой» и которой нужно было знать решительно все: и где я теперь обедаю, и купила ли я тот хорошенький абажур у «Мюра»... А когда я вернулась, Саня спал. Я окликнула его, но мне сразу же стало жалко, и я присела подле него на корточки и стала рассматривать близко-близко...

В этот вечер Саня передал мне дневник штурмана, и все бумаги, и фото. Дневник лежал в особой папке с замочком. Когда Саня ушел, я долго рассматривала эти обломанные по краям страницы, покрытые кривыми, тесными строчками и вдруг — беспомощными, широкими, точно рука, разбежавшись, еще писала, а мысль уже бродила невесть где. Каким упорством, какой силой воли нужно обладать, чтобы прочитать эти дневники!

Багор с надписью «Св. Мария» остался в Заполярье, но Саня привез фото. И должно быть, ни один багор в мире еще не был снят так превосходно!

Все это было как бы осколки одной большой истории, разлетевшейся по всему свету, и Саня подобрал их и написал эту историю или еще напишет. А я? Я не сделала ничего и, если бы не Саня, даже не узнала бы о своем отце ничего, кроме того, что́ мне было известно в тот прощальный день на Энском вокзале, когда отец

взял меня на руки и в последний раз высоко подкинул и поймал своими добрыми, большими руками.

Я обещала Сане писать каждый день, но каждый день писать было не о чем: по-прежнему я жила у Киры, много читала и работала, хотя это было не очень удобно, потому что ящики с коллекциями так и стояли в передней, а карту приходилось чертить на рояле.

Тем летом я впервые не ездила в поле — нужно было обработать материалы двух предыдущих лет, и Башкирское управление, в котором я служила, разрешило мне остаться на лето в Москве.

Бабушка приходила ко мне каждый день, и вообще все было прекрасно — между прочим, еще и потому, что Валя с Кирой вдруг стали какие-то молчаливые, серьезные и все время сидели и тихо разговаривали в кухне. Больше им некуда было деться, потому что вся квартира состояла из одной большой старинной кухни, делившейся на «кухню вообще» и «собственно кухню». Валя с Кирой сидели за перегородкой, то есть в «собственно кухне», так что Александре Дмитриевне приходилось теперь готовить ужин в «кухне вообще».

Больше Валя не дарил цветов — очевидно, у него не было денег,— но зато однажды принес белую крысу и очень огорчился, когда Кира заорала и вскочила на стол. Он долго объяснял ей, что это прекрасный экземпляр — крыса альбинос, редкая штука! Но Кира все орала и не хотела слезать со стола, так что ему пришлось завязать крысу альбиноса в носовой платок и положить на столик в передней. Но там ее нашла Александра Дмитриевна, вернувшаяся со своего концерта. И тут поднялся такой крик, что Вале пришлось уйти со своим подарком.

Но по ночам, когда мы с Кирой, нашептавшись вволю, по очереди говорили друг другу: «Ну, спать!» — и она вдруг засыпала, и во сне у нее становилось смешное, счастливое выражение лица, в эти минуты, когда я оставалась одна, тоска наконец добиралась до сердца. Я начинала думать о том, какая у них чу́дная любовь, самое лучшее время в жизни, и как она не похожа на нашу! Они — вместе и видятся каждый день, а мы так далеко друг от друга!

И, как из окна вагона, мне виделись поля и леса, и снова поля, потом тайга и холодные ленты северных

рек, и равнины, равнины, покрытые снегом,— бесконечные пространства земли, которые легли между нами.

«Конечно, мы увидимся,— уверяла я себя.— Я поеду к нему, и все будет прекрасно. Два года я не брала отпуска, а теперь возьму и поеду, или он приедет, быть может, еще в июле».

Но тоска все не проходила.

Карта была трудная, потому что в прежних картах многое было напутано, и теперь все приходилось делать сначала. Но чем труднее, тем с большим азартом я работала в эти дни, после Саниного отъезда. Несмотря на мои тоскливые ночи, я жила с таким чувством, как будто все тяжелое, скучное и неясное осталось позади, а впереди — только интересное и новое, от которого замирает сердце и становится весело, и легко, и немного страшно.

Глава вторая
НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Повсюду, где Саня был в последний день, он оставил мой телефон: и в Главсевморпути, и в «Правде»... Я немного испугалась, когда он сказал мне об этом.

— А кто же я такая? Чтобы кого спрашивали?

— Катерину Ивановну Татаринову-Григорьеву,— серьезно ответил Саня.

Я решила, что он шутит. Но не прошло и трех дней после его отъезда, как кто-то позвонил и попросил к телефону Катерину Ивановну Татаринову-Григорьеву.

— Я вас слушаю.

— Это говорят из «Правды».

И журналист, фамилию которого я часто встречала в «Правде», сказал, что Санина статья вызвала многочисленные отклики и что об авторе пришел запрос из Арктического института.

— Поздравьте вашего мужа с успехом.

Я хотела сказать, что он еще не мой муж, но почему-то промолчала.

— Насколько мне известно, я имею удовольствие разговаривать с дочерью капитана Татаринова?

— Да.

— Нет ли у вас еще каких-либо материалов, относящихся к жизни и деятельности вашего отца?

Я сказала, что есть, но без разрешения Александра Ивановича — первый раз в жизни я назвала Саню по имени-отчеству — я, к сожалению, не могу ими распоряжаться.

— Ну, мы ему напишем...

Из «Гражданской авиации» тоже позвонили и спросили, куда послать номер с Саниной статьей о креплении самолета во время пурги,— а я даже и не знала, что он написал эту статью. Я попросила два номера — один для себя. Потом позвонили из «Литературной газеты» и спросили, какой Григорьев — не писатель ли?

Но самым важным был разговор с Ч. Не знаю, что Саня рассказывал ему обо мне, но он позвонил и сразу стал говорить со мной, как со старой знакомой.

— Пенсию получаете?

Я не поняла:

— За отца.

— Нет.

— Нужно хлопотать.

Потом он засмеялся и сказал, что в Главсевморпути перепугались, что мой отец открыл Северную Землю, а у них записано, что кто-то другой.

— Вообще мне что-то не того... не нравятся эти разговоры.

— А я думала, что экспедиция решена.

— Решена, а теперь вдруг оказывается — не решена. Главное, я им говорю: вы его с «Пахтусовым» пошлите. А они говорят: там уже есть пилот. Мало ли что! Ведь у вашего-то определенная мысль!

Он так и говорил «ваш-то» и при этом басил и окал.

— Ну ладно, я еще там... А вы к нам заходите.

Я сказала, что буду очень счастлива, и мы простились...

Каждый день я получала письмо, а то и два от Ромашова. «Вторая партия Башкирского геологического управления» — было написано на конверте, как будто письмо отправлялось в учреждение. Действительно, я была в те годы чем-то вроде учреждения — иначе никак нельзя было оформить мою работу в Москве. Но этот адрес был шуткой, и такой жалкой выглядела эта шутка, которую он повторял каждый день.

Сперва я читала эти письма, потом стала возвращать нераспечатанными, а потом перестала читать и возвращать. Но мне почему-то было страшно жечь эти пись-

ма; они валялись где попало, я невольно натыкалась на них — и отдергивала руку.

Точно так же я натыкалась и на автора этих писем. Прежде он всегда был очень занят, и я просто не могла понять, как он теперь находит время всегда стоять на улице, когда бы я ни вышла из дому. Я встречала его в магазинах, в театре, и это было очень неприятно, потому что он кланялся, а я не отвечала. Он делал движение, чтобы подойти,— я отворачивалась.

Он приезжал к Вале, плакал и страшно накричал на него, когда Валя в шутку привел ему подобный пример отвергнутой любви среди обезьян шимпанзе.

Словом, он занимал так много места в моей жизни, что в конце концов у меня началась какая-то болезнь: стоило мне закрыть глаза, как он мигом появлялся передо мной в новом сером пальто и в мягкой шляпе, которую он стал носить ради меня,— он сам однажды сказал мне об этом.

Конечно, это была очень странная мысль — идти к Ромашову и отобрать те бумаги, которые передал ему Вышимирский. Это была жестокая мысль — идти к нему после всех его писем и цветов, которые я отсылала. Но чем больше я думала, тем все больше мне нравилась эта мысль. Я представляла себе, как я войду и он растеряется и долго будет смотреть на меня, не говоря ни слова, как он потом побледнеет, бросится по коридору и распахнет дверь в свою комнату, а я скажу хладнокровно: «Миша́, я пришла к вам по делу».

Интересно, что все это произошло именно так, как я себе представляла.

Он был в теплой голубой пижаме; должно быть, только что из ванны и еще не успел причесаться — мокрые желтые волосы свисали на лоб. Он побледнел и стоял молча, пока я снимала жакетку. Потом бросился ко мне:

— Катя!

— Миша, я пришла к вам по делу,— сказала я хладнокровно.— Вы оденьтесь, причешитесь. Где мне подождать?

— Да, конечно, пожалуйста...

Он побежал по коридору и распахнул дверь в свою комнату:

— Вот сюда. Извините...

— Напротив, вы меня извините.

В прошлом году мы были у него в гостях втроем: Николай Антоныч, бабушка и я, и бабушка, между прочим, весь вечер намекала, что он взял у нее сорок рублей и не отдал.

Мне и тогда понравилась его комната, но сейчас, когда я вошла, она была особенно хороша. Она была очень приятно покрашена: стены светло-серые, а двери и стенной шкаф еще немного светлее. Мебель была мягкая и удобная, и вообще все устроено удобно и красиво. Из окна была видна Собачья площадка — мое любимое место в Москве. Почему-то я с детства всегда любила Собачью площадку: и этот маленький памятник погибшим собакам, и все переулки, которые на нее выходили.

— Миша,— сказала я, когда он вернулся, причесанный, надушенный и в новом синем костюме, который я еще не видала,— я пришла, чтобы ответить на все ваши письма. Что за ерунду вы пишете, что я буду раскаиваться, если не выйду за вас замуж! Вообще это мальчишество — писать мне каждый день, когда вы знаете, что я даже не читаю ваших писем. Вы прекрасно знаете, что я никогда не собиралась за вас, и нечего писать, что я вас обманула.

Это было немного страшно — смотреть, как меняется у него лицо. Он вошел с нетерпеливым, радостным выражением, как бы надеясь и не веря себе, а теперь, с каждым моим словом, надежда исчезала и лицо мертвело, мертвело. Он отвернулся и смотрел в пол.

— Долго объяснять, почему я прежде позволяла говорить об этом. Тут было много причин. Но ведь вы же умный человек! Вы никогда не обманывались в том, что я вас не любила.

— А с ним ты будешь несчастна!

— Почему вы говорите мне «ты»? — спросила я холодно.— Я сейчас же уйду.

— А с ним ты будешь несчастна! — повторил Ромашов.

У него дрожали колени, он несколько раз как-то странно прикрывал глаза, и я вспомнила, как Саня рассказывал, что он спит с открытыми глазами.

— Я убью себя и вас! — наконец прошептал он.

— Если вы убьете себя, это будет просто прекрасно,— сказала я очень спокойно.— Я не хотела с вами ссориться, но если на то пошло: какое право вы имеете говорить подобные вещи? Вы затеяли интригу, как будто

в наше время на девушках женятся с помощью каких-то идиотских интриг! Вы человек без всякого достоинства, потому что иначе вы не стали бы каждый день ходить за мной по пятам, как собака. Вообще вы должны слушать меня и молчать, потому что все, что вы скажете, я отлично знаю... А теперь вот что: что это за бумаги, которые вы взяли у Вышимирского?

— Какие бумаги?

— Миша, не притворяйтесь, вы отлично знаете, о чем я говорю. Это те самые бумаги, которыми вы пугали Николая Антоныча, что он прежде был биржевой делец, а потом предлагали Сане, чтобы он отказался от меня и уехал. Дайте их сюда сейчас же, слышите! Сию же минуту!

Он несколько раз закрыл глаза и вздохнул. Потом хотел стать на колени. Но я очень громко сказала:

— Миша, не смейте, вы слышите!

И он удержался, только стиснул зубы, и у него стало такое безнадежное лицо, что у меня невольно защемило сердце. Не то что мне было жаль его! Но у меня было такое чувство, как будто я все-таки виновата, что он так мучится и не может даже заставить себя сказать ни слова. Мне было бы легче, если бы он стал ругать меня. Но он молчал и молчал.

— Миша,— снова сказала я, начиная волноваться,— поймите, что вам теперь совершенно не нужны эти бумаги. Все равно ничего нельзя изменить, а между тем мне стыдно, что я почти ничего не знаю о моем отце, в то время как о нем уже пишут во всех газетах. Они мне нужны — лично мне и никому другому.

Не знаю, что ему почудилось, когда я сказала «нужны лично мне», но у него вдруг стали бешеные глаза, он закинул голову и легко прошелся по комнате. Он подумал о Сане.

— Ничего не дам! — грубо сказал он.

— Нет, дадите! Если вы не дадите, я буду думать, что это снова ложь — то, что вы мне писали.

Он вдруг вышел, и я осталась одна. Было очень тихо, только с улицы доносились детские голоса да осторожно раза два прогудела машина. Это было неприятно, что он ушел и не возвращался так долго. А вдруг он в самом деле сделал что-нибудь над собой? У меня похолодело сердце, я вышла в коридор и стала слушать. Ничего... только где-то льется и льется вода

— Миша!

Дверь в ванную комнату была приоткрыта, я заглянула и увидела, что он стоит, наклонившись над ванной. Я не сразу поняла, что с ним: в комнате было полутемно, он не зажег света.

— Я сейчас приду,— внятно сказал он не оборачиваясь.

Он стоял согнувшись в три погибели, держа голову под краном; вода лилась на его лицо и на плечи, и новый костюм был уже совершенно мокрым.

— Что вы делаете? Вы сошли с ума!

— Идите, я сейчас приду! — сердито повторил он.

Через несколько минут он действительно пришел — без воротничка, с красными глазами — и принес четыре обыкновенные синие тетради.

— Вот они,— сказал он.— Никаких бумаг у меня больше нет. Возьмите.

Возможно, что это снова была неправда, потому что я наудачу открыла одну тетрадь, и там оказалось что-то печатное — точно вырванная из книги страница,— но теперь с ним больше нельзя было говорить, и я только поблагодарила очень вежливо:

— Спасибо, Миша.

Я вернулась домой, и прошло еще несколько часов, и прошел долгий вечер за чтением синих тетрадей, прежде чем я заставила себя забыть это лицо и как он вернулся в мокром костюме, похудевший и похожий на подбитую птицу.

Глава третья
«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЙ»

Передо мной лежали четыре толстые синие тетради — старые, то есть дореволюционные, потому что на обложках везде стояла фирма «Фридрих Кан». На первой странице первой тетради было написано великолепными буквами с тенями: «Чему свидетель в жизни был» и дата — 1916. Мемуары! Но дальше шли просто вырезки из старых газет, в том числе из таких, о которых я прежде никогда не слышала: «Биржевые ведомости», «Земщина», «Газета-копейка». Вырезки были наклеены вдоль во всю длину столбцами, но кое-где и поперек,

например: «Экспедиция Татаринова. Покупайте открытые письма!

1) Молебен перед отправлением.

2) Судно «Св. Мария» на рейде».

Я быстро перелистала тетрадь до конца, потом вторую, третью. Никаких «бумаг», как в разговоре с Иваном Павлычем я поняла это слово, тут не было, а были только статьи и заметки об экспедиции из Петербурга во Владивосток вдоль берегов Сибири.

Что же это были за статьи? Я начала читать их и не могла оторваться. Вся жизнь прежних лет открылась передо мной, и я читала с горьким чувством непоправимости и обиды. Непоправимости — потому что шхуна «Св. Мария» погибла прежде, чем вышла из порта, вот в чем я убедилась после чтения этих статей. И обиды — потому что я узнала теперь, как дерзко был обманут отец и как повредили ему доверчивость и прямота души.

Вот как описывал какой-то «очевидец» отплытие «Св. Марии»:

«...Бедно украшены флагами мачты уходящей в далекий путь шхуны. Приближается час отъезда. Последняя молитва «о плавающих и путешествующих», последние напутственные речи... И вот медленно отчаливает «Св. Мария», все дальше берег, уже дома и люди слились в одну пеструю полоску. Торжественный момент! С землей, с родиной порвалась последняя связь. Но грустно было нам и стыдно за эти бедные проводы, за равнодушные лица, на которых было написано лишь любопытство... Наступил вечер. «Св. Мария» остановилась у устья Двины. Провожающие выпили по бокалу шампанского за успех экспедиции. Еще одно крепкое рукопожатие, еще одно объятие — и нужно переходить на «Лебедин», чтобы возвращаться в город. И вот женщины стоят на борту маленького парохода и машут, машут... вытирают слезы и снова машут. Еще доносится нервный лай собак с удаляющейся шхуны. Все мельче она и вот наконец превратилась в маленькую точку на темнеющем вечернем горизонте... Что ждет вас впереди, смелые люди?»

И вот ушла в далекое плавание шхуна. Архангельский маяк послал ей вслед прощальный сигнал: «Счастливого плавания и достижений». И что же началось на берегу, боже мой! Какие грязные ссоры между торговцами, снаряжавшими шхуну, какие суды и аукционы — часть снаряжения и продовольствия пришлось оставить на берегу, и все это было продано с аукциона! И обвинения — в чем только не обвиняли моего отца! Не проходит и недели после отплытия шхуны, как его обвиняют в том, что он не застраховал ни себя, ни людей; в том, что он отплыл на три недели позже, чем это требуют условия полярного плавания: в том, что он не дождался радиотелеграфиста. Его обвиняют в легкомыслии, в неумелом подборе команды, среди которой «нет ни одного лица, умеющего справляться с парусами». Над ним смеются, утверждают, что «в этой глупой авантюре, как в капле воды, отразилась наша современная напыщенная, бестолковая жизнь».

Через несколько дней после ухода «Св. Марии» в Карском море разразился жестокий шторм, и тотчас же распространились слухи о гибели экспедиции у берегов Новой Земли. «Кто виноват?», «Судьба „Св. Марии"», «Где искать Татаринова?»... Первое страшное впечатление детства вспомнилось мне при чтении этих статей: мама вдруг быстро входит в мою маленькую комнатку в Энске с газетой в руках, в своем чудном черном шуршащем платье, и не видит меня, хотя я говорю ей что-то, и соскакиваю с кроватки, и бегу к ней босиком, в одной рубашке. Пол холодный, но она не велит мне идти назад в кроватку и не поднимает с полу, а все стоит у окна с газетой в руках. Я тоже стараюсь дотянуться до окна, но вижу только наш садик, весь в мокрых листьях клена, и мокрые дорожки и лужи, по которым еще шлепают последние крупные капли дождя. «Мама, зачем ты смотришь?» Она молчит, я снова спрашиваю, и мне хочется к ней на руки, потому что становится страшно, что она все молчит. «Мама!» Я начинаю реветь, и тогда она оборачивается и наклоняется, чтобы поднять меня, но что-то делается с нею — и она садится на пол, потом ложится и тихонько лежит, вытянувшись на полу, в своем чудном черном шуршащем платье. И вдруг безумный, бессознательный страх охватывает меня. Я кричу и слышу только, как я ужасно кричу, и бьюсь обо что-то руками и ногами, и слышу испуганный мамин голос, и снова кричу и не могу остановиться. Потом я сплю и слышу сквозь сон, как бабушка разговаривает с мамой, как мама говорит: «Она меня испугалась».

Но я молчу и притворяюсь, что сплю, потому что это все-таки мама и потому что она говорит и плачет, как мама...

Только теперь, читая эти статьи, я поняла, что это было.

Но слухи оказались ложными, и через телеграфную экспедицию на Югорском Шаре капитан Татаринов прислал «сердечный привет и наилучшие благопожелания всем жертвователям и лицам, сочувствующим делу экспедиции».

Это письмо было напечатано в виде факсимиле, и над ним папин незнакомый портрет — в морской форме, в кителе с белыми погонами: изящный офицер со старомодно поднятыми кверху усами.

Недаром послал он «благопожелания всем жертвователям»: он надеялся, что сбор пожертвований даст возможность «Комитету по исследованию русских полярных стран» поддержать семьи экипажа. Об этом он писал в своем донесении, посланном через Югорскую экспедицию и напечатанном в газете «Новое время»:

«Я убежден, что Комитет не оставит на произвол судьбы семейства тех, кто посвятил свою жизнь общему национальному делу».

Напрасная надежда! В той же газете, от 27 июня, я прочла отчет о заседании Комитета: «По словам секретаря Комитета Н. А. Татаринова, новая подписка дала совершенно ничтожные результаты. Равным образом не дали ожидаемых прибылей и многие другие способы, как устройство увеселительных развлечений и т. п. Таким образом, Комитет лишен возможности оказать семьям экипажа предполагаемую помощь в 1000 рублей, собираемую путем доброхотных даяний».

Странно и дико было мне читать об этих «доброхотных даяниях»... Может быть, и мы с мамой жили, как нищие, на эту милостыню, собираемую путем «доброхотных даяний»?

Но все это только мелькнуло у меня в голове, и я не стала особенно раздумывать над обидами, которым было почти столько же лет, сколько и мне. Другое остановило и поразило меня в старых газетах: в один голос они утверждали, что шхуну «Св. Мария» ждет неизбежная гибель. Иные рассчитывали с карандашом в руках, что она едва дойдет до Новой Земли. Другие предполагали, что она будет затерта первыми

же льдами и погибнет несколько позже, пройдя вдоль Земли Франца-Иосифа в качестве «пленника полярного моря».

В том, что она не пройдет Северным морским путем, в одну ли, в две ли, в три ли навигации, безразлично, — не сомневался никто.

Только какой-то поэт напечатал в архангельской газете стихи: «И. Л. Татаринову», по которым можно было судить, что он держался иного мнения:

Он здоров! Хранит его судьбина!
Его энергия и риск
Полярный разомкнули диск,
И отступает спаянная льдина...

И многое знала и прежде. В письме, которое Саня нашел в Энске, отец писал, что «из шестидесяти собак большую часть еще на Новой Земле пришлось застрелить». В записке, которую Саня составил со слов Пышнимирского, говорилось о гнилой одежде, о бракованном шоколаде. В газете «Архангельск» я прочитала письмо купца Е. В. Демидова, который указывал, что «засолка мяса и приготовление готового платья не являются его специальностью» и что в данном случае он был только комиссионером. При всем этом, имея свое большое торговое дело, он не мог, конечно, смотреть за каждым куском мяса и рыбы, положенным в бочку. Все время получались такие телеграммы от капитана Татаринова: «Остановите заготовку — денег нет». Или: «Продайте заготовленное — денег нет». И так далее. «Зачем же было снаряжать экспедицию, когда не было денег?.. Если что и оказалось худое при таком спешном деле, так виновных в этом искать надо бы не среди местных коммерсантов, а где-либо выше...»

Но я не знала — и Саня не знал, и я не понимаю, почему мама никогда не говорила об этом, — что «за три дня до выхода «Св. Марии» в фор-трюме, в обеих сторонах его баргоута, под второй палубой, значительно ниже ватерлинии, обнаружены опасные для плавания вырезы борта вместе со шпангоутами, вплоть до наружной обшивки, со следами топора и пилы. Дыры эти, обмеренные и сфотографированные, оказались самая большая шириной в 12 дюймов и длиной в 2 фута и 4 дюйма, а другие немногим меньше. Происхождение этих дыр, весьма загадочное, заставляет, однако, вспом-

нить о том, что в случае гибели судна новый владелец его получил бы соответствующую страховку».

Конечно, не нужны были новые подтверждения, что отец погиб и никогда не вернется. Он не мог не погибнуть. Был послан на безусловную, верную смерть и погиб.

Глава четвертая
МЫ ПЬЕМ ЗА САНЮ

Я уже говорила, что у меня было очень много работы в то лето,— между прочим, еще и потому, что моя помощница, студентка третьего курса, оказалась очень тупой, и приходилось не только делать все за нее, но еще и утешать ее, потому что она огорчалась, что она такая тупая. Сама я тоже многого не могла понять и каждые два-три дня бегала к моей старенькой профессорше, которая называла меня «деточкой» и все беспокоилась, что я похудела. И действительно, я очень похудела и побледнела, потому что никогда еще, кажется, столько не думала и не волновалась. Я волновалась, читая статьи; волновалась, когда опаздывали письма от Сани; волновалась, потому что бабушка сердилась на меня и даже одно время перестала ходить. Кроме того, я еще волновалась из-за Вали и Киры.

Все у них было очень хорошо — они по-прежнему сидели в своей кухне и шептались, а потом пили чай с серьезными, счастливыми, глупыми лицами; но однажды шепот вдруг прекратился, и, немного помолчав, они стали кричать друг на друга. Я испугалась и тоже стала кричать, но в это время Валя вышел, весь красный, и полез в стенной шкаф, очевидно спутав его с входной дверью. Я подала ему шляпу и робко спросила, что случилось, но он ответил:

— Спросите у вашей подруги, что случилось.

Не помню, когда я в последний раз видела, что Кира плачет. Кажется, в пятом классе, из-за «неуда» по черчению. Теперь она снова плакала и, как маленькая, вытирала глаза руками.

— Кира, что случилось?

— Ничего не случилось. Мы решили записаться, а он не хочет переезжать, вот и всё.

— Из-за меня? Потому что тесно?

— Ничего не из-за тебя. Он говорит, что я сама должна догадаться. А я, честное слово, не могу. Он хочет, чтобы я к нему переехала. А я не хочу. Мне там нужно будет готовить, и всё. А когда мне готовить? Вообще здесь все есть — и посуда, и скатерти, белье, все.

— И мама.

— Ну да, и мама.

Мы проговорили весь вечер, а ночью Кира пришла и сказала, что догадалась — просто он ее больше не любит. До семи утра я доказывала, что Валя ее любит и что так не волнуются, когда не любят. Не знаю, убедила ли я Киру, но только она вдруг сказала, что она прекрасно знает, что он хороший, а она плохая, и что она напишет ему письмо, что она его не стоит и что он ее не любит, потому что считает, что она дура.

— Только, прежде чем отослать, покажи мне, ладно? — сказала я сонным голосом, и последнее, что я еще видела, засыпая,— это была Кира, которая в одной рубашке сидела за столом и писала, писала...

Наутро мы с ней разорвали ерунду, которую она сочинила, и я отправилась к Вале. Он работал в Зоопарке, и я вспомнила, как мы однажды были у него с Саней и как он показывал нам своих грызунов. Теперь и дома этого уже не было, а стоял красивый белый павильон с колоннами, и Вале не нужно было уверять сторожа, что он сотрудник лаборатории экспериментальной биологии. Но в этом красивом белом павильоне совершенно так же пахло мышами и Валя был такой же — только в белом халате и небритый. Мне стало смешно, потому что ночью Кира сказала, что он теперь перестанет бриться.

Он усадил меня и сам уныло сел.

— Валя, во-первых, имей в виду, что я пришла по собственной инициативе!..— начала я сердито.— Так что ты не думай, пожалуйста, что Кира меня прислала.

Он сказал дрогнувшим голосом: «Да?», и мне стало жаль его. Но я продолжала строго:

— Если у тебя есть серьезные причины остаться у себя, хотя на Сивцевом вам будет в тысячу раз удобнее, ты должен ей сказать, и баста. А не требовать, чтобы она сама догадалась.

Он помолчал.

— Понимаешь, в чем дело... я не могу переехать на Сивцев Вражек, хотя, конечно, я не отрицаю, что это

было бы просто прекрасно. Там можно устроить что-то вроде кабинета и спальни, особенно если перегородку перенести, а где сейчас чулан — устроить маленькую лабораторию. Но это невозможно.

— Почему?

— Потому что... Послушай, а тебя она не заговаривает? — вдруг с отчаянием спросил он.

— Кто?

— Кирина мама.

Я так и покатилась со смеху.

— Да, тебе смешно,— говорил Валя.— Конечно, тебе смешно. А я не могу. У меня начинается тошнота и слабость. Один раз спрашивает: «Почему ты такой бледный?» Я ей чуть не сказал... И все про какую-то Варвару Рабинович, будь она неладна... Нет, не поеду!

— Вот что, Валя,— сказала я серьезно,— уж не знаю, кто у вас там кого заговаривает, но ты, во всяком случае, ведешь себя по отношению к Кире очень глупо. Она плакала и не спала сегодня всю ночь, и вообще ты должен сразу же поехать к ней и объяснить, в чем дело.

У него стало несчастное лицо, и несколько раз он взволнованно прошелся по комнате:

— Не поеду!

— Валя!

Он упрямо молчал. «Ого, вот ты какой!» — подумала я с уважением.

— Тогда и не лезьте больше ко мне, и чер с вами! — сказала я сердито и хотела уйти.

Но он не пустил, и мы еще два часа говорили о то как бы устроить, чтобы Кирина мама не говорила та много...

Это было не особенно удобно, но я все-таки расск зала Кире, в чем дело. Она очень удивилась, а пото сказала, что мама каждый день жалуется, что Вал *ее* заговаривает, и однажды даже лежала после е ухода с мокрой тряпкой на лбу и говорила, что больш не может слышать о гибридах черно-бурых лисиц и ч Кира сумасшедшая, если выйдет замуж за человек который никому не дает открыть рта, а сам говорит говорит, как какой-то громкоговоритель.

Она мигом собралась и поехала к Вале — хотя сказала, что на ее месте никогда бы первая не поех

ла, — и вечером они уже снова сидели в «собственно кухне» и шептались. Они решили попробовать все-таки устроиться на Сивцевом Вражке.

Это был прекрасный вечер,— лучший из тех, что я провела без Сани. Накануне я получила от него письмо — большое и очень хорошее, в котором он писал, между прочим, что много читает и стал заниматься английским языком. Я вспомнила, как он удивился, узнав, что я довольно свободно читаю по-английски, и как покраснел, когда при нем однажды заговорили о композиторе Шостаковиче и оказалось, что он прежде никогда даже не слышал этой фамилии. Вообще это было чудное письмо, от которого у меня стало весело и спокойно на душе. Тайком от «молодых» мы с Александрой Дмитриевной приготовили великолепный ужин с вином, и хотя любимый Валин салат с омарами мы поделили по очереди — сперва я, потом Александра Дмитриевна,— все-таки он был съеден в одну минуту, потому что оказалось, что Валя со вчерашнего дня не только не брился, но и ничего не ел.

Мы выпили за Санино здоровье, потом за его удачу во всех делах.

— В его больших делах,— сказал Валя,— потому что я уверен, что в его жизни будут большие дела.

Потом он рассказал, как в двадцать пятом году он работал в бюро юных натуралистов при Московском комитете комсомола, и как однажды уговорил Саню поехать на экскурсию в Серебряный бор, и как Саня долго старался понять, почему это интересно, а потом вдруг стал говорить цитатами, и все поразились, какая у него необыкновенная память. Он процитировал:

Бороться, бороться, пока не покинет надежда,—
Что может быть в жизни прекрасней подобной игры? —

сказал, что ловить полевых мышей — это не его стихия.

Александре Дмитриевне хотелось тоже что-нибудь рассказать, и мы с Кирой боялись, что она опять заговорит о Варваре Рабинович. Но обошлось — она только прочитала нам несколько стихотворений и сказала, что у нее на стихи тоже необыкновенная память.

Так мы сидели и выпивали, и был уже двенадцатый час, когда кто-то позвонил, и Александра Дмитриевна, которая в эту минуту показывала нам, как

нужно брать голос «в маску», сказала, что это дворник за мусором. Я побежала на кухню и так — с ведром в руке — и открыла дверь. Но это был не дворник. Это был Ромашов, который молча быстро отступил, когда я открыла дверь, и снял шляпу:

— У меня срочное дело, и оно касается вас, поэтому я решился прийти так поздно.

Он сказал это очень серьезно, и я сразу поверила, что дело срочное и что оно касается меня. Я поверила, потому что он был совершенно спокоен.

— Пожалуйста, зайдите.

Мы так и стояли друг против друга — он со шляпой, а я с помойным ведром в руке. Потом я спохватилась и сунула ведро между дверей.

— Боюсь, это не совсем удобно,— вежливо сказал он,— у вас, кажется, гости?

— Нет.

— А можно здесь, на лестнице? Или спустимся вниз, на бульвар. Мне нужно сообщить вам...

— Одну минуту,— сказала я быстро.

Александра Дмитриевна звала меня. Я прикрыла дверь и пошла к ней навстречу.

— Кто там?

— Александра Дмитриевна, я сейчас вернусь,— сказала я быстро.— Или вот что... Пускай Валя через четверть часа спустится за мной. Я буду на бульваре.

Она еще говорила что-то, но я уже выбежала и захлопнула двери.

Вечер был прохладный, а я — в одном платье, и Ромашов на лестнице сказал: «Вы простудитесь». Должно быть, ему хотелось предложить мне свое пальто — и он даже снял его и нес на руке, а потом, когда мы сидели, положил на скамейку,— но не решился. Впрочем, мне было не холодно. У меня горело лицо от вина, и я волновалась. Я чувствовала, что этот приход неспроста.

На бульваре было тихо и пусто, только, опираясь на палки, сидели старики — по старику на скамейку — от памятника Гоголю до самого забора, за которым строили станцию «Дворец Советов».

— Катя, вот о чем я хотел сказать вам,— осторожно начал Ромашов.— Я знаю, как важно для вас, чтобы экспедиция состоялась. И для...— Он запнулся, потом продолжал легко: — И для Сани. Я не думаю,

что это фактически важно, то есть что это может что-то переменить в жизни, например, вашего дядюшки, которого это очень пугает. Но дело касается вас, и поэтому не может быть для меня безразлично...— Он сказал это очень просто.— Я пришел, чтобы предупредить вас.

— О чем?

— О том, что экспедиция не состоится.

— Неправда! Мне звонил Ч.

— Только что решили, что посылать не стоит,— спокойно возразил Ромашов.

— Кто решил? И откуда вы знаете?

Он отвернулся, потом взглянул на меня, улыбаясь:

— Не знаю, как и сказать. Снова оказываюсь подлецом, как вы меня назвали.

— Как угодно.

Я боялась, что он встанет и уйдет — настолько он был спокоен и уверен в себе и не похож на прежнего Ромашова. Но он не ушел.

— Николай Антоныч сказал мне, что заместитель начальника Главсевморпути доложил о проекте экспедиции и сам же высказался против. Он считает, что не дело Главсевморпути заниматься розысками капитанов, исчезнувших более двадцати лет тому назад. Но, по-моему...— Ромашов запнулся; должно быть, ему стало жарко, потому что он снял шляпу и положил ее на колени,— это не его мнение.

— Чье же это мнение?

— Николая Антоныча,— быстро сказал Ромашов.— Он знаком с этим заместителем, и тот считает его великим знатоком истории Арктики. Впрочем, с кем же еще и посоветоваться о розысках капитана Татаринова, как не с Николаем Антонычем? Ведь он снаряжал экспедицию и потом писал о ней. Он член Географического общества — и весьма почтенный.

Я была так взволнована, что не подумала в эту минуту ни о том, почему Николай Антоныч так хлопочет, чтобы розыски провалились, ни о том, что же заставило Ромашова снова выдать его. Я была оскорблена — не только за отца, но и за Саню.

— Как его фамилия?

— Чья?

— Этого человека, который говорит, что не стоит разыскивать исчезнувших капитанов.

Ромашов назвал фамилию.

— С Николаем Антонычем я, разумеется, не стану объясняться,— продолжала я, чувствуя, что у меня ноздри раздуваются, стараясь успокоиться и чувствуя, что не в силах.— Мы с ним объяснились раз навсегда. Но в Главсевморпути я кое-что расскажу о нем. У Сани не было времени, чтобы разделаться с ним, или он пожалел, не знаю. Да полно, а правда ли это? — вдруг сказала я, взглянув на Ромашова и подумав, что ведь это же он... он, который любит меня и, должно быть, только и мечтает, как бы вернее погубить Саню!

— Зачем я стану говорить неправду? — равнодушно возразил Ромашов.— Да вы узнаете. Вам тоже скажут... Конечно, нужно пойти туда и все объяснить. Но вы... не говорите, от кого вы об этом узнали. Или, впрочем, скажите, мне все равно,— надменно прибавил он,— только это может стать известно Николаю Антонычу, и тогда мне не удастся больше обмануть его, как сегодня.

Николай Антоныч был обманут ради меня — вот что он хотел сказать этой фразой. Он смотрел на меня и ждал.

— Я не просила вас никого обманывать, хотя, по-моему, нечего стыдиться, что вы решились (я чуть не сказала: «первый раз в жизни») поступить честно и помочь мне. Я не знаю, как вы теперь относитесь к Николаю Антонычу.

— С презрением.

— Ладно, это ваше дело.— Я поднялась, потому что мне стало очень противно.— Во всяком случае, спасибо, Миша. И до свиданья...

У Сивцева Вражка я встретила всех троих: Александру Дмитриевну, Киру и Валю. Они бежали взволнованные, и Александра Дмитриевна говорила что-то: «Господи, да откуда же я знаю? Только сказала, что если я через десять минут не вернусь...»

Трамвай остановился как раз между нами, и, когда он прошел, все трое ринулись на бульвар с воинственным видом.

— Стоп!

— Да вот же она! Александра Дмитриевна! Она здесь!.. Катя, что случилось?

— А вино допили? — спросила я очень серьезно.— Если допили, нужно еще купить... Мне хочется еще раз выпить за Саню.

Глава пятая

ЗДЕСЬ НАПИСАНО: «ШХУНА „СВ. МАРИЯ“»

Начальником Главсевморпути был в те годы известный полярный деятель, имя которого нетрудно найти на любой карте русской Арктики. Вероятно, попасть к нему было не так просто. Но Ч. позвонил, и я была принята в тот же день. Правда, пришлось подождать, но это было даже интересно, так как в приемной сидели моряки и летчики, только что вернувшиеся из Заполярья. Один был похож немного на Саню, я невольно несколько раз взглянула на него и прислушалась к тому, что он говорил. Но он, должно быть, понял меня иначе, потому что приосанился и глупо улыбнулся. Потом они ушли, и я еще долго сидела и сердилась на себя за тоску, которая нет-нет да и подступала к сердцу...

Я очень хорошо помню свой разговор с начальником Главсевморпути, потому что в письме, которое в тот же вечер отправила Сане, повторила его слово в слово.

Сперва я волновалась и чувствовала, что бледна, но только что он спросил низким, вежливым голосом: «Чем могу служить?» — как все мое волнение пропало. Потом оно вернулось, но это было уже другое, азартное волнение, от которого не помнишь себя и становится холодно и приятно.

— Летчик Григорьев представил вам проект поисковой экспедиции,— начала я,— и сперва было решено, что она состоится. Но вчера...

Он внимательно слушал меня. Он был так удивительно похож на свой портрет, тысячу раз печатавшийся в газетах и журналах, что у меня было странное чувство, как будто я разговариваю не с ним самим, а с его портретом.

— Нет,— возразил он, когда я спросила, думает ли и он, что не стоит заниматься розысками пропавших капитанов.— Но мы внимательно взвесили все «за» и «против» и решили, что подобные поиски заранее обречены на неудачу. В самом деле: во-первых, места, указанные в проекте, более или менее изучены за последние годы, и, однако, до сих пор не было обнаружено никаких следов экспедиции «Святой Марии»; во-вторых, от Северной Земли до устья Пясины более тысячи километров, и организовать поиски на таком расстоя-

нии — это очень сложная задача. Наконец — и это самое главное,— у меня нет уверенности, что экспедицию вашего отца следует искать именно в этом районе.

— Нет никаких сомнений, что именно в этом,— возразила я энергично.

— Почему?

— Потому что...—Я вдруг забыла все доказательства, хотя еще в приемной повторила их еще раз и даже сосчитала на пальцах.— Потому что...

Он смотрел на меня и ждал. У него были совершенно светлые глаза, а борода черная, и он хладнокровно смотрел на меня и ждал.

— Во-первых, это видно по дневникам штурмана,— сказала я немного дрожащим голосом.— Помните, он приводит слова отца: «Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли». Во-вторых...— И я вынула из портфеля фотографии, которые оставил мне Саня.— Вот взгляните... Здесь написано: «Шхуна „Св. Мария“». Этот багор найден на Таймыре.

— Положим. Но почему не допустить, что он принадлежал партии штурмана, который двумя месяцами раньше оставил шхуну?

— Потому что штурман... Где у вас карта? — спросила я, хотя огромная карта Арктики висела над письменным столом и я все время смотрела на нее, но, должно быть, не видела от волнения.— Он шел по дрейфующему льду и совсем в другом направлении. Можно? — Я взяла указку и влезла на стул, потому что с полу мне было не достать до мыса Флора.— Вот как он шел. Он вернулся в Архангельск с экспедицией лейтенанта Седова. Но пойдем дальше,— продолжала я, чувствуя, что мне становится холодно и что я снова бледнею, но теперь уже от воодушевления.— Вы говорите, что от Северной Земли до устья Пясины — изученные места и странно, что до сих пор никто не наткнулся на следы экспедиции, хотя бы случайно. А Русанов? Сколько лет прошло до тех пор, как были найдены остатки его снаряжения? И где же? В тех местах, куда ходили суда и тысячу раз бывали люди. А этот матрос Амундсена, которого нашли на Диксоне в трех километрах от станции?

Я тогда не знала, что могила этого матроса (его звали Тиссен) находится у портовой столовой и что

каждый, кто после обеда отправляется на полярную станцию, проходит тот путь, который осталось пройти Тиссену, то есть путь от жизни до смерти.

— Нет, дело не в том, что это изученные места, а в том, что отца никогда не искали. Вот его путь: от 79 градусов 35 минут широты между 86-м и 87-м меридианами к Русским островам, архипелагу Норденшельда. Потом — вероятно, после долгих блужданий — от мыса Стерлегова к устью Пясины. Здесь старый ненец нашел лодку, поставленную на нарты. Потом к Енисею, потому что Енисей — это была единственная надежда встретить людей и помощь.

Я соскочила со стула. Он гладил бороду и смотрел на меня, кажется, с любопытством.

— Вы так уверены?

— Да. Не может быть иначе. Что же предлагает Григорьев? Ледокольный пароход «Пахтусов» направляется к Северной Земле для научных работ. Это гидрографическая экспедиция, верно?

— Да.

— Отлично. Дорогой он устраивает в нескольких местах базы для двух-трех поисковых партий. Григорьев считает, что нужны только две партии, по три человека в каждой. Мне кажется, что нужны три или моторный бот вместо третьей. Они пойдут мористой стороной прибрежных островов, а «Пахтусов» тем временем будет работать где-нибудь поблизости, так что от него можно будет почти не отрываться.

Я остановилась, потому что начальник Главсевморпути засмеялся и встал. Он обошел стол и сел рядом со мною.

— Да, вы настоящая дочка капитана Татаринова,— весело сказал он.— Географ?

— Геолог.

— На котором курсе?

Я отвечала, что давно уже окончила университет и уже два года как работаю в Башкирском геологическом управлении.

— У вас есть сестры, братья?

— Нет, я одна.

— А мать?

— Умерла.

Он деликатно помолчал некоторое время, потом вернулся к Саниному проекту.

— Конечно, все это далеко не так просто,— задумчиво сказал он.— Но не невозможно... Моторный бот тут, конечно, ни при чем. А вот Григорьева, очевидно, придется вызвать. Где он?

— В Заполярье.

У меня сердце стало биться и биться, и зачем-то я еще раз сказала:

— В Заполярье.

Он лукаво посмотрел на меня.

— Вот возьмем и вызовем,— с детским удовольствием повторил он. (И я поняла, что Ч. рассказал ему обо мне и Сане.) — Как вы полагаете, ведь он же нам тут необходим для решения этого вопроса?

— Мне кажется, да,— сказала я смело.

— Ну вот. Я был очень рад,— серьезно сказал он, вставая,— познакомиться с вами. Состоится ли экспедиция или нет, но это превосходно, что вы пришли ко мне и так энергично, горячо говорили.

Глава шестая
У БАБУШКИ

Я уже писала о том, что бабушка приходила ко мне каждый вечер. Она приходила надутая, важная и гордо разговаривала с Кириной мамой. Ей не нравилось, что я «живу у чужих людей», а дома — «чудная комната», и она боялась какой-то Доры Абрамовны, которая уже два раза «забегала и нюхала».

— Уже и старость моя стала,— однажды сказала она мне со слезами,— а в таком одиночестве я еще не жила.

Но вот однажды бабушка не пришла, а наутро позвонила и сказала, что у нее что-то стало с сердцем. Она рассердилась, когда я спросила, дома ли Николай Антоныч.

— Глупый вопрос,— сказала она строго.— А где же ему быть? Как ты, что ли? Хатки считать?

Потом она сказала, что он ушел, и я живо собралась и поехала к ней.

Она лежала на диване, покрывшись своей старенькой зеленой шубкой. Лавровишневые капли стояли на

столике подле дивана — единственное лекарство, которое она признавала, и она только махнула рукой, когда я спросила о ее здоровье.

— Чуть что, поклоны бьет,— сказала она сердито.— Сейчас видно, что в монашках жила. Религиозная. А я ее спрашиваю: «Тогда зачем служить?» И прогнала.

Она прогнала домработницу, и это было очень плохо, потому что домработница была хотя религиозная, но хорошая, и прежде бабушке даже нравилось, что она когда-то жила в монашках.

— Бабушка, что же ты наделала? — сказала я.— Осталась больная и совершенно одна! Теперь я тебя к себе заберу.

— Не поеду. Вот еще!

Она наотрез отказалась раздеться и лечь в постель и сказала, что это не сердце, а просто она вчера не готовила, а поела редьки с постным маслом, и это у нее — от редьки.

— Если ты не ляжешь, я сейчас же уйду.

— О! Напугала.

Однако она разделась, кряхтя легла в постель и вдруг уснула...

В маминой комнате всегда был почему-то сквозняк, когда открывали окна, и я, чтобы проветрить, открыла дверь в коридор. Потом зашла к себе, и как же неуютна и пуста показалась мне комната, в которой я прожила столько лет! Все стало даже лучше в ней после моего отъезда. Кровать была покрыта бабушкиным стареньким кружевным покрывалом, занавески белые-пребелые и даже топорщились от крахмала, все чисто прибрано, и том энциклопедии, который я зачем-то читала перед отъездом, остался открытым на той же странице. Меня здесь ждали...

На окне, среди старых школьных учебников, я нашла тетрадку с цитатами из любимых книг: «„Странная вещь сердце человеческое вообще, а женское в особенности“. Лермонтов».

Это были чудные, смешные цитаты, и я прочитала их от первой до последней страницы. Как во сне — я была в гостях у какой-то знакомой девочки, которая так прекрасно думала обо всем и которой весь мир представлялся таким великолепным.

«„Мир — театр, люди — актеры“. Шекспир».

Мне показалось, что кто-то метнулся по коридору, когда с этой тетрадкой в руках я вышла из комнаты.

Конечно, мне не пришло в голову, что это моя больная бабушка бегала по коридору в своей зеленой бархатной шубке, но кто-то бегал — и именно в зеленой шубке. И все-таки бабушка, потому что, когда я вернулась, она хотя по-прежнему лежала в постели, но видно было, что только что бухнулась и даже не успела покрыться.

Это было очень смешно — так старательно она притворялась, даже зажмурила глаза, чтобы показать, что она все время спала и вовсе не думала бегать по коридору. Конечно, она подглядывала за мною — а вдруг мне захочется домой?

— Бабушка, а доктор был? — спросила я, когда она наконец открыла глаза и фальшиво громко зевнула.

Не был. Не хочет она доктора. Она знает, что это от редьки.

— А по телефону сказала, что сердце.

— И сердце от редьки.

— Что за глупости! Я сейчас же позову.

Но бабушка вспылила и сказала, что, если я позову доктора, она сейчас же оденется и уйдет к Марии Никитишне — так звали соседку.

И прежде нужно было скандалить, чтобы позвать к бабушке доктора, поэтому я не стала настаивать — тем более что бабушке с каждой минутой становилось все легче. Наконец ей стало совсем хорошо, потому что она вдруг с ужасом понюхала воздух и, сказав: «Подгорел!..» — накинула салоп и побежала в кухню.

Подгорел — не очень — пирог с мясом, который в чудо-печке стоял на керосинке, издавая великолепный запах, и бабушка объявила, что ей опять станет хуже, если я не попробую этого пирога.

Все это было совершенно в бабушкином духе — эти хитрости и в особенности мой любимый пирог с мясом, на который она не пожалела масла. Пирог должен был окончательно убедить меня в преимуществе своего дома перед «чужим». Но я съела два куска, потом поцеловала бабушку и сказала только, что очень вкусно.

Пока о Николае Антоныче не было сказано ни слова. Но вот бабушка сделала равнодушное лицо, и я

поняла, что сейчас начнется. Однако бабушка начала издалека.

— От Олечки с Ларой письмо получила, — сказала она строго. — Пишут «не входи, не входи в хозяйство», что это мне теперь тяжело.

Олечка и Лара — это были мои старенькие тетки Бубенчиковы, которые жили в Энске.

— А как мне не входить, когда ей замечанье делаешь, а она молчит. Еще делаешь — молчит. Из себя выходишь — молчит. Она по плану попа жила, — немного оживившись, сказала бабушка, — своим ничего, а все попам. Истеричка. Поп ей пишет: «Молчи, терпи и плачь». А она и рада. В гардероб гвозди набила, иконы навешала и все тихо так: «Слушаю». Я этаких ненавижу.

— Да уж теперь прогнала, бабушка, так что и говорить.

Бабушка помолчала.

— Весь дом сокрушился, — снова сказала она со вздохом. — Ты отступилась, и он-то, что же? Ему теперь тоже все равно стало, есть ли что, нет ли. Когда поест, когда нет.

«Он» — это был Николай Антоныч.

— И пишет, пишет, — продолжала бабушка, — день и ночь, день и ночь. Как с утра чаю попьет, так сейчас же в мою шаль закутается — и за стол. И говорит: «Это, Нина Капитоновна, будет труд всей моей жизни. Виноват ли я, нет ли, пусть теперь об этом судят друзья и враги». А сам худой стал. Забывается, — шепотом сказала бабушка, — на днях в шапке к столу пришел. Наверно, с ума сойдет.

В эту минуту входная дверь негромко хлопнула, кто-то вошел в переднюю и остановился. Я посмотрела на бабушку — она испуганно отвела глаза, и я поняла, что это Николай Антоныч.

— Ну, бабушка, мне пора.

— Нет, не пора. И пирог не доела.

Он вошел, слабо постучав и не дождавшись ответа.

Я обернулась, кивнула — и мне даже самой стало весело, так я равнодушно, смело кивнула.

— Как дела, Катюша?

— Ничего, спасибо.

Очень странно, но для меня он был теперь просто каким-то бледным, старым человеком, с короткими

руками, с толстыми пальцами, которыми он неприятно, нервно шевелил и все закладывал куда-то: за воротничок или в карманы жилетки, точно прятал. Он стал похож на старого актера. Когда-то я его знала — сто лет назад. А теперь мне было все равно, что он так бледен, и что у него такая жалкая, похудевшая шея, и что у него задрожали руки, когда он протянул их, чтобы подвинуть кресло.

Первая неловкая минута прошла, он шутливо спросил что-то насчет моей карты, не спутала ли я Зильмердагскую свиту с Ашинской — еще в университете был со мной такой случай,— и я снова стала прощаться.

— До свиданья, бабушка.

— Я могу уйти,— негромко сказал Николай Антоныч.

Он сидел в кресле, согнувшись и внимательно глядя на меня с простым, добродушным выражением. Таким он был, когда мы иной раз подолгу разговаривали — после маминой смерти. Но теперь это было для меня только далеким воспоминанием.

— Если ты торопишься, мы поговорим в другой раз.

— Бабушка, честное слово, меня ждут,— сказала я бабушке, которая крепко держала меня за рукав.

— Нет, не ждут. Как это так? Он тебе дядя.

— Полно, Нина Капитоновна,— добродушно сказал Николай Антоныч,— не все ли равно — дядя я или не дядя... Очевидно, ты не хочешь выслушать меня, Катюша?

— Нет.

— Фанатичная,— с ненавистью сказала бабушка.

Я засмеялась.

— Я не могу говорить с тобой ни о том, как мне было тяжело, когда ты ушла, даже не простившись со мной,— торопливо, по тем же простым, добродушным голосом продолжал Николай Антоныч,— ни о том, что вы оба были введены в заблуждение, поверив несчастному, больному старику, лишь недавно выпущенному из психиатрической больницы.

Он посмотрел на меня поверх очков. Из психиатрической больницы! Это была новая ложь. Или не ложь — это теперь было для меня безразлично. Только одна мысль слабо кольнула меня — что это коснется Сани или будет ему неприятно.

— Боже мой! Чего только не вообразила эта бедная, запутанная голова! И что я разорил его при помощи каких-то векселей и что нарочно так плохо снарядил экспедицию — почему, как ты думаешь? Потому, что хотел погубить Ивана!

Николай Антоныч от души рассмеялся:

— Из ревности! Боже мой! Я любил твою мать и из ревности хотел погубить Ивана...

Он снова засмеялся, но вдруг снял очки и стал вытирать слезы.

— Да, я любил ее,— плача, пробормотал он,— и, видит бог, все могло быть совсем иначе. Если бы я и был виноват, кто, как не она, меня наказала? Уж так наказала, как и не думалось никогда.

И слушала его, как во сне, когда начинает казаться, что все это уже было когда-то: и покрасневшая лысая голова с несколькими волосками, и те же слова с тем же выражением, и неприятное чувство, с которым смотришь на старого, плачущего мужчину.

— Ну? — грозно спросила бабушка.

— Бабушка, превосходный пирог, отрежьте-ка еще кусочек,— сказала я весело.— Я вас слушаю, Николай Антоныч.

— Катя, Катя!

— Товарищи, знаете что,— сказала я, чувствуя, что мне становится даже как-то весело от злости.— В конце концов, я уже не маленькая — мне двадцать четыре года, и я могу, кажется, делать все, что мне нравится. Я больше не хочу жить здесь, понятно? Я выхожу замуж. Вероятнее всего, я буду жить на Крайнем Севере с моим мужем, которому здесь делать нечего, потому что он — полярный летчик. Что касается Николая Антоныча, то я уже много раз видела, как он плачет, и мне это надоело. Могу только сказать, что, если бы он был не виноват, едва ли он стал бы возиться с этой историей всю жизнь. Едва ли, например, он стал бы хлопотать в Главсевморпути, чтобы Санина экспедиция провалилась.

Очевидно, в эту минуту мне было уже не так весело, как прежде, потому что бабушка испуганно смотрела на меня и, кажется, потихоньку крестилась. У Николая Антоныча дрожала на щеке жилка. Он молчал.

— И оставьте меня в покое,— сказала я с бешенством,— навсегда, навсегда!

Глава седьмая
ЗИМА

В ноябре я получила комнату в одном из пригородов, на берегу Москвы-реки, и сразу же переехала, хотя Валя с Кирой в один голос заявили, что без меня из семейной жизни у них ничего не выйдет, а Александра Дмитриевна добавила, отведя меня в сторону, что теперь и она уйдет, потому что я была «все-таки каким-то громоотводом для черно-бурых лисиц» и без меня Валя заговорит ее до смерти.

Комната была в новом доме, и нельзя сказать, чтобы этот пятиэтажный дом, одиноко торчавший на пустом берегу, имел особенно привлекательный вид. Рабочие только что ушли — и даже еще не ушли, а возились во дворе, убирая строительный мусор; ванны еще стояли на лестнице, здесь и там еще висели забытые ведра с краской.

Теперь до пригорода В. можно добраться в десять минут на метро, а тогда нужно было добрый час тащиться на трамвае. Теперь В.— та же Москва, а тогда это было скучное место, и наш неуклюжий одинокий дом, который так и хотелось огородить, выглядел очень странно рядом с дряхлыми дачами, украшенными столбиками, перильцами и резными петушками.

Но не только домом — и комнатой своей я не могла похвалиться. У нее было только одно достоинство — прекрасный вид на Москву-реку, которая и зимой была хороша, особенно под вечер, когда сумеречный рассеянный свет приходил откуда-то издалека и под сугробами появлялись чистые овальные тени. И мне представлялся маленький портовый городок за Полярным кругом, где по деревянным улицам ходят в упряжке олени. «Но рядом с оленями,— писал Саня,— бегут вперегонки лесовозы и автомобили, лошади и ездовые собаки, и таким образом перед глазами проходит вся история человечества, начиная с родового строя и кончая социалистической культурой. Сейчас строим новый город, везде срубы и срубы, улицы засыпаны щепкой, и управление аэропорта переехало в новый великолепный трехэтажный дом с «холлом». По вечерам мы сидим в этом «холле» и читаем Вольтера. Интересно, что этот «современный» автор стал у нас уже так популярен, что цитаты из его произведений украшают стенные газеты. Я думаю о тебе

так много, что мне даже странно, откуда берется время на все остальное. Это потому, что все остальное — это тоже каким-то образом ты, особенно в полете, когда думаешь что-нибудь или поёшь и снова думаешь — все о тебе...»

И ту зиму у меня было довольно трудно с деньгами, потому что мне присылали деньги из Уфы, где находилось Башкирское геологическое управление, и часто задерживали. Время от времени приходилось посылать ругательные телеграммы. Кроме того, мне негде было обедать, а готовить себе я ленилась. Словом, я совершенно одичала и однажды, примерив свое шелковое парадное платье, села и стала плакать от злости.

Первый раз за всю зиму я собралась в театр — в Вахтангову, на премьеру «Человеческой комедии»,—и оказалось, что у меня старомодное платье с какими-то хвостами, которых уже сто лет как никто не носит. Потом мы с Кирой что-то сделали с платьем — подкололи, подшили. Но вечер был испорчен.

Это была одинокая зима в В.— такая одинокая, что едва ли не самым частым моим гостем был Ромашов. Теперь трудно было представить себе, что это тот самый Ромашов, который говорил, что убьет меня и себя. Он приезжал вежливый, спокойный, всегда прекрасно, даже франтовато одетый и говорил со мной ровным голосом — вероятно, тем самым голосом, которым он читал лекции у себя в институте...

Однажды он приехал очень усталый и голодный. Я сказала:

— Миша, хотите чаю?

Он сухо поблагодарил и отказался. Очевидно, он хотел показать, что не стремится к другим отношениям, кроме деловых, а деловые — это была экспедиция и все, что к ней относилось.

Почему он занимался ею? Конечно, потому, что дело касалось меня и, следовательно, «не могло быть для него безразлично». Но здесь была и гордость — он как бы хотел показать, что я нисколько не обидела его своим отказом. И был, без сомнения, план — вероятно, все тот же: жениться на мне с помощью каких-то тупых и сложных интриг. В нем самом было что-то тупое и одновременно сложное— в этой важности и в самом застывшем лице с детскими, оттопыренными ушами. Но

вдруг мелькало и что-то страшное. Недаром Иван Павлыч как-то сказал, что это очень сложный человек, во всяком случае способный на сильные движения души. Но мне до его души было мало дела. Разумеется, я не писала Сане, что он у меня бывает. Саня сошел бы с ума — тем более что у меня почему-то всегда получаются сухие, холодные письма...

Вдруг оказалось, что в Главсевморпути далеко не уверены в том, что поиски следует поручить именно Сане. Он еще молод, и, хотя у него большой стаж, на Севере он работал еще сравнительно мало. Он известен как хороший, исполнительный пилот, но справится ли он с таким сложным делом, требующим организационного дарования? Вообще, что он за человек — помнится, в каком-то журнале его ругали за клевету, он кого-то оклеветал, кажется Н. А. Татаринова, известного полярного деятеля и двоюродного брата капитана.

И я требовала, чтобы редакция журнала напечатала опровержение; я доказывала, что организация поисковой партии, состоящей из шести человек, не такое уж сложное дело; я требовала, чтобы поиски капитана Татаринова были поручены тому, кто с детских лет был воодушевлен этой мыслью, и никому другому.

Ромашов знал об этих хлопотах. О чем он думал, на что надеялся — я не спрашивала, и он не начинал разговора. Но был день, когда я догадалась о многом.

У меня не было никакого сомнения в том, что, если экспедиция состоится, я поеду на Северную Землю вместе с Саней. Я написала об этом начальнику Главсевморпути и предложила свои услуги как геолог. Вскоре пришел ответ из сектора кадров, и, к сожалению, совсем не тот, которого я ожидала: мне предлагали работу на одной из полярных станций — по моему выбору — и просили явиться в Главсевморпуть для переговоров.

В этот день я поздно вернулась домой — как всегда, когда попадала в «город»,— и на лестнице вспомнила с досадой, что забыла запереть дверь. Между тем кто-то расхаживал у меня в комнате — без сомнения, воры. Но это были не воры. Это был Ромашов, который остановился, когда я вошла, и я сразу увидела, что он очень расстроен.

— Я прочитал это письмо,— сказал он не здороваясь.— Вы хотите ехать в экспедицию, вот что!

Я посмотрела на него и невольно вспомнила, что в школе его дразнили «совой». У него были совершенно круглые глаза, и в эту минуту он был удивительно похож на сову. Но это была довольно большая сова, которая прикинула: «Вот что!» — и с трудом перевела дыхание.

— А зачем вы читаете чужие письма? — спросила я довольно миролюбиво.— Это не полагается, Миша.

— Вы скрываете от меня! А сами за моей спиной хлопочете, чтобы уехать!

— Миша, что вы, в уме? Не хватает еще, чтобы я у вас спросилась!

Он вдруг как-то странно всхлипнул — не то засмеялся, не то заплакал.

— Я сам,— высоким голосом сказал он,— если вы хотите, сделаю это. Хорошо, вы поедете!

Я промолчала. Мне почему-то не хотелось его обижать.

— Почему вы молчите?

— Потому, что не намерена отвечать на ваш вздор.

— Катя, Катя!

— Послушайте,— сказала я спокойно,— вам нужно знаете что? Отдохнуть. Вы устали. С чего вы взяли, что я останусь в Москве?

— Да, вы останетесь!

Я хотела засмеяться, но он шагнул ко мне, и у него стало такое лицо, что, кажется, еще секунда, и он бы меня ударил.

— Ну вот что, дорогой мой,— сказала я все еще спокойно, но уже не так, как бы мне хотелось,— где ваше пальто и шляпа?

— Катя! — снова с отчаянием пробормотал он.

— Я знаю, на что вы рассчитываете, даже если бы я и осталась. Вы, вероятно, совсем сошли с ума, но это меня мало интересует. Ну-с?

Он молча надел пальто, шляпу и вышел.

В начале 1936 года экспедиция была наконец решена. Известный полярник профессор В. выступил со статьей, в которой высказывал убеждение, что, судя по дневникам штурмана Климова, «материалы экспедиции Татаринова, если бы их удалось найти, могли бы иметь значение и для современного изучения Арктики». Даже

мне эта мысль показалась слишком смелой. Но неожиданно она подтвердилась — и именно это обстоятельство сыграло самую большую роль в признании Саниного проекта. Дело в том, что, изучив карту дрейфа «Св. Марии» с октября 1912 по апрель 1914 года, профессор В. высказал предположение, что на широте 78°02′ и долготе 64° должна находиться еще неизвестная земля. И вот эта гипотетическая земля, которую В. открыл, сидя в своем кабинете, была обнаружена во время навигации 1935 года. Правда, это оказалась не бог весть какая земля, а всего только клочок арктической суши, затерянный среди ползучих льдов и представлявший собою крайне унылую картину, но, как бы то ни было, еще одно «белое пятно» было стерто с карты Советской Арктики, и это было сделано с помощью карты дрейфа «Св. Марии».

Не знаю, нужны ли были новые доводы в пользу Саниного проекта, но, так или иначе, «поисковая партия при высокоширотной экспедиции по изучению Северной Земли» была включена в план навигации следующего года. Весной Саня должен был приехать в Ленинград, и мы условились встретиться в Ленинграде, где я еще никогда не была.

Глава восьмая
ЛЕНИНГРАД

О чем только не передумала, чего только не вообразила я в это утро 20 мая 1936 года, подъезжая к Ленинграду, где на другой день должна была встретиться с Саней! Вагон дребезжал и скрипел — должно быть, попался старый, но я прекрасно, спокойно спала всю ночь, а проснувшись, стала мечтать и мечтать. И как же хорошо было мне мечтать, точно за тысячу километров слыша однообразный железный шум колес и сонное дыхание соседей! Как прекрасно я устраивала в своей жизни и то, что могло, и то, чего не могло быть. Мне казалось, что все могло быть — и даже то, что мой отец жив и мы найдем его и вернемся вместе. Это было невозможно, но у меня было так просторно и тихо на душе, что я допустила и это. Я как бы приказала в душе, чтобы мы

нашли его — и вот он стоит, седой, прямой, и нужно, чтобы он уснул, а то он сойдет с ума от волнения и счастья.

Вагон раскачивался и скрипел, и это была как бы равномерная и громкая музыка, которая все начиналась и начиналась. Я все ждала: что же дальше? — а она снова начиналась. Что еще придумать, что приказать себе — самое прекрасное, самое чудесное в жизни? И я придумала, что мы возвращаемся и нас встречают, как встречали героев-летчиков, спасших челюскинцев, когда эти люди, которых любили все и о которых все говорили, ехали в машинах, покрытых цветами, и вся Москва была белая от цветов, и листовок, и белых платьев, в которых женщины встречали героев. Но этого я хотела не для себя, а для Сани и для отца, если только допустить самое невозможное, что нельзя допустить иначе как только теперь, в полусне, в вагоне, под эту равномерную, монотонную музыку колес, которая все начиналась...

Тогда «стрела» приходила в Ленинград в 10.20, и соседи давно уже курили в коридоре — должно быть, ждали, когда я оденусь и выйду, а я все лежала. Я точно боялась, что долго теперь ко мне не вернется это чудное, детское состояние души.

Мы условились, что Санина сестра (которую я, в отличие от моего Сани, и в письмах всегда называла Саней) встретит меня на вокзале «или Петя,— писала она,— если я буду нездорова». Она не раз мельком упоминала о своем нездоровье, но письма были такие веселые, с рисунками, что я не придавала этим упоминаниям никакого значения. Впрочем, я подозревала, в чем дело. В одном из писем Петя был изображен с книгою в одной руке и с младенцем в другой, причем, как ни странно, они были похожи.

Все уже стояли в шляпах и пальто, и соседи помогли мне снять с полки мой чемодан — довольно тяжелый, потому что я взяла все, что у меня было, и даже несколько интересных образцов горных пород, точно предчувствовала, что теперь долго не вернусь в Москву. Я волновалась — Ленинград! Между голов вдруг стал виден перрон, и я сразу начала искать Сковородниковых, но перрон пробегал, а их не было, и я вспомнила с досадой, что не телеграфировала им номер вагона.

Носильщик вытащил мой чемодан, и мы с ним стояли, пока все не прошли, а Сковородниковых все не было.

— Может, у подъезда? — сказал носильщик.

Мы вышли к подъезду, и я простояла еще с добрых полчаса и наконец решила, что это свинство. Так приглашать к себе, а потом даже не встретить! И зная, что я в первый раз в Ленинграде.

Одну минуту я колебалась — не заехать ли в гостиницу, но немного беспокоилась, потому что это все-таки было странно, и поэтому поехала к Сковородниковым.

В сущности говоря, я их почти не знала. Мы познакомились с Сашей в Энске много лет тому назад и с тех пор виделись едва ли три-четыре раза. Но мы регулярно переписывались, и больше всего в те тяжелые годы, когда я была так одинока в Москве после маминой смерти. Она пересказывала мне Санины письма и всегда уверяла, что он любит меня, даже когда он забыл обо мне — в Балашове, а потом в Заполярье.

Она была моим другом, и я нисколько не сомневалась, что теперь, когда мы увидимся, так и окажется, что она — мой друг, тем более что она была сестрой Сани.

С Петей я тоже встречалась очень мало. В Энске это был длинный, лохматый молодой человек, который всегда делал что-нибудь неожиданное — неожиданно приходил в гости, когда его никто не ждал, и так же неожиданно срывался с места и уходил. Несколько раз он приезжал в Москву с одним из ленинградских театров и всегда заходил ко мне — такой же быстрый и лохматый, разве что стал немного постарше.

В одном из писем Саша подробно рассказывала и даже нарисовала, как с вокзала проехать к ним, на проспект Карла Либкнехта, где они жили. Но я все перепутала и, выйдя на Невский, спросила у какого-то вежливого ленинградца в пенсне:

— Скажите, пожалуйста, как пройти на Невский проспект?

Это был позор, о котором я даже никому не сказала.

Потом меня зажали в трамвае, и единственное, что я успела заметить,— это что в сравнении с Москвой улицы были пустоваты. Пустовата была и та, по которой, сойдя с трамвая, я тащилась с моим чемоданом. А вот и номер 79. «Фотограф-художник Беренштейн».

Здесь.

Я стояла на площадке третьего этажа, потирая пальцы, онемевшие от проклятого чемодана, когда внизу хлопнула дверь и длинный человек в макинтоше, с кепкой в руке промчался мимо меня, прыгая через ступеньку.

— Петя, это вы?

Должно быть, он был в эту пору необыкновенно далек от какой бы то ни было мысли обо мне, потому что он остановился, взглянул и, не найдя во мне ничего интересного, сделал движение, чтобы бежать дальше. Но какое-то смутное воспоминание все же остановило его.

— Не узнаете?

— Ну что вы, конечно, узнаю! Катя, я бегу из больницы,— с отчаянием сказал он,— сегодня ночью Сашу взяли в больницу.

— Да что вы?

— Да, взяли. Пойдемте к нам. Поэтому мы не могли вас встретить.

— Что же с ней?

— Разве она вам не писала?

— Нет.

— Ну, пойдемте, я вам все расскажу...

Очевидно, семейство фотографа-художника Беренштейна принимало близкое участие в делах Саши и Пети, потому что маленькая, изящно одетая женщина встретила Петю в передней и с волнением спросила:

— Ну что?

Он отвечал, что ничего не знает и что его не пустили, но в эту минуту выбежала еще одна такая же маленькая, изящная женщина и тоже спросила с волнением:

— Ну что?

И Петя ей тоже должен был подробно рассказать, что он ничего не знает и что его не пустили.

Саша ждала дочку или сына — вот почему ее увезли в больницу.

— Петя, что же вы так волнуетесь? Я уверена, что все будет прекрасно.

Мы были одни в его комнате, и он сидел напротив меня в кресле, опустив голову, подняв худые плечи. У него был очень унылый, расстроенный вид, и он болезненно сжал зубы, когда я сказала, что все будет прекрасно.

— Вы не знаете... Она очень больна: у нее грипп, и она кашляет. Она тоже говорила, что все будет прекрасно...

Он вскочил:

— Нужно поехать к Габричевскому. Я уже звонил, но он говорит, что ему неудобно, потому что Саша в другой больнице, а он в другой. Саша у Шредера.

Я поняла, что Габричевский — это врач, лечащий Сашу.

— Нет, поедем сперва к ней. Подумаешь, грипп! Я уверена, что все обойдется.

Он растерянно смотрел на меня.

— Да ну же, Петя, очнитесь! — сказала я с досадой.

Я ругала его всю дорогу, и он постепенно пришел в себя и даже неожиданно засмеялся, когда я нарисовала ему торжественную картину, как Саша возвращается домой с дочкой или сыном.

— Вы, конечно, хотите сына?

— Ох, хоть лягушку, только бы все кончилось поскорее!

Не знаю, что это была за клиника — Петя сказал, что очень хорошая,— но мне показалось странным, что в ней не было никакой приемной и все просто стояли внизу в подъезде, отгороженном от лестницы деревянным барьером. Несколько таких же, как Петя, расстроенных молодых отцов сидели на скамейках или уныло слонялись, наталкиваясь друг на друга. Петя тоже сел было на скамейку, но я потащила его наверх, и какая-то милая сестра сказала нам, что профессора нужно ловить в коридоре, когда он кончит обход и пойдет в другое отделение.

Мы словили его наконец, и он только зажмурился и засмеялся, когда Петя набросился на него, подпрыгивая от волнения.

Он провел нас к себе в кабинет, и стыдно признаться, но за полчаса, что мы разговаривали, я просто влюбилась в этого человека. У него были добрые голубые глаза, и он крепко держал Петю за руку, объясняя, чего нужно опасаться и чего не нужно. Он удивительно располагал к себе. Нельзя сказать, чтобы он говорил такие уж успокоительные вещи, но мы почему-то успокоились. Вообще профессор был почти уверен, что все кончится благополучно, «хотя грипп в таком положении — это, конечно, совсем лишняя штука». Про Сашу

он сказал, что она — такой молодец, что ему редко приходилось видеть.

В прекрасном настроении мы вернулись домой, и тут Петя вспомнил, что я — с поезда, а он даже не напоил меня чаем. Двери захлопали, и я слышала, как кто-то сказал в коридоре:

— Петя, да полно вам, у нас еще горячий чайник.

Но он вернулся без чайника, взял из ящика стола деньги и снова ушел, хотя я клялась, что у меня все осталось с дороги и ничего не нужно...

Это была комната, в которой жили художники,— вот что бросалось в глаза с первого взгляда. Видно было даже, что здесь жили два художника и что им вдвоем было тесно. Пожалуй, можно было угадать, где работает один и где другой и где проходила зона, в которой они мешали друг другу.

Вот этот стол у окна, белый, красивый, хотя и очень простой, переделанный из чертежного,— без сомнения, Саши. А вот этот, грязный, на котором стоит макет и валяются в беспорядке карандаши, кисти и трубки бумаги,— без сомнения, Петин.

Жизнь совсем другая, удивительно не похожая на мою, была видна во всем, и я вдруг почувствовала, что жила в Москве, особенно последнее время, однообразно и скучно. Но это были люди искусства, таланта, а у меня не было никакого таланта, и я, конечно, совершенно напрасно расстроилась и напрасно думала об этом, пока не пришел Петя.

Он извинился, что не прибрано,— Сашу так неожиданно увезли... И мне стало стыдно, что, вместо того чтобы прибрать комнату, я стояла у окна как дура...

— Ох, какой я голодный! Оказывается, я страшно голодный!

И мы сели пить чай и разговаривать о Саше.

Совсем забыла сказать, что, уходя из клиники, мы сговорились с одной сиделкой, что она будет звонить каждый час, как себя чувствует Саша. При этом Петя отдал ей все, что у него было,— должно быть, порядочно, потому что у нее стало испуганное лицо и она стала совать деньги обратно. Теперь она позвонила — в два часа дня — и сказала, что все идет нормально.

— Нормально? — кричал Петя.

— Нормально.

— А как себя чувствует?

— Нормально.

Через час она снова позвонила и опять сказала, что — нормально.

— Покряхтывает маленько,— добавила она, подумав.

И я слышала, как тот же голос, который недавно предлагал Пете горячий чайник, сказал с негодованием:

— Петя, не сходите с ума. Что значит — покряхтывает? А вы бы, думаете, не кряхтели?

Так продолжалось весь день. К вечеру я робко сказала, что хорошо бы пройтись, посмотреть Ленинград, но у него стало такое расстроенное, испуганное лицо, что я осталась.

— Я буду вас развлекать, ладно?

И он стал показывать мне свою последнюю работу — проект памятника Пушкину к столетнему юбилею. Пушкин был изображен шагающим по набережной Невы, против ветра, в развевающейся шинели, с упрямым, вдохновенным лицом.

— Нравится?

— Очень. А я и не знала, что вы занялись скульптурой.

Он стал объяснять, почему он занялся скульптурой, потом неожиданно перешел к шахматному турниру в Москве с участием Ласкера и Капабланки, потом — к международному положению. При этом он все время прислушивался, не звонит ли телефон, и во всем, что он говорил — будь то итало-абиссинская война,— была только Саша и Саша...

В восемь часов сиделка почему-то не позвонила, и мы опять побежали в клинику и снова говорили — на этот раз с той милой сестрой, которая посоветовала нам ловить профессора после обхода. В общем, все было хорошо, а сиделка не позвонила, потому что ей, оказывается, совестно было так часто беспокоить.

Мы вернулись, и Петя стал знакомить меня с семейством фотографа-художника, с его маленькой, изящной седой супругой и с такой же маленькой, изящной седой сестрой супруги. Сам хозяин почему-то переехал в Москву, но мне показали его портрет, и он оказался представительным мужчиной с красивой шевелюрой и в бархатной куртке — настоящий фотограф-художник, и даже, пожалуй, больше художник, чем фотограф.

По второму часу меня отправили спать на Сашину постель, а Петя сказал, что ему не хочется спать, и устроился с книгой под телефоном. Сиделка звонила теперь аккуратно, но каждый раз извинялась за беспокойство. И уснула после одного из таких разговоров, но спала, кажется, только одну минуту, когда кто-то быстро, коротко постучал в стену, и я вскочила, не понимая, где я и что со мной. В коридоре был свет, и оттуда слышались голоса, как будто несколько человек громко говорили, перебивая друг друга. В ту же минуту Петя, во сна показавшийся мне каким-то длинным уродом, вбежал в комнату и затанцевал, затанцевал...

Потом перегнулся через стол и стал что-то снимать со стены.

— Петя, куда вы? Что случилось?

— Мальчик! — заорал он.— Мальчик!

Все летело на пол, потому что он снимал со стены какой-то большой портрет в тяжелой раме и сперва стал на колени, а теперь ходил по столу и старался залезть между стеной и портретом.

— А Саша? Как Саша? Вы сошли с ума! Зачем вы снимаете эту картину?

— Я обещал подарить ее Розалии Наумовне, если все обойдется.

Он слез со стола, поцеловал меня и заплакал.

Глава девятая
ВСТРЕЧА

Все обошлось в тысячу раз лучше, чем можно было ожидать, и наутро мы уже послали Саше письмо, конфеты и корзину цветов — самую большую, какая только нашлась в магазине. Когда мы передавали все это, служитель сказал: «Ого!», и дежурная сестра тоже сказала: «Ого!»

Все обошлось, но профессор, в которого я накануне влюбилась, был, кажется, чем-то недоволен. Впрочем, может быть, это мне показалось. Почему-то Сашу долго не переводили в палату, но в конце концов перевели еще при нас. Мы подослали к ней сиделку, ту самую, что звонила, и она принесла от нее записочку.

«Петенька очень похож на тебя, такой же носатый. Разве я не говорила, что все будет прекрасно? Катя,

дорогая, целую, целую. Спасибо за чудные цветы. Не нужно присылать всего так много. Привет Беренштейнам... Ваша Саша».

Мне даже захотелось немного поплакать, когда я прочитала эту записку. Может быть, я немного всплакнула, но в это время кто-то в приемной спросил, который час, и оказалось, что уже без четверти десять.

И я простилась с Петей, которому не хотелось уходить из этого дома, и поехала на вокзал, потому что поезд из Мурманска приходил в 10.40.

Я замечала, что прежде, когда я видела Саню после очень долгой разлуки, странное чувство разочарования вдруг охватывало меня. Как будто уже не могло быть ничего лучше того, что я испытала, тысячу раз представляя в уме эту встречу. Так было со мной в Москве, когда Саня приехал с Севера и мы встретились у Большого театра. Тогда мне казалось, что должно произойти что-то необыкновенное, какая-то перемена во всем — и на земле и на небе. Но ничего не произошло, кроме того, что мы оба потом жалели об этом свидании.

И вот теперь, когда я приехала на вокзал, я вдруг испугалась этого чувства: другие люди, так же как я, пришли, чтобы встретить кого-то, носильщики бежали к поезду, некрасивый кондуктор с седыми грязными усами за что-то грубо ругал проводника.

Но я поняла, что это чувство пройдет, потому что теперь у нас была совсем другая встреча...

Поезд показался — и волнение мигом передалось вдоль перрона. Встречающих было немного, но все-таки я встала далеко от всех, в стороне, чтобы он меня сразу заметил. Кажется, я была спокойна. Мне только казалось, что все происходит очень медленно — поезд медленно подходит к платформе, и первые пассажиры медленно сходят со ступенек и удивительно медленно идут ко мне навстречу — идут и идут, а Сани все нет, и опять идут, и у меня сердце начинает куда-то проваливаться, потому что его нет. Он не приехал.

— Катя!

Я оборачиваюсь. Он стоит у первого вагона, и я бегу к нему, чувствуя, как все у меня внутри дрожит от волнения и счастья.

Мы тоже очень медленно шли по платформе, потому что все время останавливались, чтобы посмотреть друг на друга. Не помню, о чем мы говорили в первые ми-

нуты. Саня что-то быстро спрашивал, и я отвечала не слыша. Потом я сказала о Саше, и мы снова остановились — на этот раз в неудобном месте, потому что нас сразу же стали толкать,— и долго говорили о Саше.

— А Петька? Он, наверное, весь Ленинград на ноги поднял. Он же сумасшедший. Ох! Как я давно их не видел!

Мы поехали в «Асторию», потому что Саня сказал, что ему удобнее остановиться в гостинице, и оттуда стали звонить Пете, сперва домой, потом в клинику. В клинике его уже знали и сказали, что он пошел покупать маковки.

— Что?

— Маковки.

— Пошел покупать маковки,— с недоумением сказала я и повесила трубку.

Саня так и покатился со смеху.

— Это он вспомнил, что Саша любит маковки,— объяснил он.— Она всегда любила маковки. Ох, милый!.. А «бес-дурак» он еще говорит? Он говорил «бес-дурак» и «смешно»... Что ты смотришь?

Я смотрела, потому что он мне очень нравился, просто ужасно. Мы снова не виделись целый год, но странно, у меня было такое чувство, что мы в тысячу раз ближе, чем когда расставались. Мне почему-то показалось, что он стал выше ростом за этот год и шире в груди и плечах. У него определились черты, и лицо стало решительнее, сильнее, особенно линии подбородка и рта. Больше он не был похож на мальчика, и теперь о нем, пожалуй, нельзя было сказать, что ему еще рано жениться. Только на макушке торчал прежний упрямый хохол, хотя приглаженный и тоже какой-то постарше.

— Я забыл, какая ты красивая,— сказал он.— Очень странно, но там мне это было почему-то неважно.

— А здесь?

Он поцеловал меня, и мы снова стали звонить Пете.

На этот раз он оказался дома и бешено завыл в телефон, когда я сказала, что Саня стоит рядом со мной и тащит из моих рук трубку. Они долго беспорядочно орали: «Эй! Ну как, старик, а?» И ругали друг друга «бес-дурак». Потом Саня спросил, достал ли он маковки, и, задыхаясь от смеха, стал показывать мне знаками,

что не достал. В конце концов они сговорились: Саня заедет в клинику и они вместе попробуют пробиться к Саше.

— А я?

Он снова обнял меня.

— Куда же я теперь без тебя? — сказал он.— Теперь, брат, кончено. Баста, баста!

И он спросил меня шепотом, как тогда в поезде, когда я его провожала:

— Ты любишь меня?

— Да, да.

...Конечно, к Саше нас не пустили, но мы опять передали ей записку и получили ответ, на этот раз с просьбой унять Петьку, который «всем надоел». Еще она писала, что ей хочется погулять с нами, и в заключение спрашивала, обедали ли мы, и, если еще нет, чтобы захватили мужа, потому что он «может по двое суток не есть, если ему не напомнить».

Из обеда ничего не вышло. Сане нужно было в Арктический институт, и я пошла его провожать — не только потому, что мне этого хотелось, а потому, что пора было все-таки поговорить о деле, ради которого мы встретились в Ленинграде. Мои последние письма не дошли до него, и он не знал новостей о «Пахтусове», который — это только что было решено — пойдет через Маточкин Шар, а потом, обогнув Северную Землю, направится к Ляховским островам.

— Ну что ж, у нас будет больше времени, только и всего,— сказал Саня.— Меня больше всего беспокоит время.

Мы заговорили о составе поисковой партии, и он сказал, что предложил одного радиста с Диксона, потом доктора Ивана Ивановича и своего механика Лури, о котором он часто писал мне из Заполярья.

— Радист превосходный. Знаешь кто?

— Нет.

— Корзинкин,— торжественно сказал Саня.— Тот самый.

Я созналась, что впервые слышу эту фамилию, и Саня объяснил, что Корзинкин — один из двух русских, ходивших с Амундсеном на Южный полюс, и что Амундсен даже упоминает о нем в своей книге.

— Здóрово, да? Пятый — я. А шестая — ты. Тебя я предложил как «дочку».

И самом деле? А мне казалось, что я имею некоторое право на участие в этой экспедиции не только как дочка капитана Татаринова. Что же, ты так и написал: профессия — дочка?

Саня смутился.

— А что? — пробормотал он.— Ничего особенного. Что глупо, да?

— Очень.

— А иначе вышло бы, что я хлопочу за жену. Неудобно.

— Саня, я вообще не просила тебя хлопотать,— сказала я спокойно.— Дочка, жена! Я еще и племянница и внучка. И старый геолог, Саня, и просила начальника Главсевморпути, чтобы он включил меня в состав экспедиции в качестве геолога, а не твоей жены. Кстати, я еще не твоя жена, и, если ты будешь так глупо вести себя, я вот возьму и выйду за другого. Мы, кажется, еще не записывались!

Мне стало даже жалко его, так он заморгал и неловко засмеялся и, сняв фуражку, вытер ладонью лоб.

— Катя, прости, честное слово! — пробормотал он.

Я быстро поцеловала его, хотя мы стояли уже во дворе, перед самым зданием Арктического института, и сказала:

— Ни пуха ни пера.

К шести часам он обещал позвонить или, если удастся, заехать к Пете.

Глава десятая
НОЧЬ

Он вернулся не к шести, а к одиннадцати и не к Пете, а в «Асторию» и потребовал, чтобы мы немедленно приехали к нему ужинать, потому что он так и не обедал и голоден, как дьявол, а есть одному ему скучно.

Но Петю сморило после тревожного дня; кроме того, он для бодрости еще хватил водки и теперь лежал на диване и сонно таращил глаза, похожий на Петрушку со своим диким носом и нескладными руками и ногами.

Я помню по числам все наши встречи с Саней, не только встречи, но и письма. В садике на Триумфаль-

ной мы встретились 2 апреля, а у Большого театра 13 июня. Этот вечер, памятный на всю жизнь — когда он позвонил, вернувшись из Арктического института, я поехала к нему,— был 21 мая.

Мы знакомы с детских лет, и мне казалось, что я уже так хорошо знаю его, как он и сам, кажется, себя не знает. Но таким, как в этот вечер, я прежде его не видала. Когда мы ужинали, я ему даже сказала об этом.

Проект был полностью принят, и ему наговорили в институте много комплиментов — очевидно, не без основания. Он виделся с профессором В., тем самым, который открыл остров на основании дрейфа «Св. Марии», и В. отнесся к нему превосходно. Он был в Ленинграде, прекрасном огромном городе, который он любил еще со времен летной школы,— в Ленинграде после тишины Заполярья! Все шло, все удавалось!

И как видны были в его лице, во всех движениях, даже в том, как он ел, это счастье, эта удача! У него блестели глаза, он держался прямо и вместе с тем свободно. Если б я не была влюблена в него всю жизнь, так уж в этот вечер непременно бы влюбилась.

Мы что-то ели без конца, а потом пошли гулять, потому что я сказала, что еще не успела посмотреть Ленинград, и Саня загорелся и сказал, что он хочет сам «показать мне, что это за город».

Был третий час, и это был самый темный час ночи, но, когда мы вышли из «Астории», было так светло, что я нарочно остановилась на улице Гоголя и стала читать газету.

Белая ночь! Но Саня сказал, что его не удивишь белыми ночами и что в Ленинграде они хороши только тем, что не продолжаются по полгода.

Мы прошли под аркой Главного штаба, и великолепная пустынная площадь вдруг открылась перед нами — не очень большая, но просторная и какая-то сдержанная, не похожая на открытые площади Москвы.

Потом мы пошли по улице Халтурина — я прочитала название под домовым фонарем — и долго стояли перед колоссами, поддерживающими на плечах высокий подъезд Эрмитажа. Не знаю, как Саня, а я смотрела на них с нежным чувством, точно они были живые,— им было так тяжело, и все-таки они были прекрасны.

Потом мы вышли на набережную — вот где была эта белая ночь: ни день, ни ночь, ни утро, ни вечер! Над

зданиями Военно-медицинской академии небо было темно-синее, светло-синее, желтое, оранжевое — кажется, всех цветов, какие только есть на свете! Где-то там пылало солнце. А над Петропавловской крепостью все было совершенно другим, туманно-серым. И мы сперва долго смотрели на крепость и на ее небо, а потом вдруг поворачивались к Военно-медицинской академии и к ее небу, и это был как будто мгновенный переезд из одной страны в другую — из неподвижной и серой в прекрасную, живую, с быстро меняющимися цветами.

Стало холодно, я была легко одета, и мы вдвоем завернулись в Санин плащ и долго сидели, обнявшись, и молчали.

Мы сидели на полукруглой гранитной скамейке, у самого спуска в Неву, и где-то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег.

Не могу передать, как я была счастлива и как хорошо было у меня на душе этой ночью! Мы были вместе наконец и теперь не расстанемся никогда. И больше ничего не нужно было доказывать друг другу и не нужно было ссориться, как мы ссорились всю жизнь. Я взяла его руку, твердую, широкую, милую, и поцеловала, а он поцеловал мою.

Не помню, где мы еще бродили в эту ночь, только помню, что никак не могли уйти от Невы. Мечеть с голубым куполом и двумя минаретами повыше и пониже все время была где-то перед нами, и мы все время шли к ней, а она уходила от нас, как виденье.

Уже дворники подметали улицы и большой желтый круг солнца стоял довольно высоко над Выборгской стороной, и как нам ни жалко было расставаться с этой ночью, а она уходила,— когда Саня вдруг решил, что нужно немедленно позвонить Пете.

— Мы спросим его,— сказал он, смеясь,— как он думал провести этот вечер.

Но я уговорила его не звонить, потому что телефон был в передней и мы разбудили бы все семейство фотографа-художника Беренштейна.

— Семейство очень милое, и это свинство — будить его ни свет ни заря!

У мечети — мы все-таки дошли до мечети — Саня окликнул такси, и нам вдруг показалось так удобно в такси, что Саня стал уговаривать меня поехать еще

на острова, а уж потом к Пете. Но ему предстоял труд
ный день — я хотела, чтобы сперва он заехал к соб
и уснул, хоть ненадолго...

И мы вернулись к нему в «Асторию» и стали п
рить кофе. Саня всегда возил с собой кофейник и спи
товку — он на Севере пристрастился к кофе.

— А страшно, что так хорошо, правда? — сказал о
и обнял меня.— У тебя сердце так бьется! И у меня
посмотри.

Он взял мою руку и приложил к сердцу:

— Мы очень волнуемся, это смешно, правда?

Он говорил что-то, не слыша себя, и голос его вдру
стал совсем другой от волнения...

Мы пошли к Сковородниковым только в первом час
Маленькая, изящная старая дама открыла нам и ск
зала, что Пети нет дома:

— Он уехал в клинику.

— Так рано?

— Да.

У нее было расстроенное лицо.

— Что случилось?

— Ничего, ничего. Он позвонил туда, и ему сказали
что Александре Ивановне стало немного хуже.

Глава одиннадцатая
СЕСТРА

И вот начались эти дни, о которых я еще и тепер
вспоминаю с горьким чувством бессилия и обиды. Д
три раза в день мы ходили в клинику Шредера и дол
стояли перед маленькой витриной, в которой висел тем
пературный листок: «Сковородникова — 37; 37,3; 38,
39,9». Но это было не простое воспаление легких, когд
на девятый день наступает кризис, а потом температур
падает, как было у меня в школе. Это было проклято
«ползучее», как сказал профессор, воспаление. Был
дни, когда у нее была почти нормальная температур
и тогда мы возвращались очень веселые и сразу нач
нали ждать Сашу домой. Розалия Наумовна — так зв
ли супругу фотографа-художника — рассказывала, ч

она тоже болела воспалением легких и что эта болезнь просто пустяки в сравнении с гнойным плевритом, которым болела ее сестра Берта. Петя начинал говорить о своей скульптуре, и однажды мне даже удалось уговорить его сходить со мной в Эрмитаж. Но наутро мы снова молча стояли перед витриной и смотрели, смотрели, смотрели... Я заметила, что Петя однажды закрыл глаза и снова быстро открыл, как в детстве, когда думаешь, что откроешь глаза и увидишь совсем другое. Но он увидел то же, что видела я и что мы надеялись больше не видеть: «Сковородникова — 38,1, Сковородникова — 39,3, Сковородникова — 40».

Три дня подряд температура держалась на 40, потом резко упала — на несколько часов — и опять поднялась на этот раз до 40,5. Я была уверена, что это не воспаление легких, и тайком от Сани поехала к профессору на квартиру. Но он подтвердил диагноз: фокус прослушивается совершенно ясно,— не один, а несколько и в обоих легких. Он сказал, что это не по его части и что Саню уже смотрел терапевт.

— И что же?

— Грипп, осложнившийся воспалением легких.

Я знала, что он заходит к Саше по два-три раза в день, что вообще в клинике относятся к ней прекрасно, но все-таки спросила, не думает ли он, что нужно пригласить еще какого-нибудь терапевта:

— Может быть, Габричевского?

— Конечно, пожалуйста. Я сам позвоню ему.

Но температура не упала оттого, что Сашу посмотрел Габричевский.

Я почти не видела Саню в эти дни: он только звонил иногда по ночам, да однажды я забежала к нему в институт, в маленькую комнатку, отведенную для снаряжения поисковой партии. Он сидел за столом, заваленным оружием, фотоаппаратами, рукавицами и меховыми чулками. Усатый, серьезный человек в кожаном пальто собирал у него на столе двустволку и ругался, что стволы не подходят к ложам.

— Ну, как она? Ты ее видела? Что говорят врачи?

Ежеминутно звонил телефон, и он наконец снял трубку и с досадой бросил ее на стол.

— Все то же.

— А температура?

— Сегодня утром была сорок и две.

— Черт! Неужели нет никакого средства?

Он очень похудел за эти дни. У него был тревожный, усталый вид, и он вообще не был похож на себя, особенно на себя в первый день приезда.

— Как ты похудела! Не спишь?..— спросил он.— Я не понимаю, но все-таки какое же положение?

— Непосредственной опасности нет.

— Что?

— Габричевский сказал, что непосредственной опасности нет.

— Да ну их к дьяволу! — злобно сказал Саня.— Не могут вылечить человека! Ведь она была здорова. Я же знаю, она никогда даже ничуть не болела.

Я сказала, что, наверно, теперь не увижу его несколько дней, потому что мне разрешили дежурить у Саши и с сегодняшнего вечера я перееду в больницу. Он взял меня за руку и с благодарностью посмотрел на меня. Потом проводил до ворот, и мы расстались.

Она лежала, глядя в потолок, изредка облизывала пересохшие губы, и не сразу узнала меня, может быть, потому, что я была в колпаке и халате. Но первое время мне все казалось, что она принимает меня за кого-то другого.

Видно было, что она уже давно не спит и что у нее все перепуталось: утро и вечер, как будто время от нее уже отступило.

Что-то татарское стало заметно в ее лице, поблекшем под загаром, широковатом, с провалившимися глазами. Она всегда немного косила, и прежде это даже шло к ней, придавало ей невольное, милое кокетство. Но теперь — это было почему-то ночами — ее тяжелый исподлобья косой взгляд вдруг пугал меня. Она садилась в постели, прямая, смугло-бледная, с косами, переброшенными на грудь, и молчала, молчала — никакими силами я не могла уговорить ее лечь. Однажды это случилось при Сане, и он долго не мог прийти в себя — та она напомнила ему мать.

Мне прежде почти не приходилось ухаживать за больными, особенно такими тяжелыми, как Саша, но я научилась. Это было трудно, потому что Саша почти не спала или засыпала и сразу же просыпалась, и нужно было все время следить за дыханием.

Были дни, когда жизнь возвращалась к ней — и с необыкновенной силой. Я помню один такой день, четвертый с тех пор, как я переселилась в больницу. Она хорошо спала ночь и утром проснулась и сказала, что хочет есть. Она выпила чаю с молоком и съела яйцо и, когда мы стали закутывать ее, чтобы проветрить палату, вдруг сказала:

— Катенька, да ты все время со мной? И ночуешь?

Должно быть, у меня немного задрожало лицо, потому что она посмотрела на меня с удивлением:

— Что ты? Я была очень больна? Да?

— Сашенька, мы сейчас откроем окно, а ты лежи тихонько и молчи, ладно? Ты была больна, а теперь ты поправишься, и все будет прекрасно.

Она послушно замолчала и только ненадолго задержала мою руку в своей, когда я ароматическим уксусом вытирала ей лицо и руки. Потом принесли маленького, и мы стали рассматривать его, пока он ел, широко открыв глаза, с серьезным, бессмысленным выражением.

— Очень похож, да? — спросила под маской Саша.

Ей нравилось, что он похож на Петю, и в самом деле что-то длинное было в этом профиле,— хотя ему было всего десять дней, у него был уже профиль. Но мне казалось, что он похож на Саню — не на свою мать, а именно на моего Саню: он так отчаянно, решительно ел!

— А Петя как? Очень волнуется, да? Мне сегодня снилось, что он пришел и сидит здесь, в этой комнате, но от меня скрывают. Я его вижу, а Марья Петровна говорит — его нет.

Марьей Петровной звали сиделку.

— А он сидит вот здесь, где ты, и молчит. Ему нельзя говорить, потому что его от меня скрывают. Господи, я опять забыла — ведь ты его почти не знаешь!

— Мне кажется, что я с ним сто лет знакома.

— А Саня? Когда вы едете?

— Должно быть, недели через две. Еще наш «Пахтусова» ремонтируется. Только в конце июня выйдет из дока.

— А что такое док?

— Не знаю.

Саша засмеялась:

— Вы счастливые, милые!

Мы разговаривали, наверно, целый час,— между про-
чим, о Петином «Пушкине», и Саша сказала, что ей тож
кажется, что хорошо.

— Он очень разбрасывается,— сказала она с огорче-
нием.— Я сперва была против, когда он занялся скульп-
турой. Но у него это есть и в рисунке.

Она вспомнила, как мы познакомились в Энске, ка
я была у них в гостях и тетя Даша сказала про меня
«Ничего, поправилась. Такая красивая, грустная. Здо-
ровая».

— А где тетя Даша? — спросила я.— Почему он
не приехала? Первый внук, такое событие.

— Ты разве не знаешь? Она очень больна — у не
стало такое сердце, что врачи вот еще недавно велел
ей лежать чуть не полгода. Мы с Петей часто ездил
в Энск, почти каждое лето.

Она говорила еще с трудом и часто останавливалась
чтобы справиться с дыханием. Но все-таки со вчерашн-
ним днем не сравнить! Ей было гораздо лучше.

— А судья-то?

— Какой судья?

— Ну как же, наш судья!

И она рассказала мне, что судья Сковородников —
Петин отец — награжден орденом «Знак Почета».

— Там хорошо, правда? — сказала она помолчав.—
В Энске. Вы приедете?

— Ну конечно!

Петя вызвал меня после обхода — я полетела со все
ног и сказала, что Саше гораздо лучше. И вот что про
изошло в приемной: вместе с Петей какой-то молодо
человек в косоворотке и кепке дожидался конца обхода
Я знала его по виду, потому что он часто одновремен
с нами приходил в клинику по утрам. Мы знали, что
фамилия его больной Алексеева и что у нее тоже дер
жится высокая температура: на всей доске только у не
и у Саши. И вот, когда я стояла с Петей в приемной
вдруг вышла сестра и быстро сказала ему:

— Вы к Алексеевой? Пройдите, пройдите.

И мы слышали, как она шепнула нянечке, дежурив
шей у гардероба:

— Скорее дайте халат... Может быть, еще за
станет.

Это было страшно, когда, стараясь ни на кого н
смотреть, он стал торопливо надевать халат и все н

нет попасть в рукава, пока наконец нянечка не накинула ему халат на плечи, как пальто.

Мы продолжали разговаривать, но Петя больше не слушал меня. Вдруг он так побледнел, что я невольно схватила его за руки:

— Что с вами?

— Ничего, ничего.

И усадила его и побежала за водой. Ему стало хорошо.

Профессор-терапевт, с которым я говорила в этот день, отменил сердечные лекарства и сказал, что мы вообще излишком пичкаем больную лекарствами». Уходя, он сказал, что на днях читал о замечательном новом средстве против воспаления легких — сульфидине, недавно открытом учеными.

К вечеру Саше стало немного хуже, но я не очень расстроилась, потому что к вечеру ей обычно становилось хуже. Я читала, держа книгу под самой лампочкой, стоящей на кроватном столике, и набросив на абажур косынку, чтобы свет не беспокоил больную. Накануне Саня прислал мне несколько книг, и я читала, как сейчас помню, «Гостеприимную Арктику» Стифансона. Мое участие в экспедиции было окончательно решено, и именно как геолога. Через несколько дней я должна была явиться к профессору В., который был назначен руководителем научной части. Конечно, я не собиралась скрывать, что пока еще знаю о Севере очень мало. Книги, которые прислал Саня, непременно нужно было прочитать, потому что это были основные книги.

Должно быть, в третьем часу я встала, чтобы послушать Сашу, и увидела, что она лежит с открытыми глазами.

— Ты что, Сашенька?

Она помолчала.

— Катя, я умираю,— сказала она негромко.

— Ты поправляешься, сегодня тебе гораздо лучше.

— Так было бы не страшно, а что маленький — страшно.

У нее глаза были полны слез, и она старалась повернуть голову, чтобы вытереть их о подушку.

— Его возьмут в институт, да?

— Да полно тебе, Сашенька! В какой институт?

И вытерла ей глаза и поцеловала. Лоб был очень горячий.

— Возьмут в институт, и я его потом не узнаю. А почему Пети нет? Почему его не пускают? Какое они имеют право его не пускать? Они думают, что я его не вижу? Вот же он, вот, вот!..

Она хотела сесть, но я не дала. Сиделка вошла, и я послала ее за кислородной подушкой...

Что же рассказывать об ужасе, который начался с этой ночи!

Каждый час ей впрыскивали камфару, и все короче становились часы, когда она могла дышать без кислородной подушки. Температура падала, и уже ни камфара, ни дигален не действовали на сердце. Она лежала с синими пальцами, и лицо становилось уже восковым, но все еще что-то делали с этим бедным, измученным, исколотым телом.

Не знаю, как долго все это продолжалось,— должно быть, долго, потому что снова была ночь, когда один из врачей, какой-то новый, которого я прежде не видела, осторожно вышел к нам в коридор из палаты. Мы стояли в коридоре: Саня, Петя и я. Нас почему-то прогнали из палаты. Он остановился в дверях, потом медленно направился к нам.

Глава двенадцатая
ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ

Как много узнаешь о человеке, когда он умирает! Я слушала речи на гражданской панихиде в Академии художеств и думала, что едва ли Саше при жизни говорили и половину того хорошего, что о ней говорили после смерти.

Гроб стоял на возвышении, и было очень много цветов, так что ее бледное лицо было едва видно между цветами. Все обращались к ней почему-то на «ты» и говорили, что она была «прекрасным художником», «прекрасным советским человеком» и что «внезапная смерть бессмысленно оборвала» и так далее. И так далеки были эти речи от мертвого торжественно-строгого лица!

Я плохо чувствовала себя и с трудом простояла до конца панихиды. Больше нечего было делать — после такой ежечасной, ежеминутной работы, работы самой души, которая всеми силами стремилась спасти близкого человека. Теперь я была свободна. В каком-то оце-

пенении я стояла у гроба. Саня стоял рядом со мной, но я почему-то видела его то ясно, то как в тумане. Не отрываясь он смотрел на сестру, у него было усталое, какое-то, как будто он сердился, что она умерла.

Он все сделал: заказал гроб и машину, распорядился, ездил в загс и на кладбище, меня отправил в «Асторию», а сам всю ночь провел с Петей. Теперь он стоял рядом со мной и смотрел, смотрел на сестру, как будто хотел насмотреться на всю жизнь. Я спросила у него, как Петя, он молча показал мне его в толпе, стоящей в ногах у гроба.

Петя был ничего, но странным показалось мне его бледное, равнодушное лицо; он как будто терпеливо ждал, что вот наконец кончится эта длинная процедура и Саша снова будет с ним, и все снова будет прекрасно. Старик Сковородников, накануне приехавший на похороны, стоял за ним, и слезы нет-нет да и скатывались по щекам в его большие, аккуратные седые усы. Потом у меня снова стал какой-то туман в глазах, и я не помню, как кончилась панихида.

Должно быть, это было на второй или третий день после похорон Саши. Старик Сковородников возвращался в Энск и зашел к нам в «Асторию», чтобы проститься. У Сани кто-то был, кажется, агент, отправляющий снаряжение в Архангельск, и мы прошли в спальню. Везде валялись ватные костюмы, варежки, рюкзаки... Экспедиция уже переехала в Санин номер из Арктического института.

Я усадила старика на кровать и стала угощать его кофе.

— Едете? — спросил он.

— Да, теперь скоро.

Мы помолчали.

— Извините, я вас еще мало знаю,— сказал он,— но много слышал и от души рад, что Саня, которого я считаю за сына, соединил свою жизнь именно с вами. Конечно, грустно, что так случилось... Отпраздновали бы вместе... Но в жизни не закажешь...— Он вздохнул и повторил еще раз: — В жизни не закажешь... Мне Петя говорил, что вы заботились о Сашеньке, и я от души вам благодарен.

Я спросила, как здоровье Дарьи Гавриловны.

— Да в том-то и дело, что плохо. Не велят ей вставать. Одышка страшнейшая. Если бы она была здо-

рова, мы бы немедля взяли к себе ребеночка. И Петя жил бы у нас хоть некоторое время. А теперь не то что взять — я не представляю себе, как и вернуться. Ведь она умрет, как узнает о Сашеньке. У нее вся жизнь была в Сашеньке и Пете.

Я знала, о чем он думает, вертя в руках старую медную зажигалку, переделанную из патрона,— должно быть, память со времен гражданской войны. Я сама подумала о том же, вернувшись на Петроградскую после похорон.

...Пуст был белый некрашеный стол, и не нужны никому маленькие кисти и неоконченный медальон-миниатюра в старинном духе, над которым Саша работала в последнее время.

«Так было бы не страшно, а что маленький — страшно». Она как бы оставила маленького сына у меня на руках. Она просила бы меня о нем, если бы умирала в сознании.

Глава тринадцатая
МАЛЕНЬКИЙ ПЕТЯ

Я могла провести с мальчиком только две недели — наш отъезд был назначен на середину июня. Но две недели — это не так уж мало для грудного ребенка, которому и всего-то было только две недели. Теперь мне смешно вспомнить, как я боялась не только взять его на руки, но даже дотронуться до него, когда мы с Петей пошли в клинику, чтобы взять его домой. Я ахнула, когда, рассказывая, как нужно обращаться с грудными детьми, сестра высоко подняла его на ладони. Она подняла его одной рукой. Он заревел, а она сказала хладнокровно:

— Легкие развивает.

Бутылочки нужно было кипятить, кормить каждые три часа, купать через день. У меня голова пошла кругом от ее наставлений! Наконец, как это ни было страшно, я все-таки завернула ребенка и взяла его на руки. Должно быть, я сделала это слишком осторожно, потому что сестра засмеялась и сказала:

— Смелее, смелее!

И днем и ночью я была занята: то нужно было пеленать его, то кормить, то купать, утром и вечером я ездила в клинику за грудным молоком — словом, возни было много. Но странно, с каждым днем мне было все труднее представить себе, что скоро не будет этих вечерних купаний, когда мальчик, который очень любил купаться, важный, как маленький король, лежал в корыте, и не будет бесконечных споров с Розалией Наумовной о том — нужно ее давать или нет.

Разумеется, ничего не переменилось. Башкирское геологическое управление прислало мне командировку на год в распоряжение Арктического института, профессор Н. вызвал меня, и мы подробно обсудили геологическую задачу высокоширотной экспедиции, причем я порядочно «плавала», потому что в геологии Крайнего Севера тогда еще ничего не понимала.

«Гостеприимную Арктику» я одолела, хотя не без труда, потому что читала ее по ночам, то засыпая, то просыпаясь, и, помнится, так и не поняла, почему она гостеприимная: мне показалось — не очень.

И каждый раз, когда я бралась за книгу, мальчик начинал свое «ля, ля», точно чувствовал, что я уезжаю.

Давно пора было подумать о том, как устроить его на время моего отъезда, и не раз я пыталась поговорить об этом с Петей. Но, молчаливый, подавленный, усталый, он слушал меня, опустив голову, и не отвечал ни слова.

— Зачем няню? — как-то спросил он.

И я поняла, что ему будет тяжело увидеть в этой комнате чужого человека.

Он ничего не ел, несмотря на все мои уговоры. Где-то он потерял кепку, должно быть на улице, и все искал ее дома. Ни разу он не взглянул на ребенка — вот что меня в особенности поражало! Но однажды, когда под утро я задремала над книгой, вдруг шорох и бормотанье разбудили меня. Мне послышалось: «Бедный, милый!»

Петя стоял над кроваткой, в одном белье, ужасно худой, с открытой грудью. Широко открыв глаза, с каким-то болезненным недоумением вглядывался он в спящего мальчика.

Он испугался, когда я спросила его:

— Что вы, Петя?

Он поспешно отступил от кроватки. Глаза у него были полны слез, губы дрожали...

Саня заезжал почти каждый день, и я всегда узнавала с первого взгляда, когда он доволен тем, как идут

дела, и когда недоволен. Мы разговаривали, а потом он уходил в коридор покурить, и я вместе с ним, чтобы ему не было скучно.

— Какая ты...— сказал он однажды, когда маленький заплакал и я взяла его из кроватки и стала ходить по комнате, покачивая и напевая.

— Что?

— Да нет, ничего. Совсем мама.

Сама не знаю почему, но я почувствовала, что красива. Он засмеялся, обхватил меня вместе с мальчиком и стал целовать...

— Не знаю, как быть,— сказал он мне в другой раз с усталым и озабоченным лицом,— несмотря на все мои хлопоты, денег отпустили мало. Денег мало, и поэтому времени мало.

— При чем же тут время?

— Над каждой ерундой часами думаешь — купить или нет. И все через бухгалтерию, будь она неладна!

У него появилась привычка покусывать нижнюю губу, когда он был расстроен, и вот он сидел и покусывал, и глаза были черные, сердитые.

— Ты не могла бы мне помочь? — нерешительно продолжал он.— Я знаю, что ты занята. Но, понимаешь, хоть разобраться в счетах.

На другой день, оставив Розалии Наумовне тысячу наставлений, расписав по часам, когда нужно кормить маленького, когда идти за молоком и так далее, я поехала к Сане в «Асторию» и осталась на ночь и на другой день, потому что он действительно не мог справиться без меня и нельзя было даже отлучиться из номера — каждые пять минут звонили по телефону.

Глава четырнадцатая
НОЧНОЙ ГОСТЬ

В одном разговоре со мной Ч. употребил выражение «заболеть Севером», и только теперь, помогая Сане снаряжать поисковую партию, я вполне поняла его выражение. Не проходило дня, чтобы к Сане не явился человек, страдающий этой неизлечимой болезнью. Таков был П., старый художник, друг и спутник Седова, в свое время горячо отозвавшийся на Санину статью в «Прав-

дах» и впоследствии напечатавший свои воспоминания в том, как «Св. Фока», возвращаясь на Большую землю, подобрал штурмана Климова на мысе Флора.

Приходили мальчики, просившие, чтобы Саня устроил их на «Пахтусове» кочегарами, коками — кем угодно.

Приходили честолюбцы, искавшие легких путей к почету и славе; приходили бескорыстные мечтатели, которым Арктика представлялась страной чудес и сказочных превращений.

Среди этих людей однажды мелькнул человек, о котором я не могу не вспомнить теперь, когда все изменилось и прежние волнения и заботы кажутся незначительными и даже смешными. Как сонное, ночное видение, он мелькнул и исчез, и долгое время я даже не знала, как его зовут и где Саня познакомился с ним. Но это была минута, когда будущее — и, может быть, близкое — вдруг представилось мне. Как будто я заглянула на несколько лет вперед, и сжалась душа, похолодело сердце...

Не дождавшись Сани, я уснула, забравшись с ногами в кресло, и, проснувшись среди ночи, увидела в номере незнакомого человека. Это был военный моряк, не знаю уж, в каком звании. Саня полусидел на столе, рисуя рожи, а он расхаживал по комнате — живой, быстрый, с казацким чубом и темными насмешливыми глазами.

Они говорили о чем-то серьезном, и я поскорее закрыла глаза и притворилась, что сплю. Это было приятно — слушать и дремать или притворяться, что дремлешь,— можно было не знакомиться, не причесываться, не переодеваться.

Нет ничего проще, как доказать, что розыски капитана Татаринова не имеют ничего общего с основными задачами Главсевморпути. Это, конечно, ерунда — стоит только вспомнить розыски Франклина. Вообще людей нужно искать — это перестраивает географическую карту. Но я говорю о другом...

«Другое» — это была война, война в Арктике, на берегах Баренцева и Карского морей. Я прислушивалась — это было ново!

С карандашом в руках он стал подсчитывать количество полезных ископаемых на Кольском полуострове — это было уже по моей части. Но ночной гость счи-

тал все эти мирные минералы «стратегическим сырьем», необходимым в случае войны, и я сейчас же стала мысленно возражать ему, потому что была убеждена, что войны не будет.

— Уверяю вас,— живо говорил моряк,— что капитан Татаринов прекрасно понимал, что в основе каждой полярной экспедиции должна лежать военная мысль.

«Ясно, понимал,— сейчас же сказала я в той смешной дремоте, когда можно думать и говорить, и это то же самое, что не говорить, не думать.— А войны не будет!»

— ...Давно пора построить оборонительные базы вдоль всего пути следования наших караванов... На Новой Земле, например, я бы с удовольствием увидел хорошую дальнобойную батарею...

«Вот так хватил,— сейчас же возразила я.— Это с кем же воевать? С белыми медведями, что ли?»

Но он говорил и говорил, и вдруг из этого тихого, ночного номера гостиницы, где я полуспала с ногами в кресле, где Саня только что прикрыл краем скатерти лампу, чтобы свет не падал мне в глаза, я перенеслась в какой-то странный полусожженный город. И здесь — тишина, но страшная, напряженная. Все ждут чего-то, говорят шепотом, и нужно идти вниз, в подвал, ощупывая в темноте отсыревшие стены. Я не иду. Я стою на крыльце пустого, темного деревянного дома, и ясное, таинственное небо простирается надо мной. Где он теперь? Несется в страшной звездной пустоте самолет, мотор задыхается, с каждым мгновением тяжелеют обледеневшие крылья. Это будет,— ничего нельзя изменить. Все глуше стучит мотор, машина вздрагивает, с далеких станций уже не слышны позывные...

— Правильно, старая история!..— вдруг громко сказал моряк.

И я проснулась и радостно вздохнула, потому что все это был вздор: на днях мы вместе едем на Север, и вот он стоит передо мной, мой Саня, усталый, умный и милый, которого я люблю и с которым теперь никогда не расстанусь.

— Но в Главсевморпути не интересуются историей. Почитали бы, черти, хоть статью в БСЭ! Кстати, там приводится интересная цитата из Менделеева. Вот послушайте, я списал ее. Замечательная цитата!

И, по-детски картавя, он прочел известные слова

Менделеева, которые я, между прочим, встретила впервые где-то в бумагах отца: «Если бы хоть десятая доля того, что мы потеряли при Цусиме, была затрачена на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, прошла бы во Владивосток, минуя и Немецкое море, и Цусиму...»

Саня как-то рассказывал мне, что тетя Даша любила спрашивать его:

«Ну как, Санечка, твое путешествие в жизни?»

Сидя в кресле с ногами, притворяясь спящей, лениво рассматривая сквозь прищуренные веки нашего неожиданного ночного гостя, с его пылкостью, детской картавостью и его смешным казацким чубом, могла ли я вообразить, что мое «путешествие в жизни» через несколько лет приведет Саню в дом этого человека?

Но не будем заглядывать в будущее. Скучно было бы жить, если бы мы заранее знали свое «путешествие в жизни».

Глава пятнадцатая
МОЛОДОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Няня была найдена наконец, очень хорошая, с рекомендациями, толстая, чистая, с сорокалетним стажем — «не няня, а профессор», как с восторгом объявили мне Беренштейны. Она явилась, и следом за ней дворник втащил большой старинный сундук, из которого няня немедленно вынула белый передник, чепчик и старинную фотографию, на которой были еще немного видны нянины родители и она сама в виде семилетней девочки с потерянным выражением лица.

Передник и чепчик она надела, а фотографию повесила на место портрета, который Петя подарил Розалии Наумовне в честь рождения сына. С этой минуты всем стало ясно, кто является главным человеком в доме. Мне она сказала, что, согласно науке, у ребенка должна быть своя посуда, своя мебель, по возможности белая, и свой постоянный врач. Но что она, слава богу, выращивала детей без белой мебели, врача и своей посуды. Беренштейны слушали ее с благоговением и, кажется, немного боялись, а я нет. В сущности, это была добрая, простая старуха, глубоко убежденная в том, что ее профессия — важнее всех других на земле.

Решено было, что мы вернемся осенью и заберем

маленького Петю вместе с Дарьей Тимофеевной — так звали няню — в Москву. С большим Петей было сложнее. Но вот однажды Саня увел его к себе, а меня прогнал; и, запершись, они провели вдвоем целый вечер. Не знаю, о чем они говорили, но, когда я вернулась во втором часу ночи, у обоих были красные глаза — вероятно, от дыма: в номере было сильно накурено, а окно почему-то закрыто.

— Ведь жить-то нужно, старик,— негромко сказал Саня, когда я вошла.— Вот сын у тебя. Ты посмотри на все одним взглядом и подумай спокойно.

Петя вздохнул.

— Я постараюсь,— сказал он.— Ничего, это пройдет. Вы не беспокойтесь, ребята. Ты прав: что было, того не вернешь...

Основная экспедиция запоздала со снаряжением, а наше снаряжение было готово и даже отправлено багажом в Архангельск, и у меня вдруг оказалось несколько свободных дней. У меня — потому что Саня все равно с утра до вечера пропадал в Арктическом институте. И вот в эти свободные два-три дня я решила хоть немного познакомиться с Ленинградом.

Глядя, как мальчишки лазают по пьедесталу Медного всадника и садятся верхом на змея, я думала о том, что, если бы я родилась в Ленинграде, у меня было бы совсем другое детство — морское, балтийское. Именно здесь я должна была некогда прочитать «Столетие открытий».

Я была в квартире Пушкина, в голландском домике Петра, в Летнем саду.

На Неве стояли корабли, и однажды я видела, как матросы сходили на берег у Сената. Сигнальщик, стоя на парапете, передавал что-то флажками; оттуда, с корабля, через сиянье воздуха, солнца, Невы ему отвечали флажками; и все это было так празднично, так просторно, что у меня даже слезы подступили к глазам.

Впрочем, мне часто хотелось плакать в Ленинграде — горе и радость как-то перепутались в сердце, и я бродила по этому чудному, просторному городу растерянная, очарованная, стараясь не думать о том, что скоро кончатся эти счастливые и печальные ленинградские дни.

Конечно, Саня видел, что со мной что-то происходит. Но ему, кажется, даже нравилось, что я стала такая

ревнивая и что однажды даже приревновала его к официантке, которая принесла в номер обед.

Неожиданные страшные мысли приходили мне в голову, и случалось, что, едва выйдя на улицу, я спешила вернуться домой. Поднимаясь по лестнице в «Асторию», я гадала, дома ли Саня, хотя это можно было просто узнать у портье, без гаданья.

Все это было глупо, конечно, но я ничего не могла поделать с собой. Как будто мало было одного моего страстного желания и нужны были еще какие-то сверхъестественные, чудесные силы, чтобы все было наконец хорошо.

На всю жизнь запомнилась мне эта ночь — последняя перед отъездом. Вечером я забежала на Петроградскую. Петеньку только что выкупали — он спал; няня в чепчике и великолепном белом переднике сидела на кушетке и вязала.

— Графьев выращивали,— гордо сказала она в ответ на мои последние просьбы и наставления.

Мне вдруг стало страшно, что такая ученая няня может наделать массу глупостей, но я посмотрела на мальчика и успокоилась. Он лежал такой чистенький, беленький, и все вокруг так и сверкало чистотой.

Большой Петя и Беренштейны собирались приехать на вокзал.

Саня спал, когда я вернулась; какие-то деньги валялись на ковре, я подобрала их и стала читать длинный список дел, которые Саня оставил на завтра.

Была уже ночь, но в номере — светло: Саня не задернул шторы. Я сняла платье, умылась и надела халатик. Не знаю почему, но у меня горели щеки и совсем не хотелось спать, даже наоборот — хотелось, чтобы Саня проснулся.

Телефон зазвонил, я сняла трубку:

— Он спит.

— Давно уснул?

— Только что.

— Ну ладно, тогда не будите.

Еще бы я стала его будить! Это был В., я узнала по голосу, и дело, наверное, важное — иначе он не стал бы звонить ночью. Все равно, хорошо, что я не разбудила Саню. Он крепко спал, одетый, на диване и, должно быть, волновался во сне. Тень пробегала по лицу, губы сжимались.

Ох, как мне хотелось, чтобы он проснулся! Я ходила по комнате, трогая горячие щеки. Это была чужая комната, и завтра здесь будут другие. Она была похожа на тысячу таких же комнат: с диваном, обитым голубым репсом, со шторами, обшитыми каймой с шариками, с маленьким письменным столом, на котором лежало стекло,— все равно: это был наш первый дом, и я хотела запомнить его навсегда.

Где-то за стеной играли на скрипке — уже давно, но я стала слушать только сейчас. Это играл тонкий рыжий мальчик, знаменитый скрипач,— мне показали его в вестибюле. Я знала, что он живет рядом с нами.

Он играл совсем не то, о чем я думала, не это странное счастливое чувство, что Саня — мой муж, а я его жена,— он играл наши прежние, молодые встречи, как будто видел нас на балу в четвертой школе, когда Саня поцеловал меня в первый раз...

«Молодость продолжается,— играл этот рыжий мальчик, который показался мне таким некрасивым.— За горем приходит радость, за разлукой — свиданье. Помнишь, ты приказала в душе, чтобы вы нашли его,— и вот он стоит, седой, прямой, и можно сойти с ума от волненья и счастья. Завтра в путь — и все будет так, как ты приказала. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле».

Я легла на пол, на ковер, и слушала, сжимая виски, и плакала, и ругала себя за эти глупые слезы. Но я так давно не плакала и всегда так старательно притворялась, что не могу и даже не умею плакать...

Я разбудила Саню в седьмом часу и сказала, что ночью звонил В.

— Сердишься?

— За что?

Он сидел на диване сонный и смотрел на меня то правым, то левым глазом.

— За то, что я тебя не разбудила.

— Сержусь,— сказал он и засмеялся.— Ты помолодела. Вчера В. спросил, сколько тебе лет, и я сказал — восемнадцать.

Он поцеловал меня, потом побежал в ванну, выскочил в одних трусиках и стал делать зарядку. Он и меня заставлял делать зарядку, но я начинала и бросала, а он делал аккуратно — два раза в день, утром и вечером.

Еще мокрый, растирая мохнатым полотенцем грудь, он подошел к телефону и снял трубку, хотя я сказала, что звонить В. еще рано. Я что-то делала: кажется, разжигала спиртовку, ставила кофе. Саня назвал В. по имени-отчеству. Потом каким-то странным голосом он спросил: «Что?» Я обернулась и увидела, что полотенце соскользнуло с плеча, упало и он не стал поднимать его, а стоял выпрямившись и кровь отливала от его лица.

— Хорошо, я дам молнию,— сказал он и повесил трубку.

— Что случилось?

— Да нет, какая-то чушь,— поднимая полотенце, медленно сказал Саня.— В. ночью получил телеграмму, что поисковая партия отменена. Мне приказано немедленно выехать в Москву, в Управление ГВФ, за новым назначением.

Глава шестнадцатая
«Я ВИЖУ ТЕБЯ С МАЛЫШОМ НА РУКАХ...»

Саня как-то говорил, что всю жизнь бывало так: все хорошо — и вдруг крутой поворот, и начинаются «бочки» и «иммельманы». Но на этот раз можно было сказать, что машина вошла в штопор.

Разумеется, теперь, когда новые, в тысячу раз более сильные чувства заслонили все, чем мы жили, что радовало и огорчало нас до войны, кажется странным то необычайное впечатление, которое произвела на Саню эта неудача. Это было впечатление, которое отчасти даже изменило его взгляды на жизнь.

— Кончено, Катя,— с бешенством сказал он, вернувшись от В.— Север, экспедиция, «Святая Мария». И больше не хочу слышать об этом. Все это детские сказки, о которых давно пора забыть.

И я дала ему слово, что мы вместе забудем об этих «детских сказках», хотя была уверена в том, что он не забудет о них никогда.

У меня была еще маленькая надежда, что Сане удастся в Москве добиться отмены приказа. Но телеграмма, которую я получила от него уже не из Москвы, а откуда-то по дороге в Саратов, убедила меня в обратном. Уже

самое назначение, которое он получил, как бы подчеркнуло полный провал экспедиции. Он был переброшен в сельскохозяйственную авиацию — так называемую авиацию спецприменения, и должен был теперь ни больше ни меньше как сеять пшеницу и опылять водоемы. «Отлично! Я буду тем, за кого меня принимают,— писал он в первом письме из какого-то колхоза, в котором сидел уже вторую неделю, «согласовывая и увязывая» вопросы своей работы с местными властями.— К черту иллюзии — ведь, право же, это были иллюзии! Но Ч. был все-таки прав — если быть, так быть лучшим. Не думай, что я сдался. Всё еще впереди».

«Будем благодарны этой старой истории,— писал он в другом письме,— хотя бы за то, что она помогла нам найти и полюбить друг друга. Но я уверен, что очень скоро эти старые личные счеты окажутся важными не только для нас».

В критическом духе он писал мне о том, что постепенно привыкает к полезной роли «сеятеля злаков» и «неукротимого борца с саранчой». Но, очевидно, он увлекся этой работой, потому что вскоре я получила от него совсем другое письмо.

«Дорогая старушка,— писал он,— представь себе, есть на свете так называемая парижская зелень, которую нужно распылять над озерами по одиннадцати килограммов на километр. Для этого, представь себе, нужно иметь класс, хотя бы потому, что эти озера маленькие, в лесу, и похожи друг на друга, как братья. Подходишь к такому озерку на полном ходу, сразу резко пикируешь и — круто вверх. Интересно, да? Все к лучшему, я ни о чем не жалею. Обнимаю тебя. Я вижу тебя с малышом на руках, ты ходишь и поешь, а косы плохо подколоты и расплелись, и ты подходишь ко мне и садишься на корточки, чтобы я подколол косы...»

Недаром я представлялась Сане с маленьким Петей на руках — я отдавала ему все свободное время. Он менялся с каждым днем, и так интересно было наблюдать, как он постепенно начинает различать меня, и Розалию Наумовну, и няню; как в бессмысленных, еще младенческих глазах вдруг мелькают удивление, внимание. Это может показаться невероятным, но ему еще не было месяца, а он уже улыбался. Он смотрел на лампочку и плакал, когда ее гасили. Первое время он пугался своих ручек, а потом подолгу смотрел на них и не

пугался. Другие ребята в его возрасте бывают сморщенные, кислые, а он был веселый — точно рад, что явился на свет. Мне казалось, что он похож на Саню больше, чем в клинике, когда я видела его в первый раз. Он родился с черными волосиками, но только на макушке, а теперь уже вся головка заросла, и он стал очень хорошенький, аккуратный...

Все вышло не так, как думалось, мечталось! Я приехала в Ленинград на две-три недели, чтобы встретиться с Саней, чтобы остаться с ним, где бы он ни был, и вот он снова был далеко от меня. Нежданно-негаданно у меня оказалась семья — маленький Петя и большой и няня, о которых нужно было заботиться и думать, причем никто не сомневался, что заботиться и думать нужно было именно мне.

Почему-то я продолжала заниматься геологией Севера, хотя дала Сане слово навсегда выкинуть Север из головы. С деньгами было плохо, и я взяла скучную работу в Геологическом институте.

Вероятно, прежде я бы терзалась, ругала себя и вообще думала о себе в тысячу раз больше, чем нужно. Но странное спокойствие вдруг овладело мной. Точно вместе с «детскими сказками» я проводила свое самолюбие, гордость, свою обиду на то, что все произошло не так, как я страстно желала. «Что же делать, милый мой! — ответила я Сане, когда в одном письме он сетовал на себя за то, что вытащил меня в Ленинград и бросил, да еще с целым семейством.— Как говорит старый судья, в жизни не закажешь».

Я писала ему часто длинные письма о «научной» няне, о том, как быстро меняется маленький Петя, о том, как большой вдруг с жадностью накинулся на работу и проект памятника Пушкину выходит замечательно, превосходно...

Но я не писала ни слова о том, как однажды, покупая что-то в гастрономе, на проспекте 25 Октября, я увидела за окном знакомую фигуру в сером пальто и в мягкой шляпе, той самой, которая была куплена ради меня и которая неловко стояла на квадратной большой голове...

Темнело, я могла ошибиться. Но нет, это был Ромашов. Сдержанный, бледный, немного наклонясь вперед, он медленно прошел мимо витрины и затерялся в толпе.

Часть седьмая

РАЗЛУКА

Глава первая

ПЯТЬ ЛЕТ

Не помню, где я читала стихотворение, в котором годы сравниваются с фонариками, висящими «на тонкой нити времени, протянутой в уме».

И одни фонарики горят ярким, великолепным светом, а другие чадят и дымно вспыхивают в темноте.

Мы живем в Крыму и на Дальнем Востоке. Я — жена летчика, и у меня много новых знакомых — жен летчиков в Крыму и на Дальнем Востоке... Так же, как они, я волнуюсь, когда в отряд приходят новые машины. Так же, как они, я без конца звоню в штаб отряда, надоедаю дежурному, когда Саня уходит в полет и не возвращается в положенное время. Так же, как они, я уверена, что никогда не привыкну к профессии мужа, и, так же, как они, в конце концов привыкаю. Это почти невозможно, но я не оставляю своей геологии, хотя старенькая профессорша, которая до сих пор зовет меня «деточкой», утверждает, что «не выйди я замуж, да еще за летчика, давным-давно получила бы кандидата». Она берет свои слова обратно, когда поздней осенью 1937 года я возвращаюсь в Москву с Дальнего Востока с новой работой, которую я сделала вместе с Саней. Аэромагнитная разведка! Поиски железных руд с самолета.

Теперь Иван Павлыч не мог бы сказать: «Ты его не знаешь». Как в заброшенном, покинутом доме горит по ночам загадочный свет и длинные, тонкие полоски пробиваются между щелями заколоченных ставен, так в далекой глубине Саниных мыслей и чувств я вижу свет

арктических звезд, озаривших его детские годы. Закрыты, заколочены ставни. Но светлые полоски пробиваются, падают на дорогу, по которой мы идем, то находя, то теряя друг друга.

— Саня, теперь я поняла, кто ты.

Мы в купе международного вагона Владивосток — Москва. Невероятно, но факт — десять суток мы проводим под одной крышей, не расставаясь ни днем, ни ночью. Мы завтракаем, обедаем и ужинаем за одним столом. Мы видим друг друга в дневные часы — говорят, что есть женщины, которым это не кажется странным.

— Кто же?

— Ты — путешественник.

— Да, Владивосток — Иркутск, отлет с Приморского аэродрома, семь сорок четыре.

— Это ничего не значит. Тебя не пускают. Но все равно — ты путешественник по призванию, по страсти. Только путешественник мог спросить, сколько лет рыбе, которую мы съели за обедом.

Он смеется.

— Только путешественники так боятся канцелярских бумаг. Только путешественники так стесняются, когда дарят цветы. Только путешественники так свистят и думают о своем и по утрам мучают своих жен зарядкой из двадцати четырех упражнений.

— Не считая холодного обтирания.

— Да. Только путешественники так не стареют.

— Я старею.

— Ты знаешь, мне всегда казалось, что у каждого человека есть свой характерный возраст. Один родится сорокалетним, а другой на всю жизнь остается мальчиком девятнадцати лет. Ч. такой и ты — тоже. Вообще многие летчики. Особенно те, которые любят перелетать океаны.

— А ты думаешь, я из тех, которые любят перелетать океаны?

— Да. Ты не бросишь меня, когда перелетишь океан?

— Нет. Но меня вернут с полдороги.

Я молчу. «Меня вернут» — это уже совсем другой разговор. Это разговор о том, как жизнь моего отца, которую Саня сложил из осколков, разлетевшихся от Энска до Таймыра, попала в чужие руки. Портрет

капитана Татаринова висит в Географическом обществе, в Арктическом институте. Поэты посвящают ему стихи, в большинстве довольно плохие. В БСЭ помещена большая статья о нем, подписанная скромными инициалами Н. Т. Его путешествие вошло в историю русского завоевания Арктики наряду с путешествиями Седова, Русанова, Толя...

И чем выше поднимается его имя, тем все чаще произносится рядом с ним имя его двоюродного брата, почтенного ученого-полярника, пожертвовавшего всем своим состоянием, чтобы организовать экспедицию «Св. Марии», и посвятившего всю свою жизнь биографии великого человека.

Заслуги Николая Антоныча оценены по достоинству; книга «В ледяных просторах» издается каждый год для детей и для взрослых. В газетах сообщается о каких-то «ученых советах» под его председательством. На «ученых советах» он произносит речи, и в этих речах я нахожу следы старого спора, окончившегося в тот день и час, когда женщину с очень белым лицом вынесли на холодный каменный двор и навсегда увезли из дома. Но нет, еще не кончился этот спор! Недаром же почтенный ученый не устает повторять в своих книгах, что в гибели капитана Татаринова виноваты «промышленники», и в частности некто фон Вышимирский. Недаром почтенный ученый приводит доводы, которыми некогда пытался уличить во лжи школьника, разгадавшего его тайну.

Теперь он молчит, этот школьник. Но все впереди.

Он молчит и работает без устали, днем и ночью. На Волге он опыляет водоемы. Он возит почту Иркутск — Владивосток и счастлив, когда удается за двое суток доставить во Владивосток московские газеты. Он получает звание пилота второго класса, и не он, а я оскорблена за него, когда он просит — в который раз! — отправить его на Север и когда вместо ответа его снова превращают в «воздушного извозчика», на этот раз между Симферополем и Москвою. Что же это за тайная тень, которая каждый раз ложится поперек его дороги? Не знаю. Не знает и он.

— На днях я нашел старую записную книжку. Знаешь, что написано на первой странице?

В белом платье я стою рядом с ним на белой, нарядной палубе парохода. Саня в отпуску, и я так счастлива, что он в отпуску и что мы вдруг решили поехать в Севастополь, а оттуда и сами не знаем куда.

— «„Вперед“ — называется его корабль. „Вперед“,— говорит он и действительно стремится вперед. Нансен об Амундсене». Это было моим девизом, когда мне было четырнадцать лет. Здóрово, да? А теперь — вперед и назад. Москва — Симферополь.

...То разгорается, то гаснет фонарик, то горе, то радость освещает его колеблющийся свет. Время бежит, не оглядываясь, и останавливается лишь на один вечер, когда Саня рассказывает — не мне — всю свою жизнь. В саду клуба летчиков в Татарском поселке происходит этот большой разговор. Сад разбит вдоль покатого склона, дорожки сбегают вниз и через заросли цветущего иудина дерева пробираются к морю. Гравий скрипит под осторожными шагами входящих летчиков. Вдруг налетел ветер и вместе с ним лепестки вишен и яблонь из садов Ай-Василя. Это — открытое партийное собрание, открытое в буквальном смысле слова — на площадке перед эстрадой, под южным, быстро темнеющим небом.

Саня рассказывает связно, спокойно, но я-то знаю, что скрывается за этими внезапными паузами, которыми он останавливает себя, когда начинает говорить слишком быстро. Волнуется. Еще бы!

Я слушаю Саню — и наша полузабытая юность встает передо мной, как в кино, когда чей-нибудь голос неторопливо говорит о своем, а на экране идут облака и вдоль широкой равнины далеко простирается туманная лента реки. Утро. И юность кажется мне туманной, счастливой.

Худенький черный комсомолец с хохолком на макушке судит Евгения Онегина в четвертой школе. На катке он впервые говорит мне, что идет в летную школу. Я вижу его в Энске, в Соборном саду, потрясенного тем, что он прочел в старых письмах. В Москве, на Севере, снова в Москве — перед целым миром он готов отстаивать свою правоту...

...Зимой 1937 года Саню перебрасывают в Ленинград. Мы живем у Беренштейнов, и все, кажется, было бы хорошо, если бы, просыпаясь по ночам, я не видела, что Саня лежит с открытыми глазами. Каждую неделю на Невском в театре кинохроники мы смотрим испанскую войну. Юноши в клетчатых рубашках скрыва-

ются среди развалин Университетского городка под Мадридом с винтовками в руках — и вот поднялись, пошли в атаку. Пятый полк получает оружие. Из осажденного Мадрида увозят детей, и матери плачут и бегут за автобусами, а дети машут, машут... Да правда ли это? Правда. Так пускай же никогда и нигде не повторится эта горькая правда! Никогда и нигде! Откуда же эти подступившие к горлу слезы, это горькое предчувствие, этот вихрь волнения, вдруг проносящийся в темноте маленького, душного зала?

А через две недели мы с Саней стоим в тесной передней у Беренштейнов, среди каких-то старых шуб и ротонд, стоим и молчим. Последние четверть часа перед новой разлукой! Он едет в штатском. У него странный, незнакомый вид в этом модном пальто с широкими плечами, в мягкой шляпе.

— Саня, это ты? Может быть, это не ты?

Он смеется:

— Давай считать, что не я... Ты плачешь?

— Нет. Береги себя, мой дорогой, мой милый.

Он говорит «я вернусь» и еще какие-то ласковые, перепутанные слова. А я не помню, что говорю, только помню, что прошу его не пренебрегать парашютом. Он не всегда берет с собой парашют.

Куда он едет? Не знаю. Он говорит, что на Дальний Восток. Почему в штатском? Почему, когда я начинаю спрашивать его об этой командировке, он не сразу отвечает на мои вопросы, а сперва подумает, потом скажет? Почему, когда поздней ночью ему звонят из Москвы, он отвечает только «да» или «нет», а потом долго ходит по комнате и курит, взволнованный, веселый и чем-то довольный? Чем он доволен? Не знаю, мне не положено знать. Почему я не могу проводить его на вокзал — ведь он же едет на Дальний Восток!

— Это не совсем удобно,— отвечает Саня,— я еду не один. Может быть, я еще не уеду. Если это будет удобно, я позвоню тебе с вокзала.

Он звонил мне с вокзала — поезд отходит через десять минут. Не нужно беспокоиться, все будет прекрасно. Он будет писать мне через день. Конечно, он не станет пренебрегать парашютом...

Время от времени я получаю письма с московским штемпелем. Судя по этим письмам, он аккуратно получает мои. Незнакомые люди звонят по телефону и

справляются о моем здоровье. Где-то за тысячу километров, в горах Гвадаррамы, идут бои; истыканная флажками карта висит над моим ночным столиком; Испания, далекая и таинственная, Испания Хосе Диаса и Долорес Ибаррури, становится близка, как улица, на которой я провела свое детство.

В дождливый мартовский день республиканская авиация вылетает навстречу мятежникам, задумавшим отрезать Валенсию от Мадрида. Это победа под Гвадалахарой. Где-то мой Саня?

В июле армия республиканцев отбрасывает мятежников от Брунета. Где-то мой Саня? Баскония отрезана; на старых гражданских самолетах, в тумане, над горами нужно лететь в Бильбао. Где-то мой Саня?..

«Командировка затягивается,— пишет он,— мало ли что может случиться со мной. Во всяком случае, помни, что ты свободна, никаких обязательств».

У букиниста на проспекте Володарского я покупаю русско-испанский словарь 1836 года, изорванный, с пожелтевшими страницами, и отдаю его в переплетную. По ночам я учу длинные испанские фразы: «Дорогой, зачем ты пишешь письма, от которых хочется плакать?»

Я бормочу эти испанские фразы, и, должно быть, дико, странно звучат они в темноте, потому что «научная няня», думая, что я брежу, встает и тихо крестит меня...

И вдруг происходит то, что казалось невозможным, невероятным. Происходит очень простая вещь, от которой все становится в тысячу раз лучше — погода, здоровье, дела.

Он возвращается... Поздней ночью звонит Москва. Испуганная Розалия Наумовна будит меня — я бегу к телефону... А еще через несколько дней, похудевший, загорелый и впрямь чем-то похожий на испанца, он стоит передо мной. Своими руками я прикрепляю орден Красного Знамени к его гимнастерке.

...Осенью мы отправляемся в Энск. Петя с сыном и «научной няней» проводят в Энске каждое лето. В каждом письме тетя Даша зовет нас в Энск. И вот мы едем наконец. Утром решаем, а вечером я стою у вагона и ругаю Саню, потому что до отхода поезда осталось не больше пяти минут, а его еще нет — поехал за тортом. Он вскакивает на ходу, запыхавшийся, веселый:

— Чудачка, у них же там нет таких тортов!

— Сколько угодно!

— А конфеты?

Пожалуй, таких конфет действительно нет в Энске: даже нельзя понять, как открывается коробка, и на маленьком красном медальоне написано золотыми буквами: «Будьте здоровы, живите богато».

Мы долго сидим в полутемном купе, не зажигая огня.

Когда это было? Как взрослые, мы возвращались из Энска, и старые нигилистки с большими смешными муфтами на шнурах провожали нас. Маленький небритый мужчина все гадал, кто мы такие. Брат и сестра? Не похожи! Муж и жена? Рановато! А какие были яблоки — красные, крепкие, зимние! Почему такие яблоки едят только в детстве?

— Это и был день, когда я влюбился в тебя.

— Нет. Ты влюбился, когда мы однажды шли с катка и ты угощал меня конфетами, а я отказалась, и ты отдал их какой-то девчонке.

— Это ты тогда влюбилась.

— Нет, я знаю, что ты. А то бы не отдал.

Он думает очень серьезно:

— А когда же ты?

— Не знаю... Всегда.

Мы стоим в коридоре и, как тогда, провожаем глазами ныряющие и взлетающие провода. Все уже не то и не так, а все-таки по-прежнему — счастье. Толстый усатый проводник все посматривает на нас — или на меня? — и, вздохнув, говорит, что у него тоже красивая дочка...

Энск. Раннее утро. Трамваи еще не ходят, и нужно идти через весь город пешком. Вежливый оборванец несет наши вещи и болтает, болтает без конца — напрасно мы уверяем его, что сами родом из Энска. Он знает всех покойных Бубенчиковых, тетю Дашу, судью, в особенности судью, с которым ему не раз приходилось встречаться.

— Где же?

— В судебной камере Ленинского района.

На площади, у возов, с которых колхозники продают яблоки и капусту, с большим кочаном в руках, постаревшая, задумчивая — взять или нет? — стоит тетя Даша.

Саня окликает ее. Она по-стариковски, строго глядит на него из-под очков и вдруг беспомощно роняет кочан на землю:

— Санечка! Милые вы мои! Да как же это? На базар пришли?

— Нет, тетя Даша, это мы по дороге.

Он подводит меня к тете Даше, и на энском базаре прекращается торговля — даже лошади и те, вынув морды из мешков, с интересом смотрят, как я целуюсь с тетей Дашей...

Дом Маркузе на Гоголевской с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Завтрак в тети Дашином вкусе, после которого страшно подумать, что бывают на свете еще обед и ужин. Разговор по телефону с судьей, который находится в районе на выездной сессии; судя по слабому, далекому голосу,— где-то на той стороне земного шара. Маленький Петя, которому уже третий год,— а давно ли, кажется, обсуждался генеральный вопрос: давать ему соску или нет, укачивать его на руках или в кроватке?

Большого Петю мы находим в Соборном саду, на том самом месте, где он и Саня лежали когда-то, стараясь днем увидеть луну и звезды. Здесь они читали письмовник, здесь дали друг другу «кровавую клятву дружбы».

Сложив ноги, как турок, Петя сидит, держа на коленях большой полотняный альбом. Он пишет Решетки — то место, где Песчинка сливается с Тихой, и Покровский монастырь, белый, строгий, уже врезан в огромный солнечный воздух, а за ним, на том берегу, поля и поля.

— Виноват, гражданин, вы тут маляра не видели?..

Он оборачивается и с изумлением смотрит на нас.

— Тут маляр проходил,— продолжал Саня,— такой, в пиджачке, конопатый.

И Петя вскакивает — неуклюжий, длинный, худой.

— Приехали? И Катя? Ну молодцы! Вот рад! Ну, рассказывайте! Саня, ведь ты оттуда?

— Я оттуда.

Часа два мы сидим у башни старца Мартына, потом спускаемся вниз на набережную и садами обходим весь город. Как он хорош осенью! Как красны клены в Ботаническом саду! Как хорошо пройтись по заброшенной, забытой аллее к обрыву, под которым правильными рядами стоят низкие яблони, обмазанные чем-то белым!

— Когда-то мы лазили сюда за яблоками. И ты врал, что у сторожей ружья заряжены солью.

— А вот и не врал! Интересно, какими мы были мальчиками? Вот ты, например, видишь себя мальчиком? Я — нет.

— Ты был довольно странным мальчиком. Помнишь, ты однажды выдумал, что у крыс бывает царица-матка? А Туркестан? Это была мечта. Ты уже и тогда был художником, во всяком случае — человеком искусства.

— А мне казалось, что именно ты будешь художником. Ведь ты хорошо лепил. Почему ты бросил?

Я смотрю на Саню — выдать или нет, но он делает мне страшные глаза, и я не говорю ни слова. В свободное время он и теперь еще лепит — разумеется, для себя.

Судья приезжает поздно вечером, когда мы его уже давно не ждем. Вдруг где-то за углом начинает стрелять и фыркать «газик», и старик появляется на дорожке в белом запыленном картузе, с двумя портфелями в руках.

— Ну, которые тут гости? Сейчас умоюсь и приду целоваться.

И мы слышим, как он долго, с наслаждением кряхтит в кухне, и тетя Даша ворчит, что он снова залил весь пол, а он все кряхтит и фыркает и говорит: «Ох, хорошо!» — и наконец появляется причесанный, в туфлях на босу ногу, в чистой толстовке. По очереди он тащит нас на крыльцо — рассматривать: сперва меня, потом Саню. Орден он рассматривает отдельно.

— Ничего! — говорит он с удовольствием.— Шпала?

— Шпала.

— Значит, капитан?

— Капитан.

И он крепко жмет Санину руку.

Так проходит этот прекрасный вечер в Энске. Мы так редко собираемся всей семьей, а между тем очень любим друг друга. И теперь, когда мы наконец встречаемся, всем кажется странным, что мы живем в разных городах.

До поздней ночи мы сидим за столом и болтаем, болтаем без конца. Мы вспоминаем Сашу и говорим о ней просто, свободно, как если бы она была среди нас. Она среди нас — с каждым месяцем маленький Петя все больше становится похож на нее: тот же монгольский разрез глаз, те же поросшие мягкими

темными волосиками виски. Наклоняя голову, он так же высоко поднимает брови...

Саня рассказывает об Испании. И странное, давно забытое чувство охватывает меня: я слушаю его, как будто он рассказывает о ком-то другом. Так это он, вылетев однажды на разведку, увидел пять «юнкерсов» и без колебаний пошел к ним навстречу? Это он, проносясь между «юнкерсами», стрелял почти наугад, потому что не попасть было невозможно? Это он, закрыв перчаткой лицо, в прогоревшем реглане, посадил разбитый самолет и через час поднялся в воздух на другом самолете?

Судья слушает — и детским удовольствием сияют его глаза из-под косматых седых бровей. С бокалом в руке он встает и произносит речь. Еще в поезде Саня говорил мне, что судья непременно скажет речь.

— Не буду говорить высоких слов, хотя то, что ты сделал, Саня, стóит, чтобы говорить об этом высокими словами. Когда-то ты сказал мне, что хочешь стать летчиком, и я спросил: «Военным?» Ты ответил: «Полярным. А придется — военным». И вот — военный, боевой летчик, ты сидишь передо мной, и я с гордостью вспоминаю, что могу законно считать тебя за родного сына. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя перед собой. Я хочу сказать о твоей благородной мечте найти экспедицию капитана Татаринова,— мечте, согревшей твои молодые годы. И, зная тебя с детских лет, я верю, что рано или поздно, но ты решишь свою большую задачу.

Мы чокаемся, и Саня говорит по-испански:

— Salud!.. Будем считать, что «путешествие в жизнь» еще только началось,— говорит он.— Корабль вчера покинул гавань, и еще виден вдалеке маяк, пославший ему прощальный привет: «Счастливого плавания и достижений». Когда-то маленькие, но храбрые, мы шли по темным улицам этого города. Мы были вооружены одним финским ножом на двоих, тем самым, для которого Петя сшил чехол из старого сапога. Но мы были вооружены лучше, чем это может показаться с первого взгляда. Мы шли, потому что дали друг другу клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Путь еще не кончен.

Высоко подняв бокал, Саня пьет до дна и со звоном разбивает его о стену...

В 1939 году мы в Москве — и часто бываем у Вали и Киры на Сивцевом Вражке. Тесно стало в квартире на Сивцевом Вражке.

В «кухне вообще» спит маленькая беленькая девочка с косичками и с таким же большим, крепким, как у мамы Киры, носом. В чулане, из которого Валя когда-то сделал фотолабораторию, висят пеленки. В «собственно кухне» Саня едва не садится на сверток, из которого выглядывает серьезное, рассеянное личико с черной прядкой волос на лбу — не хватает, кажется, только очков в роговой оправе, чтобы услышать лекцию о гибридах черно-бурых лисиц.

Девочка уже читает стихи «с выражением», и вы чувствуете солидную школу Кириной мамы, во всем противоположную школе окончательно зазнавшейся Варвары Рабинович.

О чем же — бродяги и путешественники — мы с Саней думаем, сидя среди таких милых, таких «детных» друзей на Сивцевом Вражке?

Конечно, о том, что всю жизнь мы живем под чужой крышей, о том, что у нас нет своего дома, хотя бы такого маленького и тесного, как у Вали и Киры.

И мы решаем, что теперь у нас будет такой дом — в Ленинграде...

То разгорается, то гаснет фонарик, то горе, то радость освещает его колеблющийся свет.

В ясный зимний день мы стоим у Кремлевской стены перед черной мраморной дощечкой, на которой высечено простое имя человека, которого мы любили. Саня вспоминает, как однажды он шел к нему, стараясь медленно думать, чтобы перестать волноваться, и, когда пришел, обратился к нему как будто по телефону: «Товарищ Ч.? Это говорит Григорьев».

Прошел уже год, как большой город назван именем этого человека, сотни прекрасных улиц, театры, парки, сады; а нам с Саней все странным кажется, что никогда больше мы не услышим его низкий окающий голос...

В 1941 году мы переезжаем в Ленинград — окончательно, если это удастся. Мы снимаем дачу из трех комнат, с колодцем и старым, красивым, похожим на древнерусского стрельца хозяином, которого Петя немедленно принимается рисовать. Мы живем на даче всей семьей — оба Пети с «научной няней» в этом году

не поехали в Энск,— купаемся в озере, пьем чай из настоящего пузатого медного самовара, и мне кажется странным, что такой прекрасной тишины, такого счастья другие женщины даже не замечают.

По субботам мы встречаем Саню. Всей семьей мы отправляемся на станцию. И, разумеется, больше всех ждет дядю Саню маленький Петя — в тайной надежде на этот раз получить броненосец. Надежда оправдывается — с большим, великолепным кораблем Саня прыгает со ступенек прошедшего мимо нас вагона, машет нам, но почему-то идет рядом с вагоном. Поезд останавливается, он протягивает руку. Маленькая, сухонькая старушка спускается по лесенке с бодрым, озабоченным лицом. В одной руке у нее зонтик, в другой — полотняный кошель-саквояж. Я готова не поверить глазам. Но это бабушка — в нарядном чесучовом костюме, в задорной соломенной шляпке; бабушка, которую Саня почтительно ведет под руку, оберегая от шумной толпы, сразу заполнившей небольшой перрон...

Глава вторая
О ЧЕМ РАССКАЗАЛА БАБУШКА

Нужно сказать, что некоторые черты в характере моей бабушки стали казаться мне загадочными в последнее время. Всегда она с иронией относилась к картам, а тут вдруг увлеклась гаданием, да так, что стала носить с собою колоду. Гадала она на червонного короля, с которым, очевидно, у нее были сложные отношения.

— Так ты вот что задумал, голубчик,— говорила она сердито,— хорош! А казенный дом тебе не по вкусу?..

Вдруг она вскакивала среди разговора и спешила домой — «по хозяйству», хотя только что жаловалась, что дома скучно и нечего делать.

— Нет, нужно идти,— испуганно говорила она.— Как же! Обязательно нужно!

Всегда она очень любила ходить в кино, а теперь даже испугалась, когда я ее пригласила.

— Ходить в кинотеатр,— сказала она степенно,— следует исключительно в зависимости от качества фильма.

«Исключительно в зависимости от качества» — та обстоятельно моя бабушка прежде не говорила.

Разумеется, я догадывалась, кто был червонный ко роль, которому в глубине души бабушка сулила казен ный дом, и почему она вдруг начинала спешить домой и откуда эти длинные круглые фразы. Николай Анто ныч — вот кто занимал все мысли моей бедной бабки

Это была его власть, его удивительное влияние!

Не раз я принималась уговаривать ее пожить с мной хотя бы те немногие дни, которые мы с Саней про водили в Москве,— какое там, не хотела и слышать!

— Уйду, а он найдет,— сказала она загадочно.— Нет уж, видно, судьба такая.

— Как это — найдет? Очень ты ему нужна! Да о тебя и искать не станет.

Бабушка помолчала.

— Нет, станет! Для него это важно.

— Почему?

— Потому, что тогда выходит — всё по его, если в его доме живу. Не по-вашему. Небось он мне кажды вечер читает.

Каждый вечер Николай Антоныч читал бабушк свою книгу...

Мне очень хотелось, чтобы она переехала к нам когда мы решили устроить свой дом в Ленинграде. Н с каждой новой встречей я убеждалась в том, что эт невозможно. Все меньше бабушка ругала Николая Антоныча и все больше говорила о нем с каким-т суеверным страхом. Очевидно, в глубине души он была убеждена в его сверхъестественной силе.

— Я только подумаю, а он уже знает,— однажды сказала она.— На днях задумала пироги печь, а он го ворит: «Только не с саго. Это тяжело для желудка».

Что же должно было случиться, чтобы, вдруг по явившись на станции Л., моя бабушка бодро зашагал к нам, с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем — в другой?

Дорогой она спросила, обязательно ли прописываться у нас на даче.

— Можно и так жить, без прописки,— отвечал я.— А почему это тебя беспокоит?

— Нет уж! Пускай пропишут,— махнув рукой, сказала бабушка,— теперь мне все равно.

Я тысячу раз писала и рассказывала ей о большо

маленьком Пете, о покойной Саше; Петя даже и бы у нас, когда я девушкой жила на 2-й Тверской-Ямской, так что бабушка была с ним знакома. Но она церемонно поздоровалась с ним, как будто увидала впервые. Маленького Петю она поцеловала с рассеянным видом, а о «научной няне» холодно заметила, что у нее «зверское выражение лица».

Не было ни малейших сомнений, что бабушка потрясена. Но чем? Это была загадка.

В мезонине — мы снимали две комнаты с «мезонином», который был как будто нарочно построен для бабушки; такой же маленький и сухонький, как она,— она прежде всего проверила шпингалеты на окнах и запирается ли двери на ключ.

— Ну ладно, бабка, мне это надоело,— сказала я решительно.— Вот я закрою двери, никто не услышит. И чтобы сейчас же рассказать, в чем дело.

Бабушка помолчала.

— И расскажу! Ишь напугала!

Она поспала, умылась и явилась к столу помолодевшая, нарядная, в платье с буфами и в кремовых ботинках с длиннейшими носами.

— Экономку взял,— сказала она без предисловий.— И говорит: «Не экономка, а секретарь. Это будет мне помощь». А она мне на плиту грязные туфли ставит. Вот тебе и помощь!

Грязные туфли на плиту поставила какая-то Алевтина Сергеевна. Это было очень интересно. Мы сидели в саду, бабушка гордо рассказывала, и пока еще трудно было понять, в чем дело. Я видела, что Пете до смерти хочется ее нарисовать, и погрозила ему, чтобы не смел. Саше я тоже погрозила: он едва удерживался от смеха. Серьезно слушал только маленький Петя.

— Если ты секретарь, зачем туфли совать, где я готовлю? Это я не позволю никогда. А может быть, я сегодня плиту затоплю?

— Ну?

— И затопила.

— Ну?

— И сгорели,— гордо сказала бабушка.— Не ставь.

Мы так и покатились со смеху.

Словом, экономка осталась без туфель, и это заставило Николая Антоныча пригласить к себе бабушку для серьезного разговора.

— «Я такой, я сякой!» — И бабушка надулась изобразила, как Николай Антоныч говорит о себе. А ты помолчи, если лучше всех. Пускай другие скажу Квартиру мне показал: «Нина Капитоновна, выб райте!»

Квартиру Николай Антоныч получил в новом до на улице Горького, и моей бедной бабке было предл жено выбрать любую комнату в этой великолепн квартире. Целый месяц он разъезжал по Москве выбирал мебель. Квартира на 2-й Тверской-Ямск должна была, по мысли Николая Антоныча, превр титься в «Музей капитана Татаринова». Очевид его мало смущало то обстоятельство, что капитан Та ринов никогда не переступал порога этой квартиры.

— А я поклонилась и говорю: «Покорно вас бл годарю. Я еще по чужим домам не жила».

Именно после этого разговора бабушке приш в голову мысль — удрать от Николая Антоныча и пер ехать к нам. Но как же она боялась его, если, вмес того чтобы просто сложиться и уехать, она преж всего помирилась с ним и даже постаралась распол жить к себе экономку. Она разработала сложнейш психологический план, основанный на отъезде Ни лая Антоныча в Болшево, в Дом отдыха ученых. Впе вые за двадцать лет она снялась с места и тай исчезла из Москвы, с зонтиком в одной руке и поло няным саквояжем — в другой...

...Саня всегда вставал в седьмом часу, и мы е до завтрака шли купаться. Так было и этим утро которое ничем, кажется, не отличалось от любого во кресного утра.

Конечно, ничем! Но почему же я так помню е Почему я вижу, точно это было вчера, как мы с Сане взявшись за руки, бежим вниз по косогору и он, бала сируя, скользит по осине, переброшенной через руче а я снимаю туфли, иду вброд и нога чувствует плотн складки песчаного дна? Почему я могу повторить ка дое слово нашего разговора? Почему мне кажется, ч я до сих пор чувствую сонную, туманную прелесть о ра, наискосок освещенного солнцем? Почему с нежн стью, от которой начинает щемить на душе, я вс минаю каждую незначительную подробность это утра — капельки воды на смугло-румяном Сани лице, на плечах, на груди и его мокрый хохолок на

тыке, когда он выходит из воды и садится рядом со ной, обняв руками колени?

Потому, что прошло каких-нибудь три-четыре часа, и все это — наше чудное купанье вдвоем, и сонное озеро с неподвижно отраженными берегами, и еще тысяча других мыслей, чувств, впечатлений,— все это вдруг ушло куда-то за тридевять земель и, как в перевернутом бинокле, представилось маленьким, незначительным и бесконечно далеким...

Глава третья
«ПОМНИ, ТЫ ВЕРИШЬ»

Если бы можно было остановить время, я бы сделала это в ту минуту, когда, бросившись в город и уже не найдя Саню, я зачем-то слезла с трамвая на Невском и остановилась перед первой сводкой Главного командования, вывешенной в огромном окне гастронома. Стоя перед самым окном, я прочитала сводку, потом обернулась, увидела серьезные, взволнованные лица, и странное чувство вдруг охватило меня: это чтение происходило уже в какой-то новой, неизвестной жизни. В неизвестной, загадочной жизни был этот вечер, первый теплый вечер за лето, и эти бледные, шагающие по тротуару люди, и то, что солнце еще не зашло, а над Адмиралтейством уже стояла луна. Первые в этой жизни слова были написаны жирными буквами во всю ширину окна, всё новые и новые люди подходили и читали их, и ничего нельзя было изменить, как бы страстно этого ни хотелось.

Розалия Наумовна передала мне Санину записку, и я все вынимала ее из сумочки и читала.

«Милый Пира-Полейкин,— было торопливо написано на голубоватом листке из его блокнота,— обнимаю тебя. Помни, ты веришь».

Когда мы жили в Крыму, у нас был пес Пират, который всегда ходил за мной, когда я поливала клумбы, и Саня смеялся и называл нас обоих сразу «Пира-Полейкин»... «Помни, ты веришь» — это были мои слова. И как-то сказала, что верю в его жизнь. У него было превосходное настроение, вот в чем дело! Мы не прощались, он уехал в одиннадцать, а в городе я его уже

не застала, но об этом он даже не упоминал в сво
записке, это было совершенно неважно.

Зачем-то я вернулась на дачу, провела там ночь, к
жется, не спала ни одной минуты, и все-таки спа
потому что вдруг проснулась растерянная, с бьющим
сердцем: «Война. Ничего нельзя было изменить».

Я встала и разбудила няню:

— Нужно укладываться, няня. Мы завтра едем.

— Семь пятниц на неделе! — сердито зевая, ска
ла няня.

Она сидела на кровати сонная, в длинной бел
кофте, и ворчала, а я ходила из угла в угол и не сл
шала ее, а потом распахнула окно, и там, в молодо
легком лесу, была такая тишина, такое счастье поко

Бабушка услышала наш разговор и позвала меня.

— Ну, Катя, что с тобой? — спросила она строго.

— Бабушка, мы не простились! Как это вышло, ч
мы не простились?

Она глядела на меня и целовала, потом украдк
перекрестила. «Хорошо, что не простились,— приме
хорошая: значит, скоро вернется»,— говорила она, а
чувствовала, что плачу и что я больше не могу, не мо
а что не могу, и сама не знаю...

Петя приехал вечерним поездом, озабоченный, ус
лый, но решительный, что было вовсе на него не похож

От него я впервые услышала о том, что детей буд
вывозить из Ленинграда. И так дико показалось м
что нужно уезжать с дачи, где было так хорошо, где м
с няней посадили цветы — левкои и табак, и перв
нежные ростки уже показались на клумбах. Везти м
ленького Петю в переполненном, грязном вагоне,
жару — весь июнь был холодный, а в эти дни начала
жара, духота,— и не только в Ленинград, куда-то ещ
другой, незнакомый город!

Петя сказал, что Союз художников отправляет дет
в Ярославскую область. Петеньку и Нину Капитонов
он уже записал. Насчет няни сложнее — придется хл
потать.

Очень быстро он уложил вещи, сбегал куда-то
подводой и отправился наверх, к бабушке, которая об
явила, что в Ярославскую область она не поедет. Не зна
о чем они говорили и почему именно к Ярославской
ласти у бабушки было такое отвращение, но через п
часа они спустились вниз, очень довольные друг д

гом, и бабушка сейчас же принялась пришивать к мешкам лямки и язвительно критиковать «научные» действия нации.

Все что-то делали, кроме меня; даже маленький Петя, который деловито укладывал в детский фанерный чемоданчик свои игрушки и старался открутить у паяца голову, потому что она не влезала в чемоданчик.

Усталая, разбитая, я сидела среди всего этого разгрома и беспорядка отъезда и в конце концов дождалась того, что Петя подошел ко мне и сказал ласково:

— Катя, голубчик, очнитесь!

...Не стану рассказывать о том, как мы вернулись в Ленинград, как Петя потащил меня в Союз художников и сказал кому-то, что я все могу, и как меня сейчас же посадили за бесконечные списки.

Детей приказано было отправлять без мам и нянек, и главная борьба шла вокруг этих мам и нянек, которых вычеркивали, и потом они каким-то образом снова оказывались в списках.

Должно быть, я неважно справлялась с этим делом, потому что маленькая свирепая художница вдруг отобрала у меня эти списки, и уж у нее-то, надо полагать, ни одна мама или няня не получила ни малейшего снисхождения. Наша няня была вычеркнута одной из первых.

Ярославскую область нужно было еще отстаивать в горсовете, так же как классные, а не товарные вагоны, так же как сотни других вещей, которые невозможно было предвидеть, потому что все, что происходило в эти дни, никогда не происходило прежде.

И мы ходили в горсовет и к ректору Академии художеств, чтобы он позвонил в горсовет, принимали вещи и продукты в дорогу, шили нарукавники с номерами, и как-то получилось, что я тоже стала одной из тех женщин, которые должны были все знать и к которым обращались другие.

Отъезд был назначен на 5 июля, потом на 6-е. Теперь кажется странным, что эти волнения и сборы, это горе предстоящей разлуки с детьми, каждый час подступавшие все ближе и наконец охватившие весь огромный, четырехмиллионный город, что все это продолжалось всего несколько дней.

...Состав запоздал, и дети долго стояли в зале ожидания между рядами взрослых — это было сделано, что-

бы родители не мешали посадке. Но ряды давно сбились, и матери, усталые, подурневшие, давно уже стояли подле своих детей. Было жарко, дети просили пить, нужно было уговаривать их потерпеть, и эта пыль и духота июльского дня тоже как-то участвовали в общем горе разлуки.

Наконец двинулись — сперва старшие школьники, потом младшие, потом совсем маленькие, шести- и семилетние дети. Они шли, взявшись за руки, бодро, но это было невозможно, невозможно видеть без слез, как они идут, такие маленькие и уже с мешками за спиной! Уезжают куда-то — куда? Еще дома я сразу расстраивалась, когда под руки попадался Петенькин заплечный мешок. Каждый двинулся за своим ребенком, и я двинулась вслед за Петенькой, который шел в паре с кругленькой, аккуратной девочкой. Как все, я остановилась в заторе у входных дверей — дальше родителей не пускали. Как все, я проводила его взглядом, прикусив губу, чтобы все-таки не заплакать, а потом побежала на багажную станцию, потому что привезли вещи и нужно было присматривать, чтобы детский багаж не спутали со взрослым.

Поезд должен был отойти в четыре часа и отошел совершенно точно. Петя прибежал в последнюю минуту — потом я узнала, что он ездил с ректором в Смольный. Сына подали ему через окно, он взял его на руки и немного постоял, прижав к лицу его черную головку. Бабушка стала нервничать, и тогда он торопливо поцеловал мальчика и поскорее передал обратно...

До сих пор я волнуюсь, вспоминая, как уезжали дети,— между прочим, еще потому, что не в силах рассказать об этом со всей полнотой. Казалось бы, так много пришлось пережить за годы войны, такие странные, необычайно сильные впечатления поразили душу и остались в ней навсегда, а все же эти дни стоят передо мной отдельно, как бы в стороне...

Глава четвертая
«НЕПРЕМЕННО УВИДИМСЯ, НО НЕ СКОРО»

От бабушки долго не было телеграммы, хотя в Худфонде говорили, что эшелон благополучно прибыл и что в Ярославле детей встретили с цветами. Но из Ярославля

они должны были ехать еще в какой-то Гнилой Яр, и мне почему-то казалось, что детям не может быть хорошо в селе с таким отвратительным названием. От Кирки я получила отчаянное письмо, она тоже куда-то эвакуировалась со всеми ребятами и мамой. Валя остался в Москве — это была их первая разлука,— и, к моему изумлению, она боялась не фашистских бомб, которые, разумеется, могли залететь и на Сивцев Вражек, а какой-то Жени Колпакчи, которая кокетничала с Валей. Письмо было размазанное: бедная Кирка плакала над ним, и я от души пожалела ее, хотя было совершенно ясно, что с войной она поглупела.

Саня — это было самое большое беспокойство, с мучительными снами, в которых я сердилась на него — на что? — и он слушал, нахмурясь, бледный и ужасно усталый...

В конторе бывшего кино «Элит» Розалия Наумовна устроила санитарный пост, и оборонная тройка райсовета предложила мне работать сестрой, потому что Розалия Наумовна сказала, что у меня «большой опыт ухода за больными».

— Имейте в виду, товарищ Татаринова-Григорьева,— сказал мне по секрету седой добродушный доктор, член оборонной тройки,— что, если вы откажетесь, мы немедленно отправим вас на строительство укреплений...

Работать на укреплениях, или «на окопах», как говорили в Ленинграде, было, разумеется, тяжелей, чем сестрой. Но я поблагодарила и отказалась.

Мы поехали под вечер и всю ночь рыли противотанковые рвы за Средней Рогаткой. Грунт попался глинистый, твердый, и нужно было сперва дробить его киркой, а уж тогда пускать в ход лопату. Я попала в бригаду одного из ленинградских издательств, уже показавшую высокий класс по «рытью могилы для Гитлера», как шутили вокруг. Это были почти исключительно женщины: машинистки, корректоры, редакторы, и я удивилась, что многие из них почему-то были прекрасно одеты. У одной черненькой хорошенькой редакторши я спросила, почему она приехала на рытье окопов в таком нарядном платье, и она засмеялась и сказала, что у нее «просто нет ничего другого». Меня всегда интересовал этот круг людей совсем другого мира — мира театра, литературы, искусства. Но, очевидно, не до искусства было этим красивым, интелли-

гентным девушкам, дробившим кирками твердую как камень темно-красную глину, и даже когда заходил разговор о чем-нибудь в этом роде — о последней театральной премьере или о том, что художнику Р. не следовало браться за оформление «Сильвы»,— за всем этим мучительно неотвратимо стояла война, о которой забыть было невозможно.

Я оказалась в паре с черненькой редакторшей, и она сказала, что вчера отправились на фронт ее муж и два брата. О младшем она очень беспокоилась — он слабый, еще совсем мальчик, и муж очень отговаривал его, но ничего нельзя было сделать. Я рассказала ей о Сане, и некоторое время мы работали молча — в глубине окопа ставили носилки на землю, другие девушки наваливали на носилки глину, мы тащили ее наверх и опрокидывали на отвесной стороне окопа. Я не сказала ей, что с первого дня войны у меня не было известий о Сане. Накануне я звонила матери одного летчика из его отряда, и она сказала, что получила письмо из Рыбинска. Быть может, и Саня в Рыбинске? Должно быть, там формируется летная часть. Но с равным основанием я могла назвать и другой город в Советском Союзе. Больше я не должна была знать, где он и что с ним. Если он умрет, я не буду знать, когда и как это случилось. Быть может, в этот час я буду в театре, или буду спать, ничего не чувствуя, или буду разговаривать с кем-нибудь и смеяться, как сейчас, когда бригадир посоветовал нам работать машинально, то есть думая о чем-нибудь другом, и мы с черненькой редакторшей посмотрели друг на друга и рассмеялись. Это был превосходный совет.

Ночь переломилась незаметно: в сером, неопределенно-рассеянном свете, неподвижно стоявшем между небом и землей, вдруг проглянуло что-то утреннее, свежее, точно самый ветерок, пробежавший по полю и тронувший кусты, которыми были замаскированы зенитки, был другого, утреннего света. Вдали, над городом, поднялись и скрылись в лучах еще невидимого солнца серебристые, похожие на огромных добродушных рыб аэростаты воздушного заграждения.

Все немного побледнели к утру, одной девушке стало дурно, но все-таки наша бригада закончила свой «урок» раньше других. Хотелось пить, и моя новая подруга потащила меня в очередь за квасом. Палатки были разбиты возле старенькой, заброшенной церкви; мы стали

в очередь, и редакторша вдруг предложила мне забраться на колокольню.

Это было глупо: у меня ныла спина, и вообще я очень устала, но я так же неожиданно согласилась.

По воткнутым в землю носилкам, на которых висела стенгазета, я отыскала наш участок; к нему уже подходили новые люди. Неужто мы сделали так мало? Но он переходил в другой, другой — в третий, и так далеко, как достигал взгляд, женщины дробили глину в глубоких, трехметровых рвах, выбрасывали лопатами, вывозили на тачках... Среди них не было ни одной, которая не рассмеялась бы от души, если бы месяц тому назад ей сказали, что, бросив дом, свою работу, она ночью поедет за город в пустое поле и будет рыться в земле и строить рвы, бастионы, траншеи... Но они поехали, и вот почти уже закончены эти гигантские пояса, охватывающие город и обрывающиеся лишь у дорог, на которых стоят скрещенные рельсы.

В полдень я вернулась домой и у подъезда встретила взволнованную Розалию Наумовну, которая объявила, что только что видела, как на Невском задержали шпиона.

— Такой толстый, с усами — типичная шпионская рожа! Тьфу! — И она плюнула с отвращением.— И какое счастье, что со мной не было Берты! Она сошла бы с ума!

Берта была очень пуглива.

На площадке второго этажа мы остановились, потому что Розалия Наумовна стала изображать, как это случилось. В это время какой-то военный, спускавшийся по лестнице, громко стуча сапогами, не дойдя до нас, перегнулся через перила, посмотрел вниз, и я узнала Лури.

Лури был штурман, Санин товарищ. Они вместе работали на Севере, потом расстались. И где бы Саня ни служил, он всегда говорил, что ему не хватает Лури. «Шурку бы сюда!» — писал он мне из Испании. Время от времени Лури появлялся у нас — веселый, хвастливый, с бородой, которая делала его похожим на иностранца.

— Катерина Ивановна! — Он лихо откозырял мне.— Стучал, звонил, потерял надежду и бросил письмо в ящик.

— От Сани?

— Так точно.

И так же лихо Лури откозырял Розалии Наумовне.

Он сказал, что у него к, сожалению, ровно пятнадцать минут, и я не стала читать при нем Санино письмо, только взглянула, и одна фраза в конце прочлась сама собой: «Непременно увидимся, но не скоро».

— Откуда вы? Вы в армии? В Ленинграде? Где Саня?

Лури был в армии и в Ленинграде. На эти два вопроса ему нетрудно было ответить. Но я еще раз настойчиво спросила:

— Где Саня?

И, немного подумав, он неопределенно ответил:

— В полку.

— Вы не хотите сказать, да? Но он здоров?

— Как штык,— смеясь, сказал Лури.

Розалия Наумовна побежала ставить кофе, хотя Лури повторил и даже «поклялся честью, что у него ровно пятнадцать минут». Мы остались одни, и я выудила у него, что где-то, неизвестно где, организуется полк особого назначения, что в основном летный состав ГВФ, по полторы — две тысячи часов налета, и что сейчас все переучиваются на новых машинах.

Что-то очень холодное медленно вошло в сердце, когда я услышала эти слова: «полк особого назначения», но я не стала расспрашивать, что это такое,— все равно Лури не ответил бы. Я только спросила, долго ли Саня будет переучиваться, и Лури, снова подумав, отвечал, что недолго. На все он отвечал помолчав, подумав, и тревога сквозила за его беспечным тоном.

Я написала Сане несколько слов, и Лури ушел, столкнувшись на пороге с Розалией Наумовной и пообещав еще раз зайти, «если это будет возможно». Мы еще несколько минут постояли у открытой двери и, прощаясь, вдруг обнялись, крепко расцеловались...

Письмо было грустное, хотя о том, что оно грустное, только я одна могла догадаться.

Саня спрашивал о Пете, большом и маленьком, и советовал немедленно увезти мальчика из Ленинграда,

«Хорошо бы в Энск, к старикам!» Но тут же он беспокоился о судье и тете Даше, и можно было понять из одной осторожной фразы, что Энск бомбили, хотя он был еще очень далеко от линии фронта. Словом, Саня

знал что-то плохое, вот откуда это «непременно увидимся, но не скоро».

Да, не скоро. Я расхаживала, стараясь ступать только на темные квадратики паркета, и, когда я шла к окну, темные были одни, а когда назад — другие.

Полк особого назначения — «ну что ж, и нечего ходить»,— это было сказано сердцу, с которым снова что-то сделалось, когда я вслух повторила эти слова. «Он был в Испании и вернулся. Нужно только почаще писать ему, что я верю».

Вот когда я почувствовала, что смертельно устала. Я легла, закрыла глаза, и сразу же поехало: девушки, поднимающие носилки с тяжелой, твердой глиной; тачки, медленно сползающие по доскам; солнце, поблескивающее на темно-красных срезах окопа.

Потом откуда-то появился свет, неяркий, медленный после белой ночи, все стало бледнеть, уходить, и я почувствовала, что засыпаю. Все было хорошо, очень хорошо, только хотелось, чтобы не было этого унылого долгого стона или песни, которую кто-то завел за спиной...

— Катя, тревога!

Розалия Наумовна трясла меня за плечо:

— Вставайте, тревога!

...В конце июля я встретила на Невском Варю Трофимову — жену одного летчика, Героя Советского Союза, с которым Саня служил в «авиации спецприменения». Когда-то мы с этой Варей ездили к мужьям в Саратов, и еще тогда я, помнится, удивилась, узнав, что она зубной врач.

Это была высокая, румяная женщина, сильная, с решительной походкой. Чем-то она напоминала мне Кирку, особенно когда громко смеялась, показывая длинные, красивые зубы.

— А Гриша-то мой,—вздохнув, сказала она,— Берлин бомбит. Читали?

Мы разговорились, и она предложила мне работать в стоматологической клинике Военно-медицинской академии.

Я задумалась, и Варя сразу же сказала, что «прежде нужно посмотреть, что это такое», а то она порекомендовала одну дамочку, а та «поработала два дня и ушла, потому что ей, видите ли, не понравился запах».

«Дамочек» Варя ненавидела — это я тоже помнила еще со времен саратовской поездки.

Нужно сказать, что запах действительно был невозможный, и я почувствовала это, едва войдя в коридор, по обеим сторонам которого были расположены палаты. Запах был такой, что меня сразу стало тошнить, и тошнило все время, пока Варя Трофимова знакомила меня с другими сестрами, с рентгенологом, с женой главного врача и с кем-то еще и еще...

Здесь лежали люди, раненные в лицо. Только что я пришла, как привезли юношу, у которого все лицо было сорвано миной...

И, ухаживая за этими людьми, нужно было все время как бы уверять их, что это ничего не значит, что не беда, если останется рубец, что нужно только потерпеть и почти ничего не будет заметно. Мне случалось потом работать в клинике полевой хирургии, и там не было этой тайной, но сквозящей за каждым словом боязни уродства, этого ужаса, с которым человек бросал первый взгляд на свое обезображенное лицо, этого бесконечного стояния перед зеркалом накануне выписки, этих беспомощных попыток приукрасить себя, прихорошиться...

Впрочем, нужно сказать, что иногда мы вовсе не кривили душой, уверяя, что «ничего не будет заметно». Я прежде никогда не думала, что можно, например, сделать новый нос или пересадить на лицо кусок кожи. Сколько раз случалось, что на первых перевязках страшно было взглянуть на раненого, а через два-три месяца он возвращался в свою часть с едва заметными следами ран, которые должны были, казалось, обезобразить его навсегда.

Петина часть стояла на Университетской набережной. Сразу же после отъезда детей он записался в народное ополчение. В свободное время я забегала к нему; мы сидели на бревнах, сваленных у парапета, или прохаживались от Филологического института до Сфинксов. Другие памятники были уже сняты или завалены мешками с песком, а Сфинксы почему-то еще лежали, как прежде, в далекие мирные времена. Бесстрастно уставясь на всю эту скучную человеческую возню, лежали они на берегу Невы, и у них были широко открытые глаза и высокомерные лапы. У Пети становилось доброе, хитрое лицо, когда он смотрел на Сфинксов.

— Сделать такую лапу — и умереть,— как-то сказал он мне и стал длинно, интересно рассказывать, почему это гениальная лапа.

Мы с Розалией Наумовной перечинили ему все белье, но он ничего не взял, хотя белье, которое он получил в батальоне, было гораздо хуже. Вообще он очень старался поскорее стать настоящим солдатом.

Глава пятая
БРАТ

Накануне я была у него, и он ничего не сказал — очевидно, приказ был получен ночью. Я дежурила. Розалия Наумовна вызвала меня и сказала, что Петя звонил домой, просил зайти; если можно — немедленно, но, во всяком случае, не позже полудня. Мое дежурство кончалось только в полдень, но я отпросилась. Варя Трофимова заменила меня, и еще не было десяти часов, как я уже была у Филологического института. Знакомый боец из Петиного батальона мелькнул в окне, я окликнула его.

— Сковородникова? Сейчас сообразим...

Петя торопливо вышел из ворот, мы поздоровались и пошли по набережной, к Сфинксам.

— Катя, мы сегодня уходим,— сказал он.— Я очень рад.

Он замолчал. Он был взволнован.

— Никто не думал. Мы должны были на днях отправиться в учебный поход. Но, очевидно, положение изменилось.

Я кивнула. Раненые в последнее время поступали из-под Луги — нетрудно было догадаться о том, что положение изменилось.

— Я написал письма,— продолжал он и стал рыться в сумке.— И хотел просить вас... Вот это не нужно посылать.

Он достал конверт, незаклеенный, ненадписанный, и протянул его мне:

— Это — Петьке. Вы ему отдадите, если меня...

Он хотел сказать «убьют», даже губы сложил, и вдруг улыбнулся по-детски.

— Понятно, не сейчас отдадите, а так — лет через десять.

— Саня никогда не стал бы писать таких писем.

— У него нет сына.

Должно быть, у меня немного дрогнуло лицо, потому что он испугался — подумал, что обидел меня... Мы остановились, и он крепко взял меня за руку:

— Что же Саня? Где он?

— Не знаю.

— Я писал ему на ППС, но не получил ответа. Все равно — он жив, и с ним ничего не случится.

— Почему?

Он помолчал.

— Я верю, что не случится. Помните, он говорил: «Небо меня не подведет. Вот за землю я не ручаюсь».

И правда, Саня так говорил. Но это было давно, а теперь, во время войны, как-то пусто прозвучали эти слова.

— А это отцу.— Петя достал из сумки второе письмо.— Если он жив. Видите, всё такие письма, что никак не пошлешь почтой,— добавил он горько.— Работы мои возьмут в Русский музей. Я уже сговорился.

Я даже руками всплеснула.

— Да нет, это просто так,— поспешно сказал Петя,— не потому, что могут убить, а вообще. И Косточкин сделал то же, и Лифшиц, и Назаров.

Это были художники.

— Мало ли что может случиться... Да не со мной же, господи,— добавил он уже нетерпеливо.— Или вы думаете, что Москву бомбят, а Ленинград так и не тронут?

Я этого не думала. Но он так распорядился всеми своими делами, как будто в глубине души и не надеялся на возвращение.

— Нам еще кажется, что мы — одно, а война — другое,— задумчиво сказал он.— А на самом деле...

В конце концов он стал совать мне свои часы, но тут уж я возмутилась и стала так ругать его, что он засмеялся и положил часы обратно.

— Чудачка, мне же выдали новые, с компасом,— сказал он.— Младший лейтенант,— пожалуйста, не шутите!

Мы дошли до Сфинксов и, как всегда, остановились у того места, где почему-то был снят парапет и кусок сломанных перил болтался на талях. Вздохнув, Петя уставился на Сфинксов — прощался? Длинный, подняв

голову, стоял он, и что-то орлиное было в этом худом профиле с прикрытыми, рассеянными глазами. «Плевал он на эту смерть»,— как рассказывал мне потом через много дней, командир его батальона. Как ни странно, но именно в этот день, прощаясь с Петей у Сфинксов, я почувствовала эту гордость, это презрение.

Он знал, что я всегда считала Петеньку за сына. Но, наверно, нужно было еще раз сказать ему об этом. Расставаясь, непременно нужно говорить все — уж кому-кому, а мне-то пора было этому научиться! Но я почему-то не сказала и, вернувшись домой, пожалела об этом.

Он снова взял меня за руки, поцеловал руки; мы крепко обнялись, и он чуть слышно сказал:

— Сестра...

Я проводила его до института и пешком пошла на Петроградскую, хотя чувствовала усталость после бессонной ночи.

Жарко было — свежий асфальт у Ростральных колонн плавился и оседал под ногами. Легкий запах смолы доносился от барок, стоявших за Биржевым мостом. И Нева, великолепная, просторная, не шла, а шествовала, раскинувшись на две такие же великолепные просторные Невы именно там, где это было прекрасно. И странно, дико было подумать о том, что в какой-нибудь сотне километров отсюда немецкие солдаты, облизываясь потом, со звериной энергией рвутся к этим зданиям, к этому праздничному летнему сиянию Невы, к этому новому, молодому скверу между Биржевым и Дворцовым мостами.

Но пока еще тихо, спокойно было вокруг, в сквере играли дети, и старый сторож с металлическим прутиком в руке шел по дорожке, останавливаясь время от времени, чтобы наколоть на прутик бумажку.

Глава шестая
ТЕПЕРЬ МЫ РАВНЫ

Как прежде я помнила по числам все наши встречи с Саней, так теперь я запомнила, и, кажется, навсегда, те дни, когда получала от него письма. Второе письмо, если не считать записочки, в которой он называл меня «Пира-Полейкин», я получила 7 августа — день, который потом

как-то участвовал в тех мучительных снах, за которые я даже сердилась на себя, как будто за сны можно сердиться.

Я ночевала дома, не в госпитале, и рано утром пошла разыскивать Розалию Наумовну, потому что квартира оставалась пустая. Я нашла ее во дворе: трое мальчиков стояли перед ней, и она учила их разводить краску.

— Слишком густо так же плохо, как и слишком жидко,— говорила она.— Где доска? Воробьев, не чешись. Попробуйте на доске. Не все сразу.

По инерции она и со мной заговорила деловым тоном:

— Противопожарное мероприятие: окраска чердаков и других деревянных верхних частей строений. Огнеупорный состав. Учу детей красить.

— Розалия Наумовна,— спросила я робко,— вы еще не скоро вернетесь домой? Мне должны позвонить.

Я ждала звонка из Русского музея. Петины работы давно были упакованы, но за ними почему-то не присылали.

— Через час. Пойду с детьми на чердак, задам каждому урок и буду свободна. Катя, да что же это я! — сказала она живо и всплеснула руками.— Вам же письмо, письмо! У меня руки в краске, тащите!

Я залезла к ней в карман и вытащила письмо от Сани...

Как всегда, я сначала пробежала письмо, чтобы поскорее узнать, что с Саней ничего не случилось, потом стала читать еще раз, уже медленно, каждое слово.

«Помнишь ли ты Гришу Трофимова? — писал он уже в конце, прощаясь.— Когда-то мы вместе с ним распыляли над озерами парижскую зелень. Вчера мы его похоронили».

Я плохо помнила Гришу Трофимова — он сразу же куда-то улетел, едва я приехала в Саратов, и я вовсе не знала, что он служит в одном полку с Саней. Но Варя, несчастная Варя мигом представилась мне — и письмо выпало из рук, листочки разлетелись.

...Пора было ехать в госпиталь, но я зачем-то побрела домой, совсем забыв, что отдала Розалии Наумовне ключ от квартиры. На лестнице меня встретила «научная няня» и сразу стала жаловаться, что никак не может устроиться: никто не берет, потому что «не хватает питания», и что одна домработница поступила в Трест

зеленых насаждений, а ей уже не под силу. Я слушала ее и думала: «Варя, бедная Варя».

Уже приехав в госпиталь и не зайдя в «стоматологию», где она могла увидеть меня, я снова перечла письмо и вдруг подумала о том, что Саня прежде никогда не писал мне таких писем. Я вспомнила, как однажды в Крыму он вернулся бледный, усталый и сказал, что от духоты у него весь день ломит затылок. А наутро жена штурмана сказала мне, что самолет загорелся в воздухе и они сели с бомбами на горящем самолете. Я побежала к Сане, и он сказал мне, смеясь:

— Это тебе приснилось.

Саня, который всегда так оберегал меня, который сознательно не хотел делить со мной все опасности своей профессиональной жизни, вдруг написал — и так подробно — о гибели товарища. Он описал даже могилу Трофимова.

«В середине мы положили неразорвавшиеся снаряды, потом крупные стабилизаторы, как цветы, потом поменьше, и получилась как бы клумба с железными цветами».

«Теперь мы равны» — вот как я поняла его письмо, хотя об этом не было сказано ни слова. «Ты должна быть готова ко всему — я больше ничего от тебя не скрываю».

Шкаф с халатами стоял в «стоматологии», я поскорее надела халат, вышла на площадку — госпиталь был через площадку — и, немного не дойдя до своей палаты, услышала Варин голос.

— Нужно сделать самой, если больной еще не умеет! — сердито сказала она.

Она выговаривала сестре за то, что та не промыла больному рот перекисью водорода, и у нее был тот же обыкновенный, решительный голос, как вчера и третьего дня, и та же энергичная, немного мужская манера выходить из палаты, еще договаривая какие-то распоряжения. Я взглянула на нее: та же, та же Варя! Она ничего не знала.

Должна ли я сказать ей о гибели мужа? Или просто в несчастный день придет к ней «похоронная» — «погиб в боях за Родину»,— как приходит она к сотням и тысячам женщин, и сперва не поймет, откажется душа, а потом забьется, как птица в неволе,— никуда не уйти, не спрятаться. Принимай — твое горе!

Не поднимая глаз, проходила я мимо кабинета, в котором работала Варя, как будто я была виновата перед ней, а в чем — и сама не знала.

День тянулся бесконечно, раненые все прибывали, пока наконец в палатах не осталось мест, и старшая сестра послала меня к главврачу спросить, можно ли поставить несколько коек в коридоре.

Я постучалась в кабинет, сперва тихо, потом погромче. Никто не отвечал. Я приоткрыла дверь и увидела Варю.

Главврача не было. Должно быть, она ждала его, стоя у окна, немного сутулясь, и крепко, монотонно выбивала пальцами дробь по стеклу.

Она не обернулась, не слышала, как я вошла, не видела, что я стою на пороге. Осторожно она сделала шаг вдоль окна и несколько раз сильно ударила головой об стену.

Впервые в жизни я увидела, как бьются головой о стену. Она билась не лбом, а как-то сбоку, наверно, чтобы было больнее, и не плакала, с неподвижным выражением, точно это было какое-то дело. Волосы вздрагивали — и вдруг она прижалась лицом к стене, раскинула руки...

Она знала. Весь этот трудный, утомительный день, когда больных некуда было класть и все нервничали, волновались, она одна работала так, как будто ничего не случилось. В первой палате она учила разговаривать одного несчастного парня, лежавшего с высунутым языком,— и знала. Она долго скучным голосом отделывала повара за то, что картофель был плохо протерт и застревал в трубках,— и знала. То в одной, то в другой палате слышался ее сердитый, уверенный голос — и ни один человек в мире не мог бы догадаться о том, что она знала.

Глава седьмая

«ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ ТАТАРИНОВОЙ-ГРИГОРЬЕВОЙ»

Все чаще я оставалась в госпитале на ночь, потом на двое-трое суток и наконец стала приходить домой, только когда Розалия Наумовна просила меня об этом.

— Что-то мне стало скучно без вас, Катя,— говорила она.

Это означало, что она снова не знает, что делать с Бертой, которая становилась все более пугливой и молчаливой и уже не ходила по очередям, а целые дни лежала на диване и, главное, почти перестала есть.

Плохи были ее дела, и я советовала Розалии Наумовне немедленно увезти ее из Ленинграда. Но Розалия Наумовна боялась отпустить ее одну, а сама об отъезде не хотела и слышать.

...Тихо было в квартире и пусто; тонкие полоски света лежали на мебели, на полу; солнце сквозило через щели прикрытых ставен. Я подсела к Берте, задумалась, потом очнулась от беспокойных мыслей, которые точно за руку увели меня из этой комнаты, где стояла мебель в чехлах и худенькая старушка в чистой ночной кофточке сидела и с детским вниманием вырезала бумажные салфетки — за последнее время это стало ее любимым занятием.

— Вот так возьмешь да и сойдешь с ума...

Должно быть, я сказала это вслух, потому что Берта на мгновение оторвалась от своих салфеток и рассеянно посмотрела на меня.

— Там вас ждут, Катя,— сказала она помолчав.

— Кто ждет?

— Не знаю.

Я побежала к себе. Совершенно незнакомый старый человек спал в моей комнате, сложив на животе руки.

— Он сказал, что знает меня? — спросила я, выйдя на цыпочках и вернувшись к Берте.

— Роза говорила с ним. А что?

— Да ничего, просто я вижу этого человека первый раз в жизни.

— Что вы говорите? — с ужасом спросила Берта.— Он же сказал, что знакомый!

Я успокоила ее. Но никогда у меня не было такого почтенного знакомого, длинного, бородатого, с полосками от очков на носу. Мне стало смешно. Вот так штука! Это был моряк — китель и противогаз висели на стуле.

Наконец он проснулся. Длинно зевнув, он сел и, как все близорукие люди, пошарил вокруг себя — должно быть, искал очки. Я кашлянула. Он вскочил:

— Катерина Ивановна?

— Да.

— В общем, Катя,— добродушно сказал он.— А я вот пришел и уснул, как это ни странно.

Я смотрела на него во все глаза.

— Вам, конечно, трудно меня узнать. Но зато с вашим Саней мы знакомы... сколько давай бог?..— Он считал в уме.— Двадцать пять лет. Господи ты мой! Двадцать пять лет, не больше и не меньше.

— Иван Иваныч?

— Он самый.

Это был доктор Иван Иваныч, о котором я тысячу раз слышала от Сани. Он научил Саню говорить, и я даже помнила эти первые смешные слова: «Абрам, кура, ящик». Он летал с Саней в Ванокан, и, если бы не его удивительная энергия, плохо было бы дело, когда трое суток Сане пришлось «пурговать» без малейшей надежды на помощь! Мне всегда казалось, что в том восторге, с которым Саня говорил о нем, было что-то детское, сказочное. И действительно, он был похож на доктора Айболита, со своим румяным, морщинистым лицом, с толстым носом, на котором задорно сидели очки, с большими руками, которыми он смешно размахивал, когда говорил, точно бросая вам в лицо какие-то вещи.

— А я-то ломала голову, какой же знакомый!.. Доктор, но откуда же вы? Вы же были где-то далеко?

— Нет, недалеко. На шестьдесят девятой параллели.

— Вы моряк?

— Я моряк, красивый сам собою,— сказал доктор.— Все расскажу. Один стакан чаю!

Он поцеловал меня, и я побежала ставить чай. Потом вернулась и сказала, что Саня до сих пор возит с собой стетоскоп, который доктор когда-то забыл в занесенной снегом избушке в глухой деревне под Энском.

Он засмеялся, и через несколько минут мы сидели и разговаривали, как будто тысячу лет знакомы. Так оно и было — хотя не тысячу, но очень давно, с тех пор как я впервые услышала о нем от Сани.

Доктор служил на флоте совсем недавно, с начала войны. Он сам попросился, хотя Ненецкий национальный округ протестовал и какой-то Ледков говорил с ним целую ночь — все убеждал остаться. Но доктор настоял. Его сын Володя был в армии на Ленинградском фронте, и доктор считал, что надо воевать, а не сидеть у черта на куличках. Он был назначен в Полярное, на базу подводного флота. Полярное — это не Заполярье. Это военный городок на Кольском заливе, в двух тысячах километров от Заполярья. Морские летчики в Полярном сказали ему, что Саня в АДД (авиация дальнего действия), что он летал на Кенигсберг и что один из полков АДД, по слухам, вскоре прилетит на Север.

— Как на Кенигсберг? Я ничего не знаю.

— Здрасти! — сердито сказал доктор.— А кто должен знать, голубчик, если не вы?

— Откуда? Ведь Саня об этом не напишет.

— Положим,— согласился доктор.— Все равно надо знать, надо знать.

Я принесла чай, он залпом выпил стакан и сказал: «недурственно».

— Сейчас на фронтах тяжело,— сказал он.— Я видел Володю, и он тоже говорил, что тяжело. Именно здесь, под Ленинградом... Позвольте, но я же привез вам письмо!

— От кого?

— От старого друга,— загадочно сказал доктор и стал искать противогаз, который висел у него под носом: очевидно, письмо было в противогазе.— Служит с Володей в одной части. Именно он сказал мне, что вы в Ленинграде. Уезжая, просил передать вам письмо.

Почерк был ясный, острый и незнакомый. Нет, знакомый. С изумлением я смотрела на конверт. Письмо было от Ромашова.

— Ну, что? — торжественно спросил доктор.— Узнала?

— Узнала.— Я бросила письмо на стол.— Вы с ним знакомы?

— Познакомились у Володи. Превосходный человек. Заведует хозяйством. И Володя говорит, что он без него как без рук. Очень милый. К сожалению, уехал.

Я что-то пробурчала.

— Да, очень милый,— продолжал доктор.— Пьет, правда. Но кто не пьет?..

— Интересно, откуда он знает, что я в Ленинграде?

— Разве он у вас не был?

Я промолчала.

— Да-с,— поглядев на меня поверх очков, сказал доктор.— Я полагал, что именно друг. Он, например, рассказал мне всю вашу жизнь, особенно последние годы, о которых я знал очень мало.

— Это страшный человек, доктор.

— Ну да!

— И вообще, ну его к черту!.. Еще чаю?

Доктор выпил второй стакан, тоже залпом, потом стал угощать меня концентратом — шоколад с какао.

— Очень странно,— задумчиво сказал он.— И что же, не станете читать письмо?

— Нет, прочитаю.

Я разорвала конверт. «Катя, немедленно уезжайте из Ленинграда,— было написано крупно, торопливо.— Умоляю Вас. Нельзя терять ни минуты. Я знаю больше, чем могу написать. Да хранит Вас моя любовь, дорогая Катя! Вот видите, какие слова. Разве я посмел бы написать их, если бы не сходил с ума, что Вы останетесь одна в Ленинграде? До Тихвина можно доехать на машине. Но лучше поездом, если они еще ходят. Не знаю, боже мой! Не знаю, увижу ли я Вас, моя дорогая, счастье мое и жизнь...»

Глава восьмая
ЭТО СДЕЛАЛ ДОКТОР

Каждый вечер мы собирались на Петроградской. Как-то я пригласила Варю Трофимову, и с доктором она впервые заговорила о муже. Он что-то спросил, она ответила, и сразу стало видно, как важно для нее — говорить о муже — и как трудно скрывать свое горе. На другой день она принесла его письма и фото, мы вспомнили саратовскую поездку, даже всплакнули — это было так давно, и мы были тогда такие девчонки! У нее были спокойные, грустные глаза, когда я ее провожала. Ей стало легче жить.

Это сделал доктор.

За ту неделю, что он провел у нас, положение на Ленинградском фронте ухудшилось, немцы подтянули свежие силы, тревоги начинались с утра. Я плохо спала — волновалась за Саню. Однажды, когда я только что легла не раздеваясь, доктор постучал, вошел и в темноте сунул мне в руку маленького медвежонка.

— Работа Панкова,— сказал он.— Отличный ненецкий мастер. На память. От имени доктора Ивана Иваныча этот белый медведь будет говорить вам, что Саня вернется.

Конечно, это была просто ерунда, но теперь, когда тоска добиралась до сердца, я вынимала из сумки медвежонка, смотрела на него и мне становилось веселей.

По утрам доктор пел или бормотал стихи, комические, должно быть собственного сочинения; потом долго мылся в ванной и уверял, что между его мытьем и немецкими налетами существует таинственная связь: стоит ему залезть в ванну, как немедленно начинается тревога. Так и было несколько раз. К столу он приходил с мокрой, симпатичной бородкой и первым делом бросал мне стул, который я должна была поймать за ножки и бросить обратно. У него были какие-то веселые странности. Он любил удивлять.

Да, это была отличная неделя, которую доктор провел у меня! Это было так, как будто в грозе и буре вдруг послышался спокойный человеческий голос.

Но вот пришел день, когда он сложил свой мешок и связал книги, которые купил в Ленинграде.

Я поехала провожать его...

Кажется, никогда еще на Невском не было так много народу. Беспокойно оглядываясь на усталых, запыленных детей, женщины везли на садовых тележках узлы, сундуки, корыта... Негородские, загорелые старики, сгорбясь, шагали по тротуарам навстречу движению. Это были колпинцы, детскоселы... Пригороды входили в город!

Добрых два часа мы добирались до Московского вокзала. Я не позволила доктору тащить через площадь его мешок, потащила сама и остановилась на углу Старо-Невского, чтобы взяться удобнее. Иван Иваныч прошел вперед. Широкий подъезд был совершенно пуст,— это показалось мне странным.

«Наверно, теперь садятся с Лиговки»,— подумала я.

Удивительно, как запомнилась мне эта минута: площадь Восстания, залитая солнцем; длинный доктор в морской шинели, поднимающийся по ступеням; тень, которая сломилась на ступенях, поднимавшаяся за ним; тревожная пустота у главного входа.

Дверь была закрыта. Доктор постучал. Полная женщина в железнодорожной фуражке выглянула и сказала ему — не знаю что — два слова. Он постоял, потом медленно вернулся ко мне. У него было строгое лицо.

— Ну-ка, давайте сюда мешок, Катя,— сказал он,— и айда домой. Последняя дорога перерезана. Поезда больше не ходят...

Доктор улетел через несколько дней.

Глава девятая
А ЖИЗНЬ ИДЕТ

Деревянные щиты перед окнами магазинов уже постарели, потрескались; в садах и парках давно заросли травой щели и траншеи; в квартирах с утра был полумрак, потому что тревога объявлялась много раз в день и не имело смысла все время открывать и закрывать ставни. «Окопы», на которые я ездила в июле, давно превратились в сильные укрепления с дзотами, стальные каркасы для которых отливались на заводах.

А писем все не было — все чаще приходилось мне вынимать из сумки белого медвежонка. Писем не было — напрасно искала я Саню среди летчиков, награжденных за полеты в Берлин, Кенигсберг, Плоешти.

Но я работала, «набирая скорость», как на поезде, который мчится вперед не разбирая сигнальных огней,— только свистит ветер осенней ночи!

И вот пришел день, когда поезд промчался мимо, а я одна осталась лежать под насыпью, одинокая, разбитая, умирающая от горя.

Еще в детстве мне почему-то было стыдно рассказывать сны. Как будто я сама раскрывала заветную тайну, рассказывая то, что было известно мне одной в целом свете. Но этот сон я все-таки должна рассказать.

Я уснула в госпитале после дежурства, на десять минут, и мне приснилось, что я сижу у окна и занимаюсь испанским. Так и было, когда мы жили в Крыму; Саня сердился, что я забросила языки, и я стала снова заниматься испанским. Но разве Крым за окном? Словно в раю, клонится вниз тяжелая ветка сливы с матовыми синими плодами, прозрачные желтые персики светятся, тают на солнце, и всюду — цветы и цветы: табак, левкои, розы. Тишина — и вдруг оглушительный птичий крик, взмахи крыльев, волнение! Я бросаю книгу — и в сад, через стол, через окно. И что же? Коршун или ворон, не

знаю — большая птица с горбатым клювом сидит на платане, раскинув острые крылья. И эта птица держит в клюве другую, маленькую, кажется соколенка. Она держит соколенка за ноги, и тот уже не кричит, только смотрит, смотрит на меня человеческими глазами. У меня сердце падает, я кричу, ищу что-нибудь, палку, а коршун поднимается медленно и летит. Голова его повернута в сторону от меня. Летит, раскинув, распластав неподвижные крылья.

— Вот, Лукерья Ильинишна, объясните сон,— сказала я нашей канцеляристке, пожилой, старомодной и чем-то всегда напоминавшей мне тетю Дашу.

— Ваш муж прилетит.

— Почему же? Ведь улетел коршун и птичку унес?

Она подумала:

— Все равно прилетит.

Весь день я была под впечатлением этого страшного, глупого сна, а вечером уговорила Варю поехать ко мне ночевать.

Тревоги начались, как обычно, в половине восьмого. Первую мы пересидели, хотя Розалия Наумовна звонила по телефону и от имени группы самозащиты приказывала спуститься. Вторую тоже пересидели. В бомбоубежищах на меня всегда находила тоска, и я давно решила, что, если мне «не повезет», пускай это случится на свежем воздухе, под ленинградским небом. Кроме того, мы жарили кофе — важное дело, потому что это было не только кофе, но и лепешки, если к гуще прибавить немного муки.

Но началась третья тревога, бомбы упали близко, дом качнулся, точно сделал шаг вперед и назад, в кухне посыпались с полок кастрюли, и Варя взяла меня за руку и повела вниз, не слушая возражений. Женщины стояли в темном подъезде и говорили быстро, тревожно. И узнала знакомый голос дворничихи, татарки Гюль Ибердеевой, которую все в доме почему-то называли Машей.

— Девятка побита,— сказала она.— Очень побита. Комендант велел — бери лопата, пошла, отрывать нада.

«Девятка» — это был дом, в котором помещался гастрономический магазин номер девять.

— Бери лопата, пошла. Все пошла! Кому нет лопата, там будет. Бери, бабка, бери! Тебя побьют, тебя отрывать будут.

Она гремела в темноте лопатами, одну сунула мне, другую Варе. Женщины в подъезде поворчали и пошли, и мы пошли за ними.

Ночь была великолепная, ясная — самая «налетная», как говорили в Ленинграде. Похожая на желтый воздушный шар, луна висела над городом, воздух был легкий, крепкий. Гулять бы в такую ночь, сидеть на набережной, и чтобы где-то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег!

А мы шли, усталые, молчаливые, злые, с лопатами на плечах, доставать из-под развалин живых или мертвых.

«Девятка» была расколота надвое — бомба пробила все пять этажей, и в черном неправильном провале открылся узкий ленинградский двор с фантастическими ломаными тенями. Дом упал фасадом вперед, обломки загородили улицу, и в этой каше битого кирпича, мебели, арматуры торчало черное крыло рояля.

Вокруг было тихо. Люди со странным спокойствием приближались к дому, и голоса были неторопливые, осторожные. Женщина закричала, бросилась на землю, ее отнесли в сторону, и снова стало тихо. Мертвый старик в белом, засыпанном известью и щебнем пальто лежал на панели, на него натыкались, заглядывали в лицо и медленно обходили.

Вода залила подвалы. Прежде всего нужно было что-то сделать с водой, и худенький ловкий сержант милиции, распоряжавшийся спасательными работами, поставил нас с Варей на откачку воды, к насосу.

Снова двинулась и остановилась под ногами земля, и прямо над нами, догоняя друг друга, пошли в небо желтой дугой трассирующие пули. Прожектора, чудесно укорачиваясь и удлиняясь, скрестились, и мне показалось, что в одной из точек скрещения мелькнул маленький самолетик.

Зенитки стали бить — только что далеко, а вот уже ближе и ближе, точно кто-то огромный шагал через кварталы, ежеминутно стреляя вверх из тысячи пистолетов. Не отрываясь от работы, я взглянула на небо и поразилась: так страшна и нарядна была картина войны с коротким треском пулеметов, стремительным полетом разноцветных ракет в ясном, высоком небе.

Санитарные машины останавливались у веревок, которыми милиция огородила разрушенный дом. Работа

шла полным ходом, шум и гулкие голоса доносились из подвала, и люди выходили, бледные, мокрые до пояса. Жертв, кажется, было немного.

Разгоряченная, красивая Варя выдирала из груды сожженной мебели матрацы, одеяла, подушки, укладывала раненых, делала кому-то искусственное дыхание, кричала на санитаров, и два врача, приехавшие с санитарной машиной, бегали, как мальчики, и слушались каждого ее слова.

Подоткнув юбку, она спустилась в подвал и вылезла оттуда, таща за плечи мокрого человека. Худенький сержант подбежал, помог, санитары подтащили носилки.

— Посадите! — повелительно сказала она.

Это был красноармеец или командир, без фуражки, в почерневшей от воды шинели. Его посадили. Голова упала на грудь. Варя взяла его за подбородок, и голова легко, как у куклы, откинулась назад. Что-то знакомое мелькнуло в этом бледном лице с темно-желтыми космами волос, облепившими лоб...

— Вот так, сейчас будет здоров,— низким, сердитым голосом сказала Варя.

Она разжала ему зубы, сунула пальцы в рот. Он замотался, затрепетал у нее в руках, хрипя и рывками втягивая воздух.

— Ага, кусаешься, милый! — снова сказала Варя.

Теперь он сидел, тяжело дыша, с закрытыми глазами, и при свете луны лицо его казалось удивительно белым, с приплюснутым носом и квадратной нижней челюстью, точно очерченной мелом,— лицо, которое я видела тысячу раз.

До сих пор не понимаю, почему я не позволила отправить Ромашова — это был он — в больницу. Может показаться невероятным, но я обрадовалась, когда, сидя на земле в расстегнутой шинели, он поднял глаза и сквозь туман, которым был еще полон неопределенный взгляд, увидел меня и сказал чуть слышно: «Катя». Он не удивился, убедившись в том, что именно я стою перед ним с какой-то бутылочкой в руках, которую Варя велела ему понюхать. Но когда я взяла его за руку, чтобы проверить пульс, он, стиснув зубы, дрожа, сказал еще раз, погромче: «Катя».

К утру мы вернулись домой. Мы шли шатаясь, а Маша с какой-то женщиной волокли за нами Ромашова. Он все беспокоился, не пропал ли его заплечный мешок,

и Маша наконец сердито сунула ему мешок под нос и сказала:

— Ты не мешок думай. Ты бога думай. Ты жизнь, дурак, спасал. Тебе молиться, куран читать нада!

Кофе — это было очень кстати, когда мы доплелись и, сдав Ромашова Розалии Наумовне, повалились в кухне на кровать.

— В общем, я так и не поняла, что это за дядя,— сказала Варя.

— Самый плохой человек на земле,— ответила я устало.

— Зачем же ты его привела?

— Старый друг. Что делать?

Мне стало жарко от кофе, я начала снимать платье, запуталась, и последнее, что еще прошло перед глазами, было большое белое лицо, от которого я беспомощно отмахнулась во сне.

Глава десятая
УЖИН. «НЕ ОБО МНЕ РЕЧЬ»

Он еще спал, когда мы уходили,— Розалия Наумовна постелила ему в столовой. Одеяло сползло, он спал в нижнем белье, и Варя мимоходом привычным движением поправила, подоткнула одеяло. Он дышал сквозь сжатые зубы, между веками была видна полоска глазного яблока — уж такой Ромашов, что его нельзя было спутать ни с одним Ромашовым на свете!

— Так самый плохой? — шепотом спросила Варя.

— Да.

— А по-моему, ничего.

— Ты сошла с ума!

— Честное слово — ничего. Ты думаешь, почему он так спит? У него короткие веки.

Отчего мне казалось, что к вечеру Ромашов должен исчезнуть, как видение той, исчезнувшей ночи? Он не исчез. Я позвонила — и не Розалия Наумовна, а он подошел к телефону.

— Катя, мне необходимо поговорить с вами,— почтительным, твердым голосом сказал он.— Когда вы вернетесь? Или разрешите приехать?

— Приезжайте.

— Но я боюсь,что в госпитале это будет неловко.

— Пожалуй. А домой я вернусь через несколько дней.

Он помолчал.

— Я понимаю, что у вас нет ни малейшего желания видеть меня. Но это было так давно... Причина, по которой вы не хотели со мной встречаться...

— Ну нет, не очень давно...

— Вы говорите об этом письме, которое я послал с доктором Павловым? — спросил он живо.— Вы получили его?

Я не ответила.

— Простите меня.

Молчание.

— Это не случайно, что мы встретились. Я шел к вам. Я бросился в подвал, потому что кто-то закричал, что в подвале остались дети. Но это не имеет значения. Нам необходимо встретиться, потому что дело касается вас.

— Какое дело?

— Очень важное. Я вам все расскажу.

У меня сердце екнуло — точно я не знала, кто говорит со мной.

— Слушаю вас.

Теперь он замолчал и так надолго, что я чуть не повесила трубку.

— Хорошо, тогда не нужно. Я ухожу, и больше вы никогда не увидите меня. Но клянусь...

Он прошептал еще что-то; мне представилось, как он стоит, сжав зубы, прикрыв глаза, и тяжело дышит в трубку, и это молчание, отчаяние вдруг убедили меня. Я сказала, что приду, и повесила трубку.

На столе стояли сыр и масло — вот что я увидела, когда, открыв входную дверь своим ключом, остановилась на пороге столовой. Это было невероятно — настоящий сыр, голландский, красный и масло тоже настоящее, может быть даже сливочное, в большой эмалированной кружке. Хлеб, незнакомый, не ленинградский, был нарезан щедро, большими ломтями. Кухонным ножом Ромашов открывал консервы, когда я вошла. Из мешка, лежащего на столе, торчала бутылка...

Растрепанная, счастливая Розалия Наумовна вышла из спальни.

— Катя, как вы думаете, что делать с Берточкой? — шепотом спросила она.— Я могу ее пригласить?

— Не знаю.

— Боже мой, вы сердитесь? Но я только хотела узнать...

— Миша,— сказала я громко,— вот Розалия Наумовна просит меня выяснить, может ли она пригласить к столу свою сестру Берту.

— Что за вопрос! Где она? Я сам ее приглашу.

— Вас она испугается, пожалуй.

Он неловко засмеялся:

— Прошу, прошу!

Это был очень веселый ужин. Бедная Розалия Наумовна дрожащими руками готовила бутерброды и ела их с религиозным выражением. Берта шептала что-то над каждым куском — маленькая, седая, с остреньким носиком, с расплывающимся взглядом. Ромашов болтал не умолкая — болтал и пил.

Вот когда я как следует рассмотрела его!

Мы не виделись несколько лет. Тогда он был довольно толст. В лице, в корпусе, немного откинутом назад, начинала определяться солидность полнеющего человека. Как все очень некрасивые люди, он старался тщательно, даже щегольски одеваться.

Теперь он был тощ и костляв, перетянут новыми скрипящими ремнями, одет в гимнастерку с двумя шпалами на петлицах,— неужели майор? Кости черепа стали видны. В глазах, немигающих, широко открытых, появилось, кажется, что-то новое — усталость?

— Я изменился, да? — спросил он, заметив, что я гляжу на него.— Война перевернула меня. Все стало другим — душа и тело.

Если бы стало все другим, он не доложил бы мне об этом.

— Миша, откуда у вас столько добра? Украли?

Очевидно, он не расслышал последнего слова.

— Кушайте, кушайте! Я достану еще. Здесь все можно достать. Вы просто не знаете.

— В самом деле?

— Да, да. Есть люди.

Не знаю, что он хотел сказать этими словами, но я невольно положила свой бутерброд на тарелку:

— Вы давно в Ленинграде?

— Третий день. Меня перебросили из Москвы в распоряжение начальника Военторга. Я был на Южном фронте. Попал в окружение и вырвался чудом.

Это было правдой, страшной для меня, а я слушала его небрежно, с давно забытым чувством власти над ним.

— Мы отступали к Киеву. Мы не знали, что Киев отрезан,— сказал он.— Мы думали, что немцы черт знает где, а они встретили нас под Христиновкой, в двухстах километрах от фронта. Сущий ад,— добавил он, смеясь,— но об этом потом. А сейчас я хотел сказать вам, что видел в Москве Николая Антоныча. Как ни странно, он никуда не поехал.

— В самом деле? — сказала я равнодушно.

Мы помолчали.

— Вы, кажется, собирались поговорить о чем-то, Миша? Тогда пойдемте ко мне.

Он встал и выпрямился. Вздохнул и поправил ремень.

— Да, пойдемте. Вы позволите взять с собой вино?

— Пожалуйста.

— Какое?

— Я не буду пить — какое хотите.

Он взял со стола бутылку, стаканы и, поблагодарив Розалию Наумовну, прошел за мной. Мы уселись: я — на диване, он — у стола, на котором так и стояли нетронутыми Сашины кисти в высоком бокале.

— Это длинный рассказ.

Он волновался. Я была спокойна.

— Очень длинный и... Вы курите?

— Нет.

— Многие женщины во время войны стали курить.

— Да, многие. Меня ждут в госпитале. Вам дается ровно двадцать минут.

— Хорошо,— задумчиво, по слогам сказал Ромашов.— Вы знаете, что в августе я уехал с Ленинградского фронта. Мне не хотелось уезжать: я рассчитывал встретиться с вами. Но приказ есть приказ.

Саня часто повторял эту фразу, и мне неприятно было услышать ее от Ромашова.

— Не буду рассказывать о том, как я попал на юг. Мы дрались под Киевом и были разбиты.

Он сказал: «мы».

— В Христиновке я присоединился к санитарному эшелону, который шел в обход Киева, на Умань. Это были обыкновенные теплушки, в которых лежали раненые. Много тяжелых. Ехали три, четыре, пять дней, в жаре, в духоте, в пыли...

Берта молилась в соседней комнате.

Он встал и нервно закрыл дверь.

— Я был контужен дня за два до того, как присоединился к эшелону. Правда, легко — только по времена нам начинало покалывать левую сторону тела. Она у меня буреет,— напряженно улыбнувшись, добавил Ромашов.— Еще и теперь.

Варя, которая в ту ночь раздевала и одевала Ромашова, говорила, что у него левая сторона обожжена; должно быть, это и было то, что он назвал «буреет».

— И вот мне пришлось заняться хозяйством нашего эшелона. Прежде всего нужно было наладить питание, и я с гордостью могу сказать, что в пути — мы ехали две недели — от голода ни один человек не умер. Но не обо мне речь.

— О ком же?

— Две девушки, студентки пединститута из Станислава, ехали с нами. Они носили раненым еду, меняли повязки, делали все, что могли. И вот однажды одна из них позвала меня к летчику — раненый летчик лежал в одной из теплушек.

Ромашов налил вина.

— Я спросил девушек, что случилось. «Поговорите с ним!» — «О чем?» — «Не хочет жить. Говорит, что застрелится, плачет». Мы пришли к нему,— не знаю, как получилось, что в этой теплушке я не был ни разу. Он лежал вниз лицом, ноги забинтованы небрежно, неумело. Девушки подсели к нему, окликнули...

Ромашов замолчал.

— Что же вы не пьете, Катя? — немного охрипнувшим голосом спросил он.— Все я один. Напьюсь, что станете делать?

— Прогоню. Досказывайте вашу историю.

Он выпил залпом, прошелся, сел. Я тоже пригубила. Мало ли летчиков на свете!

Глава одиннадцатая
ВЕРЮ

Вот эта история, как ее рассказал Ромашов.

Саня был ранен в лицо и ноги, рваная рана на лице уже подживала. Он не сказал, при каких обстоятельствах был ранен,— об этом Ромашов узнал совершенно

случайно из многотиражки «Красные соколы», где была помещена заметка о Сане. Он вез мне этот номер газеты и, без сомнения, довез бы, если бы не глупая история, когда он чуть не утонул в подвале, спасая детей. Но это не имеет значения — он помнит заметку наизусть:

«Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз двумя «юнкерсами». На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил «юнкерса». Летчики эскской части всегда будут хранить память о бесстрашных соколах — коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке-радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну».

Может быть, текст неточен, слова стоят в другом порядке, но за содержание заметки Ромашов ручался головой. Он держал этот номер в планшете вместе с другими бумагами, очень важными. Планшет попал в воду, газета превратилась в мокрый комочек, и, когда он ее просушил, как раз той полосы, на которой была напечатана заметка, не оказалось. Но и это не имеет значения.

Итак, Саню считали погибшим, но он был только ранен в лицо и ноги. В лицо легко, а в ноги, очевидно, серьезно — во всяком случае сам передвигаться не мог.

«Как он попал в эшелон?» — «Не знаю,— сказал Ромашов,— мы не говорили об этом».— «Почему?» — «Потому, что через час после нашей встречи в двадцати километрах от Христиновки эшелон расстреляли немецкие танки». Он так и сказал: «расстреляли».

Это было неожиданно — наткнуться на немецкие танки в нашем тылу. Эшелон остановился — с первого выстрела был подбит паровоз. Раненые стали прыгать под насыпь, разбежались, и немцы через эшелон стали стрелять по ним шрапнелью.

Прежде всего Ромашов бросился к Сане. Нелегко было под огнем вытащить его из теплушки, но Ромашов вытащил, и они спрятались за колеса. Тяжелораненые кричали в вагонах: «Братцы, помогите!», а немцы все шли, уже близко, по соседним вагонам. Больше нельзя

было лежать за колесами, и Саня сказал: «Беги, у меня есть пистолет, и они меня не получат». Но Ромашов не оставил его, поволок в сторону, канавой, по колено в грязи, хотя Саня бил его по рукам и ругался. Потом один лейтенант помог Ромашову перетащить его через болото, и они остались вдвоем в маленькой мокрой осиновой роще.

Это было страшно, потому что большой немецкий десант захватил ближайшую станцию, вокруг шли бои и немцы в любую минуту могли появиться в этой рощице, которая на открытой местности была удобным для обороны местом. Необходимо было, не теряя времени, двигаться дальше. Но у Сани открылась рана на лице, температура поднялась, он все говорил Ромашову: «Брось меня, пропадешь!» А один раз сказал: «Я думал, что в моем положении придется тебя опасаться». Когда он опускал ноги, у него появлялась мучительная боль — кровь приливала к ранам. Ромашов сделал ему костыль: расщепил сук, сверху привязал шлем — получился костыль. Но Саня все равно не мог идти, и тогда Ромашов пошел один, но не вперед, а назад, к эшелону,— он надеялся найти давешних девушек из Станислава. До эшелона он не дошел — за болотом по нему открыли огонь. Он вернулся.

— Я вернулся через час или немного больше,— сказал Ромашов,— и не нашел его. Роща была маленькая, и я пересек ее вдоль и поперек. Я боялся кричать, но все же крикнул несколько раз — никакого ответа. Я искал его всю ночь, наконец свалился, уснул, утром нашел то место, где мы расстались: мох был сорван, примят, самодельный костыль стоял под осиной...

Потом Ромашов попал в окружение, но пробился к своим с отрядом моряков из Днепропетровской флотилии. Больше он ничего не слышал о Сане...

Тысячу раз представлялось мне, как я узнáю об этом. Вот приходит письмо, обыкновенное, только без марки, я открываю письмо — и все перестает существовать, я падаю без слов. Вот приходит Варя, которую я столько раз утешала, и начинает говорить о нем — сперва осторожно, издалека, потом: «Если бы он погиб, что ты стала бы делать?» И я отвечаю: «Не пережила бы». Вот в военкомате я стою среди других женщин, мы смотрим друг на друга, и у всех одна мысль: «Которая сегодня услышит — убит?» Все передумала я — только одно не

приходило мне в голову: что об этом расскажет мне Ромашов.

Конечно, все это была ерунда, которую он сочинил или прочитал в журнале. Вернее всего, сочинил, потому что характерный для него расчет был виден в каждом слове. Но как я не заслужила, чтобы этот человек явился в Ленинград, где и без него было так трудно,— явился, чтобы подло обмануть меня!

— Миша,— сказала я очень спокойно,— вы написали мне: «Счастье мое и жизнь». Это правда?

Он молча смотрел на меня. Он был бледен, а уши — красные, и теперь, когда я спросила: «Это правда?», они стали еще краснее.

— Тогда зачем же вы придумали так мучить меня? Я должна сознаться, что иногда немного жалела вас. Этого не бывает, чтобы женщина хоть раз в жизни не пожалела того, кто любит ее так долго. Но как же вы не понимаете, тупой человек, что, если бы, не дай бог, Саня погиб, я стала бы вас ненавидеть? Вы должны сознаться, что все это ложь, Миша. И попросить у меня прощенья, потому что иначе я действительно прогоню вас как негодяя. Когда это было — то, что вы рассказывали?..

— В сентябре.

— Вот видите — в сентябре. А я получила письмо от десятого октября, в котором Саня пишет, что жив и здоров и, может быть, прилетит на денек в Ленинград, если позволит начальство. Ну-ка, что вы на это скажете, Миша?

Не знаю, откуда взялись у меня силы, чтобы солгать в такую минуту. Не получала я никакого письма от десятого октября. Уже три месяца, как не было ни слова от Сани.

Ромашов усмехнулся.

— Это очень хорошо, что вы не поверили мне,— сказал он.— Я боялся другого. Пусть так, все к лучшему.

— Значит, все это ложь?

— Да,— сказал Ромашов,— это ложь.

Он должен был убеждать меня, доказывать, сердиться, он должен был — как тогда на Собачьей площадке — стоять передо мной с дрожащими губами. Но он сказал равнодушно:

— Да, это ложь.

И у меня забилось, упало сердце.

Должно быть, он почувствовал это. Он подошел и взял меня за руку — смело, свободно. Я вырвала руку.

— Если бы я хотел обмануть вас, я просто показал бы вам газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. А я рассказал вам то, чего не знает никто на свете. И это смешно,— сказал он надменно,— что я сделал это будто бы из низких личных побуждений. Или я думал, что подобное известие может расположить вас ко мне? Нет, это правда, которую я не смел скрыть от вас.

По-прежнему я сидела ровно, неподвижно, но все вокруг стало медленно уходить от меня: Сашин стол с кисточками в высоком бокале и этот рыжий военный у стола, фамилию которого я забыла. Я молчала, и мне не нужно было ничего, но этот военный почему-то поспешно ушел и вернулся с маленькой седой изящной женщиной, которая схватилась за голову, увидев меня и сказала:

— Катя, боже мой! Дайте воды, воды! Да что же с вами, Катя?

Глава двенадцатая
НАДЕЖДА

— Варенька, что со мною? Я больна?

— Ничуть не больна — здорова.

Она махнула рукой, и, осторожно скрипя сапогами, кто-то вышел и сказал негромко:

— Очнулась.

— Кто это?

— Да все тот же — рыжий твой,— с досадой сказала Варя.

Я помолчала.

— Варенька, ты знаешь?

— Боже мой, да еще ничего не случилось. Ну, ранена эка штука! Голубчик ты мой! — Она прижалась ко мне, обняла.— Да разве можно так? Что же мне-то тогда — умереть? И ведь какая внешность обманчивая! Я б о тебе ничего подобного никогда не сказала: Или прежде очень измучилась? Или он сказал неосторожно?

— Нет, осторожно. Это пройдет.

— Ну конечно, пройдет. Уже прошло. Кофе хочешь?

Я опять помолчала.

— Варенька!

— Что, голубчик?

— Я надеюсь.

— Ну конечно, еще бы не так! И нужно надеяться! Я тебе говорю, вот запомни мои слова: никуда не денется, вернется твой Саня.

Газету «Красные соколы», в которой была напечатана заметка о Сане, очень трудно было достать в Ленинграде. Сперва я старалась достать, даже узнала у одного военного корреспондента, в какой части выходит эта газета. Потом перестала, когда Петя написал мне, что он читал заметку своими глазами: «Я думаю и думаю о вас, дорогая Катя. Для меня Саня был самым близким человеком на свете, с детских лет милым и любимым братом. Всегда у него что-то звенело в душе, и легче становилось жить, как, бывало, прислушаешься к этому звону. Это было наше детство, наша мечта, наша клятва, которую он помнил всю жизнь. Как бы мне хотелось увидать вас, разделить ваше горе!»

В ответ я подробно изложила рассказ Ромашова и прибавила, что не теряю надежды...

Все реже я возвращалась домой. Я кончила курсы РОКК и стала работать в госпитале профессиональной сестрой. И голод долго не мешал мне, куда дольше, чем, например, Варе, которая на вид была гораздо крепче, чем я. Для меня было легче, что горе свалилось на меня в такие тяжелые дни в Ленинграде, где можно было попасть под артиллерийский снаряд, лежа в своей постели, где улицы были занесены первым снегом, а окна стояли открытыми, потому что многие ленинградцы, когда еще было тепло, перешли на казарменное положение и уже не вернулись домой.

Легче потому, что, сопротивляясь всему, что принесла блокада, я невольно сопротивлялась и собственному горю. И Ромашов, как ни странно, понимал меня. Недаром он совершенно перестал уговаривать меня уехать из Ленинграда...

Он повторил свой рассказ, и я узнала много новых подробностей, о которых в первый раз он не упомянул ни слова. Когда Ромашов с лейтенантом тащили Саню через болото, они сложили руки крестом, и он обнял их руками за шею. Одну из девушек звали Катей, и Саня

ужасно обрадовался и потом только и звал ее: «Катя, Катя!» Когда Саня сказал: «А я думал, что мне придется тебя опасаться», Ромашов только засмеялся в ответ, и это действительно было смешно — каждую минуту в рощице могли появиться немцы.

Это была правда, зачем ему лгать? Ведь если бы он захотел обмануть меня, он просто показал бы газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. Он сделал для Сани все, что мог,— и сделал именно потому, что невозможно было предположить, что он способен на это.

Как-то мельком я сказала ему, что была бы очень рада увидеть Петю.

— Готово,— объявил он мне через несколько дней,— завтра приедет.

Возможно, что это было простым совпадением, хотя Ромашов уверял, что он устроил вызов через ректора Академии художеств. Но прошло несколько дней, и Петя приехал.

Я не видела его три с половиной месяца. Я провожала его с чувством страха за его рассеянность, погруженность в себя — черты, которые меньше всего могли пригодиться ему на фронте. А в комнату вошел крепкий, загорелый человек, не сутулый, как прежде, а прямой, с уверенным взглядом.

Он явился ко мне очень рано, в шестом часу утра. Мы ждали Ромашова до полудня. Петя рассказывал, и я слушала его с таким чувством, как будто это был не Петя, а его младший брат — грубоватый, румяный, в полушубке, который крепко пахнул овчиной, с желтыми пальцами, которыми он ловко сворачивал огромные козьи ножки. Это была история характера — то, что он рассказал о себе. Художник, человек искусства, он в первые дни на фронте увидел не войну, а как бы панораму войны. Он был одно, война — другое. Но вот прошла неделя, другая, и он перестал наблюдать ее как художник. Он был теперь солдатом и делал все, что в его силах, чтобы стать настоящим солдатом.

— Что же мне делать в этом старом мире? — сказал он, легко оглянувшись кругом.

Мы не дождались Ромашова, и я ушла первая, потому что видела, что Пете хочется побыть одному. Обернувшись с порога, я увидела, как он взял одно из своих свернутых трубкой полотен и стал осторожно

развертывать его вдруг задрожавшими, огрубевшими пальцами.

Я позвонила Ромашову из госпиталя.

— Приехал? — весело сказал он.— Вот видите. А вы сомневались!

— Да, приехал. Приходите вечером — он хочет вас видеть.

— Вечером, к сожалению, не могу — неотложное дело.

— Нет, придете! Вы слышите, Миша?

И я бросила трубку.

Он пришел. Мы сидели в столовой, он появился в дверях и сразу же с протянутой рукой направился к Пете.

— Рад, рад,— сказал он,— очень рад. Признаться, я не думал, что вы получите отпуск, честное слово! Но вы, оказывается, известный человек. Если бы вы не были известным художником, ничего бы не вышло.

— Очень вам благодарен, товарищ майор,— казенным голосом отвечал Петя.

— Полно, какой майор! Интендант второго ранга, и только! Колеса не соберусь прицепить, вот и хожу майором!

Петя посмотрел на него, потом куда-то мимо, в угол. Очевидно, он полагал, что нет ничего легче, как прицепить колеса, чтобы интенданта второго ранга никто не принимал за майора.

— Ну, как на фронте, что слышно? Мне только что сказали, что Лигово взято.

— Насколько мне известно, не взято,— сказал Петя.

Мы помолчали.

— Итак,— сказал Ромашов,— вопрос первый и единственный: Саня?

Почему он держался так неопределенно, так странно? Почему он улыбался то с какой-то робостью, то с гордым, надменным выражением? Почему он рассказал длинную историю о каких-то пожарных, которые в маскировочных халатах под артиллерийским огнем копали картошку? Не знаю, мне было все равно. Я думала только о Сане...

— Есть только один путь,— с каким-то тайным самодовольством сказал наконец Ромашов.— Дело в том, что эти места под Киевом находятся сейчас в руках партизанских отрядов. Без сомнения, партизаны держат связь

с командованием фронта. Нужно включиться в эту связь, то есть поручить кому-то собрать все сведения о Сане.

Положив ногу на ногу, подпирая кулаком подбородок, Петя не отрываясь смотрел на него.

— Здесь две трудности,— продолжал Ромашов.— Первая: мы в Ленинграде. Вторая: приказ разыскать Саню или собрать сведения о нем может дать только одна организация и добраться до нее чрезвычайно трудно. Но нет ничего невозможного. У меня есть знакомства здесь, в Ленинградском штабе партизанских отрядов. Я сделаю это,— прибавил он побледнев.— Разумеется, если какие-либо исключительные обстоятельства не помешают.

«Исключительных обстоятельств» было сколько угодно — сама жизнь состояла из них. Все, что находилось по ту сторону Ладожского озера, давно уже называлось Большой землей, и поддерживать с нею даже простую телеграфную связь день ото дня становилось все труднее.

— Петя, что вы молчите?

— Я слушаю,— точно очнувшись, сказал Петя.— Что же, все правильно. Мне трудно сказать, насколько возможно рассчитывать на эту связь, особенно сейчас. Но начинать все-таки нужно немедленно. В этом отношении товарищ Ромашов совершенно прав. А в часть я бы на вашем месте написал, Катя.

— Голубчик, родная моя,— сказал он, когда Ромашов ушел,— что мне сказать вам? Он очень, очень не понравился мне, но мало ли что, правда? Это ничего не значит. В нем есть что-то неприятное, холодное, скрытное, и вместе с тем какая обнаженность чувств в каждом движении, в каждом слове! Мне даже захотелось нарисовать его. Этот череп квадратный... Но все это пустяки! Главное, что он, по-моему, человек дела.

— О, да!

— И привязан к вам.

— Без сомнения.

— А вы не можете пойти вместе с ним в штаб партизанских отрядов?

— Конечно, могу.

— Вот и пойдите. И непременно нужно писать, запрашивать, это очень важно. Вам самой будет легче.

Как вы похудели, измучились! — сказал он и взял меня за руки.— Бедная, родная! Вы, должно быть, не спите совсем?

— Нет, сплю.

— Саня вернется, вернется,— говорил он. (Я слушала, закрыв глаза и стараясь удержать дрожащие губы.) — Все снова будет прекрасно, потому что у вас такая любовь, что перед ней отступит самое страшное горе. Больше никто, кажется, и не умеет так любить, только вы и Саня. Так сильно, так упрямо, всю жизнь. Где же тут умирать, когда тебя так любят? Да разве вы позволите ему умереть?

Он говорил, я слушала, и на душе становилось легче. Смутное, далекое воспоминание вдруг мелькнуло передо мной: Саня спит одетый и усталый; ночь, но в комнате светло. Худенький мальчик играет за стеной, а я лежу на ковре и слушаю, слушаю, сжимаю виски. «За горем приходит радость, за разлукой — свидание. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле...»

До фронта можно было доехать на трамвае. Петина дивизия стояла теперь в Славянске. Он просил не провожать его: это было рискованно, в Рыбацком без пропуска меня могли задержать. Но я поехала.

— Ну, задержат, подумаешь! Комендант меня уже знает.

В трамвае было тесно, шумно, но мне все-таки еще раз удалось просмотреть бабушкины письма. Петя на днях получил от бабушки с одной почтой четыре закрытых письма и двенадцать открыток. Так и бывало в те дни в Ленинграде — по две-три недели с Большой земли никто не получал ни слова, и вдруг приходила целая пачка писем. Дома я успела прочитать только открытки. В одной из них маленький Петя приписал огромными, квадратными буквами: «Папа, у нас живет кролик»,— и я так живо представила, как он пишет, наклоняя голову и поднимая брови,— с той милой манерой, которую я любила и которая делала его похожим на мать. Он был здоров, сыт и в безопасности, бабушка тоже. Чего же еще желать в такое тяжелое время?

— Правда же, Петя?

— Конечно, да,— грустно отвечал он.— Но как я скучаю без него, если бы вы знали!

Трамвай шел уже вдоль Рыбацкого. Кто-то сказал, что на конечной остановке будут проверять документы. Петя беспокоился за меня, и я решила вернуться.

— Будьте здоровы, дорогой!

— Ладно, ладно, буду здоров,— отвечал он весело. Так, бывало, отвечал маленький Петя.

Через головы чужих, озабоченных, занятых своими делами людей мы протянули друг другу руки, и, быть может, поэтому я подумала с раскаянием, что почти ничего о нем не узнала. «Но ведь не в последний же раз мы видимся,— сказала я себе.— Отпрошусь в госпитале; его часть стоит совсем близко».

Если бы я знала, как много дней, томительных и тревожных, пройдет, прежде чем мы встретимся снова!

Глава тринадцатая
ТЕРЯЮ НАДЕЖДУ

Берта умерла в середине декабря, в один из самых «налетных» дней, когда бомбежка началась с утра, или вернее, не прекращалась с ночи. Она умерла не от голода — бедная Розалия Наумовна десять раз повторила, что голод тут ни при чем.

Ей непременно хотелось похоронить сестру в тот же день, как полагается по обряду. Но это было невозможно. Тогда она наняла длинного грустного еврея, и тот всю ночь читал молитвы над покойницей, лежавшей на полу, в саване из двух несшитых простынь — тоже согласно обряду. Бомбы рвались очень близко, ни одного целого стекла не осталось в эту ночь на проспекте Максима Горького, на улицах было светло и страшно от зарева, от розово-красного снега, а этот грустный человек сидел и бормотал молитвы, а потом преспокойно уснул. Войдя в комнату с рассветом, я нашла его мирно спящим подле покойницы, с молитвенником под головой.

Ромашов достал гроб — тогда, в декабре, это было еще возможно,— и, когда худенькая старушка легла в этот огромный, грубо сколоченный ящик, мне показалось, что и в гробу она забилась в угол со страху.

Могилу нужно было копать самим: могильщики заломили, по мнению Ромашова, «неслыханную» цену. Он

нанял мальчиков — тех самых, которых Розалия Наумовна учила красить.

Очень оживленный, он десять раз бегал вниз во двор, шептался о чем-то с комендантом, похлопывал Розалию Наумовну по плечу и в конце концов рассердился на нее за то, что она настаивала, чтобы Берту так и похоронили — в саване из несшитых простынь.

— Простыни можно променять! — закричал он.— А ей они не нужны. В лучшем случае через два дня с нее эти простыни снимут.

Я прогнала его и сказала Розалии Наумовне, что все будет так, как она хочет.

Было раннее утро, мелкий, жесткий снежок крутился и вдруг, точно торопясь, падал на землю, когда, толкаясь о стены и неловко поворачивая на площадках, Ромашов с мальчиками снесли гроб и поставили его во дворе на салазки. Я хотела дать мальчикам денег, но Ромашов сказал, что сговорился за хлеб.

— По сто грамм авансом,— весело сказал он.— Ладно, ребята?

Не глядя на него, мальчики согласились.

— Катя, вы идете наверх? — продолжал он.— Будьте добры, принесите, пожалуйста. Хлеб лежит в шинели.

Не знаю, почему он положил хлеб в шинель,— должно быть, спрятал от Розалии Наумовны или давешнего еврея. Шинель висела в передней. Он давно уже носил полушубок.

Я поднялась и, помнится, подумала на лестнице, что следует одеться потеплее. Меня с ночи немного знобило, и лучше было бы, пожалуй, не ходить на кладбище, до которого считалось добрых семь километров. Но я боялась, что без меня Розалия Наумовна свалится по дороге.

Завернутый в бумагу кусок хлеба лежал в кармане шинели, я стала доставать его. Вместе с хлебом полез какой-то мягкий мешочек. Мешочек упал, и я открыла дверь на лестницу, чтобы подобрать его,— в передней было темно. Это был желтый замшевый кисет: среди других подарков мы посылали на фронт такие кисеты. И подумала — и развязала его; карточка, сломанная пополам, лежала в нем и какие-то кольца. «Променял где-нибудь»,— подумала я с отвращением. Карточка была фото, очень старое, покоробившееся, с надписью

на обороте, которую трудно было разобрать, потому что буквы совершенно выцвели и слились. Я уже совсем собралась сунуть фото обратно в кисет, но странное чувство остановило меня. Мне представилось, что некогда я держала в руках это фото.

Я вышла — на лестнице было светлее — и стала по буквам разбирать надпись: «Если быть...» — прочитала я. Белый острый свет мелькнул перед моими глазами и ударил прямо в сердце. На фото было написано: «Если быть — так быть лучшим».

Не знаю, что сталось со мной. Я закричала, потом увидела, что сижу на площадке и шарю, шарю, ищу это фото. Через какую-то темноту перед глазами я прочитала надпись и узнала Ч. в шлеме, с его большим орлиным лицом, с добрыми и мрачными, из-под низких бровей глазами. Это была карточка Ч., с которой никогда не расставался Саня. Он носил ее в бумажнике вместе с документами, хотя я тысячу раз говорила, что карточка изотрется в кармане и что нужно остеклить ее и поставить на стол.

С бешенством бросилась я обратно в переднюю, сорвала с вешалки шинель и, бросив ее на площадку, вывернула карманы. Саня умер, убит. Не знаю, что я искала. Ромашов убил его. В другом кармане были какие-то деньги, я скомкала их и швырнула в пролет. Убил и взял это фото. Я не плакала. Украл документы и фото, все бумаги и, может быть, медальон, чтобы никто не узнал, что этот мертвый в лесу — Саня. «Другие бумаги, очень важные, они лежали в планшете»,— мысленно услышала я, и словно кто-то зажег фонарь перед каждым словом Ромашова.

Это фото было в планшете. Другие бумаги и газета «Красные соколы» тоже были в планшете, но они размокли, пропали — ведь сам Ромашов сказал: «Газета превратилась в комочек». А фото сохранилось, быть может, потому, что Саня всегда носил его обернутым в кальку.

Внизу слышались голоса. Розалия Наумовна звала меня. Я спрятала фото на груди, положила кисет в карман шинели. Я повесила шинель на прежнее место и, спустившись во двор, отдала хлеб Ромашову.

Он спросил:

— Что с вами? Вы нездоровы?

Я ответила:

— Нет, здорова.

Ничего не было. Не было пустынных, бесшумных улиц, по которым, медленно передвигая ноги, как в страшном, медленном сне, молча шли люди. Не было застрявших среди улиц обледеневших трамваев, с которых свисали, как с крыш деревенских домов, толстые карнизы снега. Не бежал все дальше и дальше от нас узкий след салазок, на которых лежало маленькое, как у ребенка, спеленатое тело. Только теперь я вспомнила, что Ромашов распорядился оставить гроб, не поместившийся на маленьких салазках.

— Ничего, продадим,— сказал он.

И Розалия Наумовна, должно быть, сошла с ума, потому что сказала, что по обряду так и нужно — без гроба. Я вспомнила об этом и сразу забыла. Девочка с крошечным старым лицом ступила в снег, чтобы пропустить нас — двоим было не разойтись на узкой дорожке, проложенной вдоль Пушкарской. Странно болтаясь в широком пальто, прошел еще кто-то — мужчина с портфелем, висящим на веревочке через плечо. Я видела все: бесшумные, занесенные снегом улицы, спеленатый труп на саночках и еще другой труп, который какая-то женщина везла по другой стороне, но все останавливалась и наконец отстала. Как тень бесшумно, бесследно скользит по стеклу, так проходил передо мной белый, потонувший в снегу, стынущий город.

Другое видела я, другое терзало сердце: вытянув ноги в грязных, желтых от крови бинтах, Саня лежит, прижавшись щекою к земле, и убийца стоит над ним — одни, одни в маленькой мокрой осиновой роще!

Глава четырнадцатая
«ДА СПАСЕТ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ!»

До еврейского кладбища было далеко, не добраться, и Розалия Наумовна решила похоронить сестру на Смоленском. За шестьсот граммов хлеба грустный еврей, читавший над Бертой молитвы, согласился прийти на православное кладбище, чтобы проводить свою «клиентку», как он сказал, согласно обряду.

Я плохо помню эти проводы, продолжавшиеся весь день — от самого раннего утра до сумерек, подступив-

ших по-декабрьскому рано. Как будто старая, немая кинолента шла передо мной, и сонное сознание то следовало за ней, то оступалось в снег, заваливший Васильевский остров.

Вот мы идем, не чувствуя ничего, кроме холода и усталости. Мальчики тащат Берту по очереди в гору вдвоем, а на скатах она поспешно съезжает сама, точно торопясь поскорее освободить нас от этих скучных забот, которые она невольно нам причинила.

Блестит на солнце привязанная к трупу лопата, и, глядя на этот блеск, я почему-то вспоминаю Крым и море. Нам было так хорошо в Крыму: Саня вставал в пять часов, я готовила ему легкий завтрак, когда знала, что он идет на высокий полет. Мы купили душ «стандарт», я все приладила, устроила, и после душа Саня садился за стол в желтой полосатой пижаме. Как-то мы поехали в Севастополь, море было неспокойно, погода хмурилась — летчикам всегда давали отпуска в самое неподходящее время. Я огорчилась, и Саня сказал: «Ничего, я тебе организую погоду». И правда, только отвалил пароход, как стала прекрасная погода.

Как весело, как легко было мне стоять с ним на белой, нарядной палубе, в белом платье, говорить и смеяться и стараться быть красивой, потому что я знала, что ему нравится, когда я нравлюсь другим! Как ослепительно сверкало солнце везде, куда ни кинешь взгляд,— на медных поручнях капитанского мостика, на гребешках закидывавшейся под ветром волны, на мокром крыле нырнувшей чайки!

...Сгорбившись, посинев, держа под руку Розалию Наумовну, чуть двигавшуюся — так тепло она была одета,— я плетусь за салазками, то уходящими от нас довольно далеко, то приближающимися, когда мальчики останавливаются, чтобы покурить. Мы две одинаковые, жалкие старушки: я — совершенно такая же, как она. Должно быть, это сходство приходит в голову и Ромашову, потому что он догоняет нас и говорит с раздражением:

— Зачем вы пошли? Вы простудитесь, сляжете. Вернитесь домой, Катя.

Я гляжу на него: жив и здоров. В белом крепком полушубке, ремни крест-накрест, на поясе кобура. Жив! Открытым ртом я вдыхаю воздух. И здоров! Я наклоняюсь и кладу в рот немного снега. Все поблескивает привязанная к трупу лопата; я все смотрю на этот гипнотический блеск.

Кладбище. Мы долго ждем в тесной, грязной конторе с белыми полосами заиндевевшей пакли вдоль бревенчатых стен. Опухшая конторщица сидит у «буржуйки», приблизив к огню толстые, замотанные тряпками ноги. Ромашов за что-то кричит на нее. Потом нас зовут — могила готова. Опираясь на лопаты, мальчики стоят на куче земли и снега. Неглубоко же собрались они запрятать бедную Берту! Ромашов посылает их за покойницей, и вот ее уже везут. Длинный грустный еврей идет за салазками и время от времени велит постоять — читает коротенькую молитву. Ромашов раскладывает на снегу веревку, ловко поднимает покойницу, ногой откатывает салазки. Теперь она лежит на веревках. Розалия Наумовна в последний раз целует сестру. Еврей поет, говорит то высоко, с неожиданными ударениями, то низко, как старая печальная птица...

Мы возвращаемся в контору погреться. Мы — это я и Ромашов. Он делает мне таинственный знак, хлопает по карману, и, когда все направляются к воротам, мы заходим в контору — погреться.

— Налить?

Ох, как загорается, заходится сердце, какие горячие волны бегут по рукам и ногам! Мне становится жарко. Я расстегиваюсь, сбрасываю теплый платок; на легких, веселых ногах я хожу, хожу по конторе.

— Еще?

Опухшая женщина с жадностью смотрит на нас, я велю Ромашову налить и ей. И он наливает — «Эх, была не была!» — веселый, бледный, с красными ушами, в треухе, лихо сбитом на затылок. Мне тоже весело, я шучу: я беру со стола одну из черных крашеных могильных дощечек и протягиваю ее Ромашову:

— Для вас.

Он смеется:

— Вот теперь вы стали прежняя Катя!

— А все не ваша!

Он подходит ко мне, берет за руки. У него начинает дрожать рот; маленькие, точно детские, зубы открываются,— странно, прежде никогда я не замечала, какие у него острые, маленькие зубы.

— Нет, моя...— говорит он хрипло.

Я отнимаю у него правую руку. Молоток лежит на окне — должно быть, им прибивают к могильным крестам дощечки. Очень медленно я беру с окна этот молоток, небольшой, но тяжелый, с железной ручкой...

Если бы удар пришелся по виску, я бы, пожалуй, убила Ромашова. Но он отшатнулся, молоток скользнул и рассек скулу. Женщина вскочила, закричала, бросилась в сени. Ромашов догнал ее, втолкнул назад, захлопнул дверь. Потом подошел ко мне.

— Оставьте меня! — сказала я с отчаянием, с отвращением.— Вы убийца! Вы убили Саню.

Он молчал. Кровь лила из рассеченной скулы. Он отер ее ладонью, стряхнул на пол, но она все лила на плечо, на грудь, и весь полушубок был уже в мокрых розовых пятнах.

— Надо зажать,— не глядя на меня, пробормотал он.— У вас не найдется чистого носового платка, Катя?

— Хорошо, пусть так — я убил его! Тогда зачем же я берег это фото? Мы хотели зарыть документы. Саня держал их в руках и, должно быть, выронил фото. Я не сказал вам, что нашел его: я боялся, что вы не поверите мне. Боже мой, вы не знаете, что такое война! Сумасшедшая мысль, что я мог убить своего! Кто бы он ни был, как бы я ни относился к нему!.. Убить раненого, Катя! Да это бред, которому никто не поверит!

Не в первый раз Ромашов повторял эти слова: «никто не поверит». Он боялся, что я напишу о своих подозрениях в Военный трибунал или прокурору. Он оставил конторщице на кладбище все свои деньги и хлеб, и я слышала, как он сказал ей: «Никому ни единого слова». Он не пошел в больницу. Розалия Наумовна остановила кровь и залепила пластырем большой рубец на скуле.

— Да, я не любил его — это правда, которую я не собираюсь скрывать,— продолжал Ромашов,— но когда я нашел его с отбитыми ногами, с пистолетом у виска, в грязной теплушке, я подумал не о нем — о вас. Недаром же он обрадовался, увидев меня: он понял, что я — это его спасение. И не моя вина, что он куда-то пропал, пока я ходил за людьми, чтобы отнести его на носилках...

Он бегал по маленькой кухне, бегал и говорил, говорил... Он брался руками за голову, и тогда на тени, метавшейся за ним по стене, бесшумно вырастали две смешные косатые морды. Детское, забытое воспоминание чуть слышно коснулось меня. «А вот корова рогатая» — это говорит мама; я лежу в кроватке, а мама сидит рядом, держит руки перед стеной и смеется, что я смотрю не на тень, а на руки. «А вот козел бородатый»... У меня были мокрые глаза, но я не вытирала слез — очень холодно было вытаскивать руку из-под всех этих одеял, пальто и старого лисьего меха.

— И надо же было проклятой судьбе, чтобы я встретился с ним в эшелоне! Я мог убить его. Каждый день из теплушек выносили по нескольку трупов, никто бы не удивился, если бы летчика, который хотел застрелиться, нашли наутро с простреленной головой! Но я не мог убить его,— закричал Ромашов,— потому что не он, а вы лежали бы наутро с простреленной головой! Я понял это, когда он спросил у одной из девушек, как ее зовут,— она ответила: «Катя», и у него просветлело лицо. Я понял, что ничтожен, мелок перед ним со всеми своими мыслями о его смерти, которая должна была принести мне счастье. И я решил сделать все, чтобы спасти его. А теперь вы смеете утверждать, что я убил Саню! Нет,— торжественно сказал Ромашов,— клянусь матерью, которая родила меня на это несчастье и горе! Святыней моей клянусь — любовью к вам! Если он погиб, не виноват я в этой смерти ни словом, ни делом!

Он стал застегивать полушубок и все не мог попасть крючком в петлю — руки дрожали.

Если бы я могла, если бы смела снова поверить ему! Но равнодушно смотрела я на тощее лицо с неестественно запавшими глазами, на желтые космы волос, падающие на лоб, на безобразный пластырь, перекосивший щеки.

— Уходите.

— Вы плохо себя чувствуете, позвольте мне остаться.

— Уходите.

Не знаю, плакал ли он когда-нибудь. Но лицо его было залито слезами, когда, опустившись на колени, он уткнулся головой в постель и замер, вздрагивая и нервно глотая. «Саня жив! — вдруг подумала я, и рванулось, замерло сердце от счастья.— Или уже не чело-

век, а какой-то демон стоит на коленях передо мной? Нет, нет. Невозможно, немыслимо так притворяться».

— Уходите.

Не знаю, куда я гнала его. Уже скоро месяц, как он жил у нас,— Розалия Наумовна зачем-то прописала его. Была ночь и тревога. Но он вышел, и я осталась одна.

«Тик-так...» — стучал метроном. Кто-то, помнится, говорил мне, что только в Ленинграде передают стук метронома во время тревоги. Стекла вздрагивали, и вместе с ними — желтый листок коптилки, стоявшей на столе. Что же было там, в маленькой мокрой осиновой роще?

Под шубами, под одеялами, под старым лисьим мехом я не слышала, как сыграли отбой. Сыграли — и вновь началась тревога. «Тик-так,— застучал метроном.— Веришь — не веришь».

Это сердце стучало и молилось зимней ночью, в голодном городе, в холодном доме, в маленькой кухне, чуть освещенной желтым огоньком коптилки, которая слабо вспыхивала, борясь с тенями, выступавшими из углов. Да спасет тебя любовь моя! Да коснется тебя надежда моя! Встанет рядом, заглянет в глаза, вдохнет жизнь в помертвевшие губы! Прижмется лицом к кровавым бинтам на ногах. Скажет, это я, твоя Катя. Я пришла к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, что бы ни случилось с тобой. Пускай другая поможет, поддержит тебя, напоит и накормит — это я, твоя Катя. И если смерть склонится над твоим изголовьем и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце — это буду я, и я спасу тебя.

Глава пятнадцатая
ПРОСТИ, ЛЕНИНГРАД!

В январе 1942 года меня увезли из Ленинграда. Я была очень слаба, врачи не велели отправлять эшелоном, и Варя устроила меня на самолет.

За день до отъезда мне позвонили из сортировочного госпиталя и сказали, что лейтенант Сковородников ранен и просил передать привет.

— Вы сестрица его?

— Да,— ответила я дрожащим голосом.— Тяжело ранен?

— Никак нет. Надеется на встречу.

Я хотела идти, но Варя не пустила меня. Вероятно, она была права — я умерла бы дорогой. Так слабо, чуть слышно билось во мне дыхание жизни, так бесконечно далеко был этот госпиталь, на Васильевском острове,— на краю света! Варя надеялась, что удастся перебросить Петю в Военно-медицинскую академию, разумеется не в «стоматологию» — он был ранен в грудь и левую руку,— а в отделение полевой хирургии. Но это отделение было очень близко от «стоматологии». Она дала мне слово, что будет ежедневно заходить к нему и вообще заботиться о его здоровье. Без сомнения, она не догадывалась о том, как важно для нее самой — не только для Пети — сдержать это слово.

Как в легком, отлетающем сне, я смутно помню высокое деревянное строение — ангар, в котором я долго сидела на полу среди таких же, как я, закутанных, молчаливых людей. Потом нас повели куда-то узкой тропинкой по чистому снежному полю, мимо глубоких воронок, в которых валялись обломки разбитых самолетов, мимо полузасыпанных снегом розовых горок,— я не сразу догадалась, что это коровье мясо, которое на самолетах привезли в Ленинград. Потом по шаткой железной лесенке мы поднялись в самолет, пустой и холодный, с голыми лавками по бокам, с пулеметом, стоявшим на подставке под откинутым прозрачным колпаком.

Вот и все. Маленький сердитый летчик в меховых сапогах прошел в кабину. Мотор заревел — качнулось и пошло мелькать направо и налево равнодушное сияющее поле. Я очнулась в эту минуту. Прости, Ленинград!

Я лечу над Ладожским озером, по которому через несколько дней пройдут первые машины с ленинградцами на Большую землю, с хлебом и мукой — в Ленинград. Вехи стоят здесь и там, намечая Дорогу жизни; люди работают по пояс в снегу.

Я лечу над картой великой войны, и уже не маленький сердитый летчик в меховых сапогах, а само время сидит за штурвалом моего самолета.

Вперед и вперед смотрит оно. По бесконечным магистралям тянутся на восток разобранные на части цехи гигантских заводов. Запорошенные снегом, идут и идут станки, и кажется, чтобы пустить их, нужны годы и годы. Но еще не тает снег, еще скупо греет зимнее солнце, а уже в глухих, заповедных степях, где прежде одни кибитки лениво тащились от юрты до юрты, где бродили стада да старый казах-пастух играл на самодельной домбре, поднимаются, и день ото дня все выше, корпуса многоэтажных зданий...

А меня, чуть живую, везут в Ярославль, в «ленинградские» палаты, где лежат, стараясь не думать о еде, очень тихие люди. Врачи не велят думать о еде; недоверчивых они ведут в кладовые. Полны кладовые.

Бабушка находит меня в этой больнице — и не находит: в недоумении стоит она на пороге, обводя глазами палату. Она смотрит на меня и не узнает, пока мне не становится смешно и я не окликаю ее, смеясь и плача...

Вперед, вперед! День и ночь. И снова день. Но давно смешались день и ночь, и кажется, само солнце не знает, когда, в какой час подняться над потрясенной землей.

Это — зима сорок первого года.

Но вот проходит эта памятная всему миру зима. Дыхание новых сил поднимается на всем необозримом пространстве Советского Союза. Доносится оно до «ленинградских» палат. И вновь разгорается сердце. Жизнь стучит и зовет, и уже досада на себя, на свое бездействие, слабость томит и волнует душу...

В марте я выхожу из больницы. Бабушка ведет меня на вокзал, и голова моя кружится от бегущих, сверкающих на солнце ручейков талой воды вдоль дороги, от воздуха, от мелькания людей и машин. Мы едем в Гнилой Яр.

Напрасно казалось мне, что детям не может быть хорошо в селе с таким неприятным названием. Хорошо детям в этом селе! Петенька вырос, окреп и стал совсем деревенским мальчишкой, с облупившимся на солнце носом, с золотистыми волосиками на загорелых ногах.

Он уже стесняется, когда я целую его при других ребятах, он собирает марки и презирает Витьку Котелкова за то, что тот плакал и «ябедает» маме. Он переписывается с отцом, и — очень странно — время от времени папа передает ему привет от какой-то тетеньки по имени Варя.

— Она старая?

— Нет, молодая.

— А чего она кланяется? Познакомиться хочет?

— Наверно...

Сельское кладбище раскинулось на высоких холмах; в ясный день издалека видны его кресты и пятиконечные звезды. Мы — в лощине между кладбищем и дорогой, за которой, бесконечные, темно-зеленые, светло-зеленые, простираются поля и поля. Мы в тени, между кустами дикой малины.

— А мама ведь тоже была молодая, когда она умерла?

— Совсем молодая.

О чем думает он, срывая травинку, по которой ползет и вдруг взлетает майский жучок?

— А дядя Саня похож на маму?

Он робко смотрит на меня, гладит по руке, целует. Я плачу, и слезы падают прямо на его загорелый, облупившийся нос. Обнявшись, мы молча сидим в кустах дикой малины.

Вперед, вперед! Не оглядываясь, не вспоминая.

Лето 1942 года. Лагерь Худфонда переведен в Новосибирскую область. Я возвращаюсь в Москву, суровую, затемненную, с крышами, на которых стоят зенитки; с площадями, на которых нарисованы крыши.

Метро такое же чистое и новое, ничуть не изменившееся за годы войны. Гоголевский бульвар — дети и няни. Сивцев Вражек, кривой, узенький, милый, все тот же, несмотря на два новых дома, свысока поглядывающих на облупившихся, постаревших соседей. Знакомая грязная лестница. Медная дощечка на двери: «Профессор Валентин Николаевич Жуков». Ого, профессор! Это новость! Я звоню, стучу! Дверь открывается. Бородатый военный в очках стоит на пороге.

Разумеется, я сразу узнала его. Кто же другой мог уставиться на меня с таким неопределенно вежливым выражением? Кто же другой мог так смешно положить голову набок и поморгать, когда я спросила:

— Здесь живет профессор Валентин Николаевич Жуков?

Кто же другой мог так оглушительно заорать и наброситься на меня и неловко поцеловать куда-то в ухо? И при этом наступить мне на ногу так, что я сама заорала.

— Катя, милая, как я рад! Это чудо, что ты меня застала!

Он подхватил мой чемодан, и мы пошли — куда же, если не в «кухню вообще», ту самую, которая была одновременно кабинетом, столовой и детской. Но боже мой, во что превратилась эта старинная уютная кухня! Какие-то плетенки с кашей стояли на столе, пол был не подметен, обрывки синей бумаги висели на окнах...

Валя взял меня за руки.

— Все знаю, все.— У него дрогнуло лицо, и он крепко зажмурился под очками.— Дорогой друг, дорогой Саня... Но ведь есть надежда. Иван Павлыч читал мне твое письмо. Мы советовались с одним полковником, и он тоже сказал, что очень многие возвращаются, очень.

Я сказала: «Да, многие», и он снова обнял меня.

— Я тебя никуда не пущу! — энергично сказал он.— Квартира совершенно пустая, и тебе будет очень удобно. Я уже немного прибрал, когда Иван Павлыч сказал, что ты приедешь. Здесь надо помыть, да? — нерешительно спросил он.

Я засмеялась. Он сел на кровать и тоже стал смеяться.

— Честное слово, некогда. Я ведь здесь почти не живу — все время на фронте. А зимой тут было очень прилично. Зимой я взял зверей к себе, потому что в институте был дьявольский холод.

Разумеется, он взял не всех зверей, а только ценные экземпляры, и это была превосходная мысль — хотя бы потому, что какая-то редкая заморская крыса, которая до сих пор решительно отказывалась иметь детей, у Вали родила: так подействовала на нее семейная обстановка. Мебель Валя сжег, и это тоже было только к лучшему, потому что Кира, без сомнения, очень огорчилась бы, увидев, во что превратили ее «ценные экземпляры».

— Но из необходимой мебели я стопил только кухонный стол,— озабоченно сказал Валя,— так что главное все-таки осталось. Вот стулья, тумбочка, которую Кира очень любила, портьеры и так далее.

Весной звери вернулись в институт, а Валя получил звание капитана и стал работать в Военно-санитарном управлении. Я спросила, кому он нужен на фронте со своими грызунами, и он сказал очень серьезно:

— А вот это уже военная тайна.

В общем, все было превосходно. Плохо только, что зимой он «пережег проклятый лимит» и свет выключили — просто пришли и перерезали провод. Но в конце концов день сейчас длинный, а по ночам Валя работает при спиртовой лампочке — великолепная штука!

— А воду согреть на этой лампочке можно?

Валя растерянно посмотрел на меня.

— Боже мой, что я за болван! — закричал он.— Ты с дороги, а я даже не предложил тебе чаю.

— Нет, мне нужно много воды,— сказала я,— очень много. У тебя ведро найдется?

Он только ахнул, когда, разувшись и подоткнув юбку, я с мокрой тряпкой в руке принялась наводить порядок.

Сандаля пальцами нос, он с изумлением смотрел, как я выгребаю из-под кровати картофельную шелуху, как сдираю с окон грязную бумагу, как растет на полу гора заплесневелого хлеба.

Вот так-то, босиком, в подоткнутой юбке, я стояла на столе и наматывала на швабру мокрую тряпку, чтобы смести со стен паутину, когда кто-то постучал и Валя побежал в переднюю, прихватив ведро с грязной водой.

Я слышала, как он шепотом сказал кому-то: «Ничего, хорошо держится! Молодец, превосходно!» И больше уже ничего не было слышно.

Длинная фигура мелькнула мимо открытых дверей. Кто-то снял шляпу, поставил палку, вынул гребешок и расчесал перед зеркалом седые усы. Кто-то вошел, остановился и уставился на меня с удивлением.

— Иван Павлыч, дорогой!..

Он знал, что я должна приехать,— переписывались, и не было ничего неожиданного в том, что он нашел меня у Вали, но как будто только во сне могла я увидеть эту встречу, так мы бросились в объятия друг друга. Я не сдержалась, заплакала, и он тоже всхлипнул и полез в карман за платком.

— Что же не ко мне? — сердито спросил он и стал долго вытирать глаза, усы.

— Иван Павлыч, сегодня собиралась заехать!

Я одевалась за открытой дверцей шкафа, и мы говорили, говорили без конца, о том, как я летела, как была больна, о ленинградской блокаде, о нашем наступлении под Москвой... Теперь стало видно, как постарел Иван Павлыч, как покрылся морщинами его высокий лоб и на щеках появилась неровная, старческая краснота. Но он был еще статен, изящен.

В последний раз мы виделись в сороковом году. Но боже мой, как давно это было! Вдруг соскучившись по старику, мы нагрянули к нему с тортом и французским вином на Садовую-Триумфальную, в его одинокую, холостую квартиру. Как он был доволен, как смаковал вино, как они с Саней хохотали, вспоминая Гришу Фабера и трагедию «Настал час», в которой Гриша играл главную роль приемыша-еврея! До поздней ночи сидели мы у камина. То был другой мир, другое время!

— Постарел, да? — спросил он, заметив, что я все смотрю на него.

— Мы все постарели, Иван Павлыч, милый. А я?

Он помолчал. Потом сказал грустно:

— А ты, Катя, стала похожа на мать...

Был уже вечер. Валя зажег свою лампочку, но мы сразу же погасили ее — приятно было сидеть без затемнения у открытого окна, при мягком, падавшем из переулка вечернем свете. Там, в переулке, была легкая, прозрачная темнота, а у Вали — комнатная, совсем другая. Незаметно смеркалось, и уже не Ивана Павлыча я видела, а только его седые усы, и не Валю, а только его очки, поблескивающие при каком-то повороте. Это было мгновение тишины, когда с удивительной силой я почувствовала себя среди настоящих, верных на всю жизнь друзей. «Может быть, самое тяжелое уже позади,— сказала я себе,— раз так случилось, что эти люди, которые так любят меня,— раз они будут теперь вместе со мной? Раз такая тишина и так смутно видны в темноте эти добрые седые усы...»

Часть восьмая, рассказанная Саней Григорьевым

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ

Глава первая
УТРО

Катя сидела на балконе у Нины Капитоновны; сквозь сон я слышал их негромкие, чтобы не разбудить меня, голоса. Вчерашний вечер живо представился мне.

Ради приезда Нины Капитоновны впервые был вынесен в садик обеденный стол; мы долго ждали ее, и наконец она явилась, торжественная, строгая, в новом платье с буфами образца 1908 года и в ботинках с пуговицами и длиннейшими носами.

Как чудно рассказывала она об экономке Николая Антоныча, которая поставила на плиту свои грязные туфли! Как представляла в лицах поездку в собственной машине на новую квартиру — Николай Антоныч получил новую квартиру на улице Горького, в четыре комнаты, с газом и паровым отоплением! Она сказала голосом Николая Антоныча: «Выбирайте любую, Нина Капитоновна», и ответила своим голосом, с гордым выражением: «Мне, спасибо, Николай Антоныч, о зеленой декорации думать пора, а чужого от чужого не надо».

И я представил себе, как в Москве, в превосходной новой квартире, пользуясь светом, воздухом, газом и паровым отоплением, сидит старый человек и пишет все наоборот, то есть все белое называет черным, а все черное — белым.

Пора было вставать, четверть седьмого, но это было так приятно — лежать на спине с закрытыми глазами и слушать, как Катя ходит по старенькой дачке и сухие половицы осторожно скрипят у нее под ногами. Вот она постояла у моей двери — наверно, послушала,

сплю ли я, и подумала, что жалко будить. Вот пошла на кухню и сказала «научной няне», что, может быть, сегодня не стоит идти на базар, потому что все равно с десятичасовым я уеду.

Жена! Мы так часто разлучались, и я так привык представлять ее в воображении, что представил и сейчас, хотя она была рядом: в полосатом шелковом халатике и причесанную или, вернее, непричесанную, именно так, как она мне понравилась в то утро, когда я впервые увидел ее с этой небрежной, наскоро заколотой косой. Мы так часто разлучались, что каждый раз у нас все как бы начиналось сначала.

Половина седьмого. Она вошла на цыпочках и поцеловала меня:

— Ты сто лет спишь. Купаться пойдем?

— А хорошо?

Это я спросил о погоде.

— Очень.

— Тогда пойдем.

— На речку?

Речка была совсем близко, под косогором. Но мы любили купаться на озере и пошли на озеро, хотя времени было маловато.

Мало сказать, что погода была хороша,— за все лето не было такого прекрасного утра! Солнце как будто торопилось как можно скорее сделать все сияющим, великолепным. Там, на озере, оно уже сделало все великолепным и теперь, раскинувшись, наступало на нас, и белый ночной парок поспешно-испуганно таял, запутавшись в лесу среди маленьких елей.

Только одна осина осталась от мостков через Коровий ручей, которые мы с Петей смастерили в прошлое воскресенье; я перемахнул по этой осине, а Катя пошла вброд, и, боже мой, как я запомнил ее в эту минуту! Она шла, придерживая халатик, осторожно и с наслаждением пробуя ногою песчаное дно; полотенце скользнуло с плеча, и она ловко поймала его над самой водой.

Мы поднялись наверх, к старинному шведскому кладбищу, обогнули его — вот и озеро. Вдоль низкого, осененного ракитами берега голый, синий от холода мальчик тянул сетку — ловил раков, чудак! Кто же в восьмом часу ловит раков?!

Катя стала смеяться, когда я вытащил его из воды вместе с сеткой и прочел небольшую лекцию о ловле

раков, в частности голубых, которые идут исключительно на гнилое мясо. Здесь вообще была мелочь,— в Энске вот были раки!

Песок чуть дымился в тех местах, где солнце успело согреть его сквозь ветки ракиты. Здесь, под ракитами, была тень, а солнце — там, на озере, от берега несколько метров, и, как всегда, мы с Катей поплыли к солнцу, и стали «загорать» в воде с закинутыми под голову руками...

Почему я вновь начинаю свой рассказ именно с этого утра, которое ничем, кажется, не отличалось от любого другого воскресного утра? Потому, что такою ушла от меня прежняя жизнь, а на смену ей мгновенно возникла и по-своему распорядилась и мною, и Катей, и всеми нашими мыслями, чувствами и впечатлениями совсем другая...

Эта другая жизнь была война, и, быть может, я не стал бы писать о ней, если бы то, что произошло со мной на войне, не переплелось самым удивительным образом с историей капитана Татаринова и «Св. Марии».

Глава вторая
ОН

Со странным чувством невозможности передать то, что я вижу, вглядываюсь я в отрывочные картины первых недель войны.

Я вижу большую темную комнату крестьянской избы, стол, тускло освещенный огарком, завешенные плащ-палаткой окна. Дверь открывается, человек в расстегнутом кителе входит, шарит в печи, жадно ест. Это — Гриша Трофимов. Другой встает с койки и садится к столу рядом с ним. Это — Лури. И я слышу тихий разговор, от которого сердце начинает биться сильно и редко:

— На Ладоге был?

Ест и молча кивает Гриша.

— Ну и что?

— То самое.

— А на Званке?

Ест. Молчит. Был на Званке.

Это — первая ночь ленинградской блокады.

Я вижу вымпел с запиской, летящий через борт моего самолета,— так мы спасали людей, которые были уверены, что они находятся в окружении, и ошибались.

Я вижу первую могилу, которую мы украсили железными цветами из стабилизаторов и снарядов и над которой проносились как можно ниже, возвращаясь домой после боевых полетов.

И снова озеро встает передо мной — то самое, в сонной утренней рамке которого последним виденьем явилась прежняя жизнь. Теперь оно сумрачно, хмуро. Тускло блестит, точно налитая вровень с берегами, вода, сизый дым ползет по ее туманному зеркалу. Это горит подожженный немцами лес.

Вечерами мы выходим из подземного блиндажа на склоне горы. Катера стоят под ракитами, мы мчимся среди брызг, плеска и пены по темной воде. Из стены леса, как огромные морские птицы, выплывают навстречу нам самолеты. Это — озеро Л., наша третья и четвертая база.

Я вижу многое. Но все, что я вижу, как бы проходит передо мной на фоне карты, которая каждый день открывается под крыльями моего самолета,— карты, с ломающимися линиями фронта, с разливающейся все шире волной германского наступления.

Каждый день в часть прибывали новые летчики, все больше из ГВФ: с одними я работал еще на Севере, с другими — на Дальнем Востоке. Это были опытные пилоты, многие первого и второго класса, а трое даже «миллионеры», то есть налетавшие более миллиона километров, и забавно было наблюдать, с какими смешными ошибками становились военными эти штатские люди. Об этом мы говорили очень часто — и в столовой, и на дому, в землянке, где мы жили втроем: я с Лури и техник. Может быть, мы говорили об этом так часто потому, что молчаливо условились не говорить о «другом». О «другом» за нас говорили газеты.

В августе я с экипажем был переброшен в распоряжение ВВС Южного фронта.

Ночь была темная, «раменская», как назвал ее Лури. Моросил дождь, очень мелкий, переходивший в черно-белый туман, неподвижно стоявший над водою.

Темно — хоть выколи глаз! Я бы не нашел катера, если бы техник не помигал нам фонариком, догадавшись, что я заблудился.

Полковник подозвал меня, и мы немного постояли молча — в темноте мне чуть видно было его энергичное, с коротким, вздернутым носом, еще совсем молодое лицо. Говорить было, в сущности, не о чем. Но он все-таки спросил, взял ли я сабы (светящиеся бомбы). Я ответил, что взял. О сабах он спросил из вежливости, потому что на последнем разборе полетов я доказывал, что сабы во много раз увеличивают точность ночного бомбометания.

...Очевидно, Лури был не в духе, иначе он не настроился бы на эту унылую румынскую станцию. Я вспомнил, как он проснулся и не узнал меня, когда я разбудил его перед полетом. У него было усталое лицо, и, садясь на койке, он не сказал своей любимой цитаты из «Ваших крыльев»: «Если вы переутомлены, лучше не летайте, пока не отдохнете...»

От самого побережья прожектора устроили за нами световую погоню; их туманные блики то возникали, то расплывались в молочной бездне над нами. Это было еще полбеды. Мы шли в снегопаде, снег задувал в щит.

Теперь Лури ловит Констанцу, и черт знает какую ерунду передает эта самая Констанца! Посвистываешь и думаешь, а вокруг вырастают и клубятся темные горы. Думаешь и посвистываешь, а горы нужно обходить, а под нижней кромкой облаков не пройдешь — снегопад, леденеет машина. Посвистываешь и думаешь: «Вот видишь, а ты сердилась, что я ничего не пишу тебе о полетах».

Облака кончились именно тогда, когда стало казаться, что иначе и не бывает. Они не кончились, а как бы раздвинулись, и впереди открылся просторный коридор, наполненный утренним, перламутровым светом. На нижнем слое облаков была видна наша тень и на верхнем — тоже. Это было странно, хотя бы потому, что ни один предмет в природе не может, как известно, отбрасывать одновременно две тени. Кажется, я удивился, а может быть, и нет, потому что понял, что вторая тень вовсе не наша, а «мессера», который шел довольно высоко над нами. Хорошо, если бы он был один. Но за ним, как рыбы на солнце, блеснули второй и третий.

Согласно всем правилам мы должны были удрать от них возможно скорее. И мы бы удрали, если бы облака не остались где-то далеко позади в виде неподвижно-мрачного синего здания. Удирать было некуда, и уже — трр, трр! — точно камешки посыпались на плоскости, разбежались по кабине.

Это был самый обыкновенный, ничем не замечательный бой, и я не стану рассказывать о нем, тем более что он окончился очень скоро. Нам сразу удалось сбить один из «мессеров» — как он был в развороте, так и упал на землю. Два других сделали горку и, мешая друг другу, попытались пристроиться к хвосту нашего самолета. Это было, конечно, умно, но не очень, потому что мы были не такие люди, чтобы позволить заходить себе в хвост. Они зашли раз — и не вышло. Зашли другой — и чуть не попали под нашу «трассу». Короче говоря, мы отстреливались как могли, они отстали наконец, и я повел самолет по прямой; линия фронта была недалеко.

Легко сказать — я вел самолет по прямой. Четверть левой плоскости была снесена, баки пробиты. Я был ранен в ногу и в лицо, кровь заливала глаза.

...Странная слабость охватила меня. Кажется, именно в это мгновение я вспомнил детские страшные сны, в которых меня убивали, топили, и чувство счастья, когда проснешься — и жив.

«Но теперь — это была очень спокойная мысль,— теперь я уже не проснусь».

Должно быть, я потерял сознание, но ненадолго, потому что очнулся от звука собственного голоса, как будто стал говорить еще до того, как вернулось сознание. Я приказывал экипажу прыгать с парашютами. Радист и воздушный стрелок прыгнули, а Лури ворчливо сказал: «Ладно, ладно!», как будто речь шла о скучной прогулке, на которую он был готов согласиться только из уважения ко мне.

...Самое трудное было бороться с этим туманом, от которого закрывались глаза, слабели и падали руки. Кажется, только раз в тысячу лет мне удавалось справиться с ним, и тогда я понимал самое важное, то, что необходимо было исправить сию же минуту. Тысяча лет — и я с трудом вывел машину. Еще тысяча — и я увидел «юнкерсы», два «юнкерса», которые были много ниже меня и, как тяжелые, большие быки, неторопливо

подали нам навстречу. Это был, разумеется, конец, и они даже не торопились прикончить нас — я понял это с первого взгляда.

Лури прыгнул, они стали стрелять по нему. Убили? Потом вернулись, встали по сторонам и пошли рядом со мною.

...Какое лицо у этого немца — красивое или безобразное, старое или молодое?

Мне представилось, что я вижу и его и себя в эту минуту: себя — схватившегося слабыми руками за руль, с залитым кровью лицом, на распадающемся самолете. И его — поднявшего очки, смотрящего на меня с выражением холодного любопытства. Может быть, я сказал что-то Лури, забыв, что он прыгнул и что они, наверно, убили его. Немец стал проходить подо мною, плоскость с желтым крестом показалась слева. Я нажал ручку, дал ногой и бросил на эту плоскость машину.

Не знаю, куда пришелся удар,— вероятно, по кабине, потому что немец даже не раскрыл парашюта.

И вот огромное, великолепное чувство охватило меня. Жить! Я был ранен, я знал, что они добьют меня. Так нет же! Жить! Я видел землю, вот она, совсем близко, пашня и белая пыльная дорога.

Что-то горело на мне, реглан и сапоги, но я не чувствовал жара. Это было невозможно, но мне как-то удалось сделать перелом над самой землей. Я отстегнул ремни — и это было последнее, что мне удалось сделать в этот день, в эту неделю, в этот месяц, в эти четыре месяца... Но не станем забегать вперед.

Глава третья
ВСЕ, ЧТО МОГЛИ

Мне очень хотелось пить, и всю дорогу, пока они тащили меня в село, я просил пить и спрашивал о Лури. В селе мне дали ведро воды, и я не понял, почему женщины громко заплакали, когда я засунул голову в ведро и стал пить, ничего не видя и не слыша. Лицо у меня было опалено, волосы слиплись, нога перебита, на спине две широкие раны.

...Блаженное чувство становилось все шире, все тверже во мне. Я лежал у сарая, на сене, в деревенском дворе, и мне казалось, что это чувство идет от покалывания травок, от запаха сена. Меня привезли на старой белой лошади, она была поодаль привязана к тыну, и у меня навернулись слезы от счастья, когда я посмотрел на нее. Кажется, мы сделали все, что могли. Я не беспокоился о радисте и воздушном стрелке, только сказал, чтобы меня не увозили отсюда, пока они не придут. «Лури тоже жив! — с восторгом думалось мне.— Иначе не может быть, если мы так прекрасно отбились. Он жив, и сейчас я увижу его».

Я увидел его. Лошадь захрапела, рванулась, когда его принесли, и какая-то суровая старая женщина — единственная, которую я почему-то запомнил,— подошла и молча ткнула ее кулаком в морду.

У него было спокойное лицо, совсем нетронутое, только ссадина на щеке,— очевидно, проволокло парашютом, когда приземлился. Глаза открыты. Сперва я не понял, почему все сняли шапки, когда его опустили на землю. Давешняя старуха присела подле него и стала как-то устраивать руки...

А потом я трясся на телеге в санбат; какая-то другая, не деревенская, женщина держала меня за руку, щупала пульс и все говорила:

— Осторожнее, осторожнее.

А я удивлялся и думал: «Почему осторожнее? Неужели я умираю?» Наверно, я сказал это вслух, потому что она улыбнулась и ответила:

— Останетесь живы.

И снова тряслась и подпрыгивала телега, голова лежала на чьих-то коленях. Я видел Лури, лежавшего у крыльца с мертвыми сложенными руками, и рвался к нему, а меня не пускали.

Земля вставала то под левым, то под правым крылом. Какие-то люди толпились передо мной, я искал среди них Катю, я звал ее. Но не Катя, у которой становилось строгое выражение, когда я обнимал ее, вышла из нестройной туманной толпы и встала передо мною. Повернув голову, как птица, подняв очки, вышел он и уставился на меня с холодным вниманием.

— Ну, что,— сказал я этому немцу,— чья взяла? Я жив, я над лесом, над морем, над полем, над всей землей пролечу! А ты мертв! Я победил тебя!

Глава четвертая
«ЭТО ТЫ, СОВА!»

Нас везли в теплушках, только впереди были два классных вагона, и, должно быть, плохи были мои дела, если маленький доктор с умным, замученным лицом после первого же обхода велел перевести меня в классный. Я был весь забинтован — голова, грудь, нога — и лежал неподвижно, как толстая белая кукла. Санитары на станции переговаривались под нашими окнами: «Возьми у тяжелых». Я был тяжелый. Но что-то стучало, в голове или в сердце,— и мне казалось, что это жизнь стучит, и возится, и еще строит что-то слабыми, но цепкими руками.

Я познакомился с соседями. Один из них был тоже летчик, молодой, гораздо моложе меня. Мне не хотелось рассказывать, как я был ранен, а ему хотелось, и несколько раз я засыпал под его молодой глуховатый голос.

— Только я вышел из атаки, вижу — бензозаправщики. «Все»,— думаю. Прицелился, нажимаю, бью. «Довольно, думаю, а то врежусь, пожалуй». Отвернул — и тут меня что-то ударило. Отошел я от этого места, нажимаю на педаль, а ноги не чувствую. «Ну, думаю, оторвало мне ногу». А в кабину не смотрю, боюсь...

Он летал на «Чайке» и был ранен в районе Борушан, гораздо тяжелее, чем я,— так мне казалось. Потом я понял, что ему, наоборот, казалось, что я ранен тяжелее, чем он.

...Это были коротенькие мирные пробуждения, когда, слушая Симакова — так звали моего соседа,— я смотрел на медленно проходящую за окнами осеннюю степь, на белые мазанки, на тяжелые тарелки подсолнухов в огородах у железнодорожных будок. Все, кажется, было в порядке: санитары приносили и шумно ставили на пол ведра с супом, койка покачивалась, следовательно, мы двигались вперед, хотя и медленно, потому что то и дело приходилось пропускать идущие на фронт составы с вооружением.

Но были и другие пробуждения, совсем другие! Наш поезд был уже не только военно-санитарный — вот что я понял во время одного из этих томительных пробуждений. Платформы со станками были прицеплены к

теплушкам, кухня сломалась, и нужно было ждать станции, чтобы купить молока и помидоров. Маленький доктор кричал надорванным голосом и грозил кому-то револьвером. На площадках, на буферах сидели со своими узлами женщины из Умани, Винницы, и «души не хватало», как сказал один санитар, чтобы высадить этих женщин, потрясенных, потерявших все, бесчувственных от горя.

Затерянный где-то в огромной, сплетающейся сетке магистралей, наш ВСП уже не шел по назначению, а отступал вместе с народом.

...Большие, синие, твердые, как камни, мухи влетали в окна, и не согнать их было с загнивающих, не менявшихся уже третьи сутки повязок,— вот что увидел я, проснувшись вновь от жары, от тоски. Был полдень, мы стояли в поле. Босоногая девчонка с лукошком помидоров вышла из помятого квадрата пшеницы, который был виден из моего окна; несколько легкораненых бросились к ней, она остановилась и со всех ног побежала назад, роняя свои помидоры.

...Прошло всего несколько дней, как с борта моего самолета я видел то, чего не видел — так мне казалось — ни один участник войны на земле. Но как бы в алгебраических формулах раскрывалась тогда передо мной картина нашего отступления. Теперь эти формулы ожили, превратились в реальные факты.

Не с высоты шести тысяч метров теперь я видел наше отступление! Я сам отступал, измученный ранами, жаждой, жарой и еще более — невеселыми мыслями, от которых так же не мог отделаться, как от этих синих, твердых мух, садившихся на бинты с отвратительным, громким жужжаньем.

Это было под вечер, и мы, очевидно, уже не стояли на месте, потому что моя «люлька» ритмично покачивалась в такт движениям вагона. Заходящее солнце косо смотрело в окно, и в его красноватом луче был ясно виден пыльный, тяжелый, пропахший йодом воздух. Кто-то стонал, негромко, но противно,— даже не стонал, а гудел сквозь зубы, однотонно, как зуммер. Я окликнул соседа. Нет, не он. Но где я слышал этот унылый голос? И почему я так стараюсь вспомнить, где я его слышал?

И вдруг школьные парты выстроились передо мной, и, как наяву, я увидел много живых, детских, смеющихся лиц. Урок интересный — о нравах и обычаях чукчей. Но разве до урока, если пари заключено, если рыжий мальчик с широко расставленными глазами держит меня за палец и хладнокровно режет его перочинным ножом.

— Ромашка! — сказал я громко.

Он замолчал — конечно, от удивления.

— Это ты, Сова?

Он долго пробирался под койками, между ранеными, лежавшими на полу, и наконец вынырнул где-то среди торчавших забинтованных ног.

— В чем дело? — глядя прямо на меня и не узнавая, осторожно спросил он.

Мне показалось, что он стал немного больше похож на человека, хотя все еще, как говорила тетя Даша, «не страдал красотой». Во всяком случае, от его прежней мнимой внушительности ничего не осталось. Он был тощ и бледен, уши торчали, как у Петрушки, левый глаз осторожно косил.

— Не узнаёшь?

— Нет.

— А ну подумай.

Он никогда не умел по-настоящему скрывать своих чувств, и теперь они стали проходить передо мной по порядку или, точнее, в полном беспорядке. Недоумение. Испуг. Ужас, от которого задрожали губы. Снова недоумение. Разочарование.

— Позволь, но ты же убит! — пробормотал он.

Глава пятая
СТАРЫЕ СЧЕТЫ

В старинных русских песнях поется о доле, и, хотя я совсем не фаталист, это слово невольно пришло мне в голову, когда в газете «Красные соколы» я прочел заметку о собственной смерти. Я помню ее наизусть:

«Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь

атакован, на этот раз двумя «юнкерсами». На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил «юнкерс». Летчики энской части всегда будут хранить память о бесстрашных соколах — коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке-радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну».

Надо же было какому-то военному корреспонденту — это я узнал лишь летом 1943 года — явиться в деревню П., как только меня увезли! Колхозники видели воздушный бой, он расспросил их. Он сфотографировал остатки сгоревшей машины. Ему сказали, что я безнадежен.

Потому ли, что я действительно только чудом спасся от смерти, или потому, что впервые в жизни пришлось мне прочитать собственный некролог, но эта заметка произвела на меня оскорбительное впечатление. Мысли мои вдруг разбежались. Катя представилась мне. Не та Катя, которая — я это знал,— вдруг проснувшись, встает с постели и бродит по комнате, думая обо мне. Нет, другая, мрачная, постаревшая Катя, которая прочтет эту заметку и положит газету на стол и сделает еще что-то, как будто ничего не случилось, быть может, заплетет и распустит косу с неподвижным лицом — и вдруг покатится на пол, как кукла...

— Так,— сказал я.— Бывает.

И я смял газету и швырнул ее в окно. Ромашов ахнул. Все время, пока мы разговаривали, он поглядывал в окно,— поезд стоял. Потом подобрал газетку — очевидно, ему доставляло удовольствие хоть читать, что я умер, раз уж собственными глазами он убедился в обратном.

— Итак, ты жив! Я не верю глазам! Дорогой...

Это было сказано: «дорогой».

— Черт возьми, как я рад! Это совпадение? Однофамилец? Впрочем, не все ли равно! Ты жив, это основное.

Он стал спрашивать, куда я ранен, тяжело ли, задета ли кость, и так далее. И я снова разочаровал его, сказав, что ранен легко и что знакомый врач устроил меня в классный вагон.

— Но воображаю, как будет расстроена Катя! — сказал он.— Ведь эта заметка могла дойти до нее.

Я сказал: «Да, могла» — и стал расспрашивать его о Москве. Ромашов мельком сказал, что нет еще и месяца, как он из Москвы.

Не только что разговаривать с ним, и притом самым мирным образом, но с первого слова дать ему понять, что между нами ничего не изменилось,— вероятно, именно так я должен был поступить. Но человек — странное существо, это старая новость. Я смотрел на его напряженное, неестественно бледное лицо, и ничто, кроме привычного презрения, не шевельнулось во мне. Разумеется, он как был, так и остался в моих глазах подлецом. Но в эту минуту он представился мне каким-то давно знакомым, привычным, так сказать «своим», подлецом!

И он понял, все понял! Он заговорил о Кораблеве — знаю ли я, что, несмотря на свои шестьдесят три года, старик записался в народное ополчение и что в «Вечерней Москве» по этому поводу была помещена заметка? Он рассказал — с ироническим оттенком — о Николае Антоныче, который получил не только новую квартиру, но и научную степень. Какую же? Доктора географических наук — и без защиты диссертации, что, по мнению Ромашова, было почти невозможно.

— И знаешь, кто сделал ему карьеру? — со злобой, с блеском в глазах сказал Ромашов.— Ты.

— Я?

— Да. Он — Татаринов, а ты сделал эту фамилию знаменитой.

Он хотел сказать, что моя работа по изучению экспедиции «Св. Марии» впервые привлекла общее внимание к личности капитана Татаринова и что Николай Антоныч воспользовался тем, что он носит ту же фамилию. И нужно отдать Ромашову должное — он выразил эту мысль как нельзя короче.

Впрочем, меньше всего мне хотелось разговаривать с ним на эту тему. Он понял это и заговорил о другом.

— Знаешь, кого я встретил на Ленинградском фронте? — сказал он.— Лейтенанта Павлова.

— А кто такой лейтенант Павлов?

— Вот тебе и на! А он-то утверждал, что знает тебя с детства. Такой огромный, плечистый парень.

Но я никак не мог догадаться, что этот огромный, плечистый парень и есть тот самый Володя с детскими

синими глазами, который писал стихи и катал меня на собаках Буське и Тоге.

— Да боже мой, к нему отец приезжал, старый доктор!

— Иван Иваныч!

Даже от Ромашова мне было приятно узнать, что доктор Иван Иваныч жив и здоров и даже служит на флоте. Какой молодец!

Несколько раз Ромашов упомянул, что он был на Ленинградском фронте. Катя осталась в Ленинграде,— я беспокоился о ней. Но не хватало еще, чтобы я спрашивал у Ромашова о Кате!

Вообще теперь, когда он уже немного привык к тому, что я жив, ему смертельно захотелось рассказать о себе. Он уже, кажется, гордился тем, что встретил меня в ВСП, что он ранен так же, как и я, и так далее.

Война застала его в Ленинграде заместителем директора по хозяйственной части одного из институтов Академии наук. У него была броня, но он отказался, тем более что весь институт до последнего человека записался в народное ополчение. Под Ленинградом он был ранен и остался в строю. Прежнее начальство, которое теперь стало крупным военным начальством, вызвало его в Москву. Он получил новое назначение и не доехал — под Винницей разбомбили поезд. Взрывной волной его ударило о телеграфный столб, и теперь всю левую сторону тела время от времени начинает «невыносимо ломить».

— Ведь я во сне стонал, когда ты услышал,— объяснил он.— И доктора не знают, что делать со мной, решительно не знают.

— Ну, а теперь признавайся,— сказал я строго,— что ты соврал и что правда?

— Абсолютно все правда.

— Ну да!

— Ей-богу! Вообще прошли те времена, когда нам нужно было как-то хитрить друг перед другом.

Он сказал «нам».

— Теперь, брат, кончено. У меня одна жизнь, у тебя — другая! Что нам делить теперь? Ты опять не поверишь, но, честное слово, я иногда удивляюсь, вспоминая историю, которая поссорила нас. В сравнении с тем, что происходит на наших глазах, она представляется просто вздором.

— Еще бы!

— И довольно об этом!

Он вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, не был уверен — согласен ли я, что об «этом» довольно.

Но я был согласен. Не до старых счетов было мне в эти дни! Тоска томила меня. То думал я о том, что стал жалок, беспомощен со своей перебитой ногой перед лицом гигантской тени, которая надвинулась на нашу страну и вот теперь идет за нами, догоняет наш заблудившийся поезд. То госпиталь представлялся мне: день тянется бесконечно, однообразно, сестра в тапочках заходит и ставит на столик цветы, и, боже мой, как я не хотел всей душой, изо всех сил этого покоя, этих цветов на столе, этих бесшумных госпитальных шагов!

То мысль, страшнее которой я уже ничего не мог придумать, приходила ко мне. Эта мысль была: «Я больше не буду летать». Мне сразу становилось жарко, я начинал дышать открытым ртом, и сердце уходило так далеко, откуда, кажется, уже невозможно вернуться.

Глава шестая
ДЕВУШКИ ИЗ СТАНИСЛАВА

Выше я рассказал о том, как раненые бросились подбирать помидоры. Это было одно из самых горьких и томительных моих пробуждений. И вот две девушки — тогда я увидел их впервые,— одетые во что-то штатское, вдруг появились в толпе. Они даже ничего не сделали, а только что-то сказали одному и другому быстро — певуче, по-украински,— и раненые молча разошлись по вагонам.

Это были студентки педтехникума из Станислава — обе крупные, черные, с низкими бровями, с низкими голосами и «домашние», несмотря на свою решительную, сильную внешность. Только что присоединившись к нам, они достали воды и бережно раздали ее, по кружке на брата. Они принесли откуда-то не бог весть что — лукошко калины, но как приятно было сосать горьковатую ягоду, как она освежала!

Почему среди тысяч людей, прошедших передо мной в те дни, я остановился на этих девушках, о которых

даже ничего не знаю, кроме того, что одну из них звали Катей!

Потому что... Но я снова забегаю вперед.

Я лежал у окна спиной к движению. Уходящая местность открывалась передо мной, и поэтому я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. Ничего особенного, средние танки! Открыв люки, танкисты смотрели на нас. Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. Потом люки закрылись, и это была последняя минута, когда еще невозможно было предположить, что по санитарному эшелону, в котором находилось, вероятно, не меньше тысячи раненых, другие, здоровые люди могут стрелять из пушек.

Но именно это и произошло.

С железным скрежетом сдвинулись вагоны, меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на раненую ногу. Какой-то парень, гремя костылями, с ревом бросился вдоль вагона; его двинули, и он ткнулся в угол рядом со мной. Я видел через окно, как первые раненые, выскочив из теплушек, бежали и падали, потому что танки стреляли по ним шрапнелью.

Мой сосед Симаков смотрел рядом со мной в окно. У него было белое лицо, когда, одновременно обернувшись, мы взглянули в глаза друг другу.

— Надо вылезать!

— Пожалуй,— сказал я.— Для этого нужны пустяки — ноги.

Но все же мы сползли кое-как с наших коек, и толпа раненых вынесла нас на площадку.

Никогда не забуду чувства, с необычайной силой охватившего меня, когда, преодолевая мучительную боль, я спустился с лесенки и лег под вагон. Это было презрение и даже ненависть к себе, которые я испытал, может быть, впервые в жизни. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Другие бежали и падали с криком, а я сидел под вагоном, беспомощный, томящийся от бешенства и боли.

Я вытащил пистолет — не для того чтобы застрелиться, хотя среди тысячи мыслей, сменивших одна другую, может быть, мелькнула и эта. Кто-то крепко взял меня за кисть.

Это была одна из давешних девушек, именно та, посмуглее, которую звали Катей. Я показал ей на Симакова, который лежал поодаль, прижавшись щекой

к земле. Она мельком взглянула на него и покачала головой. Симаков был убит.

— К черту, я никуда не пойду! — сказал я второй девушке, которая вдруг появилась откуда-то, удивительно неторопливая среди грохота и суматохи обстрела.— Оставьте меня! У меня есть пистолет, и живым они меня не получат.

Но девушки схватили меня, и мы все втроем скатились под насыпь. Желтый, похожий на китайца, Ромашов мелькнул где-то впереди в эту минуту. Он полз по той же канаве, что и мы; мокрая, глинистая канава тянулась вдоль полотна: сразу за насыпью начиналось болото.

Девушкам было тяжело — я несколько раз просил оставить меня. Кажется, Катя крикнула Ромашову, чтобы он подождал, помог, но он только оглянулся и снова, не прижимаясь к земле, пополз на четвереньках, как обезьяна.

Кое-как перебравшись через болото, мы залегли в маленькой осиновой роще — девушки, я, Ромашов и два бойца, присоединившиеся к нам по дороге. Они были легко ранены: один в правую, другой в левую руку.

Глава седьмая
НИКТО НЕ УЗНАЕТ

И послал этих двух бойцов в разведку, и, вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоит до сорока машин, причем откуда-то взялись уже и походные кухни. Очевидно, танки, обстрелявшие наш эшелон, принадлежали к большому десанту.

— Уйти, конечно, можно. Но, поскольку капитан не может самостоятельно двигаться, лучше воспользоваться дрезиной.

Дрезину они нашли под насыпью у разъезда.

Помнится, именно в это время, когда мы стали обсуждать, можно ли поднять дрезину и поставить ее на рельсы, Ромашов лег на спину и начал стонать и жаловаться на сильные боли. Возможно, что у него действительно начался припадок, потому что, когда девушки расстегнули его гимнастерку, у него оказалась совершенно красной левая половина тела. Прежде я

никогда не слыхал о подобных контузиях. Так или иначе, но в таком состоянии он, разумеется, не мог идти с бойцами к разъезду. Пошли девушки — все такие же неторопливые, решительные, не спеша переговариваясь по-украински низкими, красивыми голосами.

И мы с Ромашовым остались одни в маленькой мокрой осиновой роще.

Притворялся ли он или ему действительно плохо? Пожалуй, не притворялся. Несколько раз он дернулся, как припадочный, потом погудел и затих. Я сказал:

— Ромашов!

Он молча лежал на спине с высоко поднятой грудью, и у него был совершенно мертвый, белый нос. Я снова окликнул его, и он отозвался таким слабым голосом, как будто уже побывал на том свете и теперь без всякого удовольствия возвращается в эту рощицу, находящуюся в районе действий немецкого десанта.

— Здорово схватило! — стараясь улыбнуться, пробормотал он.

Он поднял веки и с трудом привстал, машинально снимая с лица налипшие листья осины...

Мне трудно рассказать о том, как прошел этот день, вероятно, потому, что, несмотря на всю сложность положения, он был довольно скучный, в особенности по сравнению с тем, что произошло наутро. Мы ждали и ждали без конца. Я лежал под разваленной поленницей на куче прошлогодних листьев. Ромашов сидел, как турок, поджав под себя ноги, и, кто знает, о чем он думал, полузакрыв птичьи глаза и положив руки на худые колени.

Роща была сырая, а тут еще недавно прошел дождь, и повсюду — на ветках, на паутине, дрожащей от тяжести,— блестели и глухо падали крупные капли. Таким образом, мы не страдали от жажды.

Раза два заглянуло к нам солнце. Сначала оно было справа от нас, потом, описав полукруг, оказалось слева,— стало быть, прошло уже часа три, как бойцы и девушки отправились налаживать дрезину.

Уходя, та, которую звали Катей, сунула мне под голову свой заплечный мешок. Очевидно, в мешке были сухари: что-то хрустнуло, когда я кулаком подбил мешок повыше. Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал.

— Они не вернутся,— через минуту нервно сказал он.— Они бросили нас.

Он оправился от своей дурноты и уже разгуливал, рискуя выдать нас, потому что рощица была редкая, а до полотна открывалась пустынная местность.

— Это ты виноват,— снова сказал он, вернувшись и садясь на корточки подле меня.— Ты отправил их всех. Нужно было, чтобы одна осталась.

— В залог?

— Да, в залог. А теперь пиши пропало! Так они и вернутся за нами! Это ручная дрезина, она вообще может взять только четырех человек.

Вероятно, у меня было плохое настроение, потому что я вытащил пистолет и сказал Ромашову, что убью его, если он не перестанет ныть. Он замолчал. Морда у него искривилась, и он, кажется, с трудом удержался, чтобы не заплакать.

Вообще говоря, плохо было дело! Уже первые сумерки крадучись стали пробираться в рощу, а девушки не возвращались. Разумеется, я и мысли не допускал, что они могли уехать на дрезине без нас, как это подло предполагал Ромашов. Пока лучше было не думать, что они не вернутся.

Лежа на спине, я смотрел в небо, которое все темнело и уходило от меня среди трепещущих жидких осин. Я не думал о Кате, но что-то нежное и сдержанное прошло в душе, и я почувствовал: «Катя». Это был уже сон, и, если бы не Катя, я прогнал бы его, потому что нельзя было спать,— я это чувствовал, но еще не знал почему. Испания почудилась мне или мое письмо из Испании — что-то очень молодое, перепутанное, не бои, а крошечные фруктовые садики под Валенсией, в которых старухи, узнав, что мы русские, не знали, куда нас посадить и что с нами делать. «Так что все-таки помни,— так я писал Кате, хотя чувствовал, что она рядом со мной,— ты свободна, никаких обязательств».

Мне было страшно расстаться с этим сном, хотя и холодно было промокшей ноге, хотя далеко сползла с плеча и подмялась шинель. Я держал Катю за руки, и не отпускал этот сон, но уже случилось что-то страшное, и нужно было заставить себя проснуться.

Я открыл глаза. Освещенный первыми лучами солнца, туман лениво бродил между деревьями. У меня

было мокрое лицо, мокрые руки. Ромашов сидел поодаль в прежней сонно-равнодушной позе. Все, кажется, было, как прежде, но все было уже совершенно другим.

Он не смотрел на меня. Потом посмотрел — искоса, очень быстро, и я сразу понял, почему мне так неудобно лежать. Он вытащил из-под моей головы мешок с сухарями. Кроме того, он вытащил флягу с водкой и пистолет.

Кровь бросилась мне в лицо. Он вытащил пистолет!

— Сейчас же верни оружие, болван! — сказал я спокойно.

Он промолчал.

— Ну!

— Ты все равно умрешь,— сказал он торопливо.— Тебе не нужно оружие.

— Умру я или нет, это уж мое дело. Но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд. Понятно?

Он стал коротко, быстро дышать:

— Какой там полевой суд! Мы одни, и никто ничего не узнает. В сущности, тебя уже давно нет. О том, что ты еще жив, ничего не известно.

Теперь он в упор смотрел на меня, и у него были очень странные глаза — какие-то торжественные, широко открытые. Может быть, он помешался?

— Знаешь что? Глотни-ка из фляги,— сказал я спокойно,— и приди в себя. А уже потом мы решим — жив я или умер.

Но Ромашов не слушал меня:

— Я остался, чтобы сказать, что ты мешал мне всегда и везде. Каждый день, каждый час! Ты мне надоел смертельно, безумно! Ты мне надоел тысячу лет!

Безусловно, он не был вполне нормален в эту минуту. Последняя фраза «надоел тысячу лет» убедила меня.

— Но теперь все кончено, навсегда! — в каком-то самозабвении продолжал Ромашов.— Все равно ты умер бы: у тебя гангрена. Теперь ты умрешь скорее сейчас, вот и все.

— Допустим! — Между нами было не больше трех шагов, и, если удачно бросить костыль, возможно, я мог

бы оглушить его. Но я еще говорил спокойно.— Но зачем же ты взял планшет? Там мои документы.

— Зачем? Чтобы тебя нашли просто так. Кто? Неизвестно. (Он пропускал слова.) Мало ли, валяется чей-то труп. Ты будешь трупом,— сказал он надменно,— и никто не узнает, что я убил тебя!

Теперь эта сцена представляется мне почти фантастической. Но я не изменил и не прибавил ни слова.

Глава восьмая
В ОСИНОВОЙ РОЩЕ

Мальчиком я был очень вспыльчив и прекрасно помню то опасное чувство наслаждения, когда я давал себе полную волю. Именно с этим чувством, от которого уже начинала немного кружиться голова, я слушал Ромашова. Нужно было приказать себе стать совершенно спокойным, и я приказал, а потом незаметно отвел руку за спину и положил ее на костыль.

— Имей в виду, что я успел написать в часть,— сказал я ровным голосом, который удался мне сразу.— Так что на эту заметку ты рассчитываешь напрасно.

— А эшелон?..

С тупым торжеством он взглянул на меня. Он хотел сказать, что после обстрела ВСП нет ничего легче, как объяснить мое исчезновение. В эту минуту я понял, что он очень давно, может быть со школьных лет, желал моей смерти.

— Допустим. Но, как ни странно, ты ничего не выиграешь на этом,— сказал я что-то такое — все равно что, лишь бы затянуть время.

Поленница мешала замахнуться. Нужно было незаметно отодвинуться от нее и ударить сбоку, чтобы вернее попасть в висок.

— Выиграю я или нет — это не имеет значения! Ты все равно проиграл. Сейчас я застрелю тебя. Вот!

И он вытащил мой пистолет.

Если бы я поверил, что он действительно может застрелить меня, возможно, что он бы решился. В таком азарте я еще не видел его ни разу. Но я просто плюнул ему в лицо и сказал:

— Стреляй!

Боже мой, как он завыл и закрутился, заскрипел и даже защелкал зубами! Он был бы страшен, если бы я не знал, что за этими штуками нет ничего, кроме трусости и нахальства. Борьба с самим собой — выстрелить или нет? — вот что означал этот дикий танец. Пистолет жег ему руку, он все наставлял его на меня с размаху и дрожал, так что я стал бояться в конце концов, как бы он нечаянно не нажал собачку.

— Мерзавец! — закричал он.— Ты всегда мучил меня! Если бы ты знал, кому ты обязан своей жизнью, ничтожество, подлец! Если бы я мог, боже мой! И зачем, зачем тебе жить? Все равно ногу отнимут. Ты больше не будешь летать.

Это может показаться смешным, но из всех его идиотских ругательств самыми обидными показались мне именно слова о том, что я больше не буду летать.

— Можно подумать, что я больше всего мешал тебе в воздухе,— сказал я, чувствуя, что у меня страшный голос, и все еще стараясь говорить хладнокровно.— А на земле мы были Орестом и Пиладом.

Теперь он стоял боком ко мне да еще прикрыв левой ладонью глаза, как бы в отчаянии, что никак не может уговорить меня умереть. Минута была удобная, и я бросил костыль. Нужно было метнуть его как копье, то есть сильно откинуться, а потом послать все тело вперед, выбросив руку. Я сделал все, что мог, и попал, но, к сожалению, не в висок, а в плечо, и кажется, не особенно сильно.

Ромашов остолбенел. Как кенгуру, он сделал огромный неуклюжий прыжок. Потом обернулся ко мне.

— Ах, так! — сказал он и выругался.— Хорошо же!

Не торопясь, он уложил мешки. Он связал их, чтобы было удобно нести, и надел один на правую, другой на левую руку. Не торопясь, он обошел меня. Он наклонился, чтобы поднять с земли какую-то ветку. Помахивая ею, он пошел по направлению к болоту, и через пять минут уже среди далеких осин мелькала его сутулая фигура. А я сидел, опершись руками о землю, с пересохшим ртом, стараясь не крикнуть ему: «Ромашов, вернись!», потому что это было, разумеется, невозможно.

Глава девятая
ОДИН

Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненного, в лесу, в двух шагах от расположения немецкого десанта — я не сомневаюсь в том, что именно это было тщательно обдумано накануне. Все остальное Ромашов делал и говорил в припадке вдохновения, очевидно надеясь, что ему удастся испугать и унизить меня. Ничего не вышло из этой попытки, и он ушел, что было вполне равносильно, а может быть, даже и хуже убийства, на которое он не решился.

Я встал. Костыли были разной высоты. Я сделал шаг. Это была не та боль, которая без промаха бьет куда-то в затылок и от которой теряют сознание. Но точно тысячи дьяволов рвали мою ногу на части и скребли железными скребками едва поджившие раны на спине. Я сделал второй и третий шаг.

— Что, взяли? — сказал я дьяволам.

И сделал четвертый.

Солнце стояло уже довольно высоко, когда я добрался до опушки, за которой открылось давешнее болото, пересеченное единственной полоской примятой, мокрой травы. Красивые зеленые кочки-шары виднелись здесь и там, и я вспомнил, как они вчера переворачивались у девушек под ногами.

Какие-то люди ходили по насыпи — свои или немцы? Наш поезд еще горел; бледный при солнечном свете огонь перебегал по черным доскам вагонов.

Может быть, вернуться к нему? Зачем? Раскаты орудийных выстрелов донеслись до меня, глухие, далекие и как будто с востока. Ближайшей станцией, до которой нам оставалось еще километров двадцать, была Щеля Новая. Там шел бой — следовательно, были наши. Туда я и направился, если можно так назвать эту муку каждого шага.

Роща кончилась, и пошли кусты с сизо-черными ягодами, название которых я забыл, похожими на чернику, но крупнее. Это было кстати — больше суток я ничего не ел. Что-то неподвижно-черное лежало в поле за кустами, должно быть мертвый, и всякий раз, когда, навалившись на костыли, я тянулся за ягодой, этот мертвый почему-то беспокоил меня. Потом я забыл о нем — и снова вспомнил с неприятным чувством,

от которого даже дрожь прошла по спине. Несколько ягод упало в траву. Я стал осторожно опускаться, чтобы найти их, и точно игла кольнула меня прямо в сердце: это была женщина. Теперь я шел к ней как только мог быстрее.

Она лежала на спине с раскинутыми руками. Это была не Катя, другая. Пули попали в лицо. Красивые черные брови были сдвинуты с выражением страдания.

Кажется, именно в это время я стал замечать, что говорю сам с собой, и притом довольно странные вещи. Я вспомнил, как называется та сизо-черная ягода, похожая на чернику,— гонобобель, или голубика,— и страшно обрадовался, хотя это было не бог весть какое открытие. Я стал вслух строить предположения о том, как была убита эта девушка: вероятнее всего, она вернулась за мной, и немцы с насыпи дали по ней очередь из автомата. Я сказал ей что-то ласковое, стараясь ее обнадежить, как будто она не была мертва, безнадежно мертва, с низкими, страдальчески сдвинутыми бровями.

Потом я забыл о ней. Я шел куда-то и болтал, и мне ужасно не нравилось, что я так странно болтаю. Это был бред, подступивший удивительно незаметно, с которым я уже не боролся, потому что бороться нужно было только с одним непреодолимым желанием — отшвырнуть костыли, натершие мне под мышками водяные мозоли, и опуститься на землю, которая была покоем и счастьем.

...Должно быть, я ничего не видел вокруг себя задолго до того, как потерял сознание,— иначе откуда мог бы появиться рядом с моей головой этот пышный бледно-зеленый кочан капусты? Я лежал в огороде и с восторгом смотрел на кочан. Вообще все было бы превосходно, если бы пугало в черной изодранной шляпе не описывало медленные круги надо мной. Ворона, сидевшая на его плече, кружилась вместе с ним, и я подумал, что, если бы не эта госпожа с плоско мигающим глазом, все на свете действительно было бы превосходно. Я закричал на нее, но таким беспомощно-хриплым голосом, что она только посмотрела на меня и равнодушно шевельнула крыльями, точно пожала плечами.

Да, все было бы превосходно, если бы я мог остановить этот медленно кружащийся мир. Может быть,

тогда мне удалось бы рассмотреть рубленый некрашеный домик за огородом, крыльцо и во дворе высокую палку колодца. То темнело, то светлело одно из окон, и, кто знает, может быть, мне удалось бы увидеть того, кто ходит по дому и тревожно смотрит в окно.

Я встал. До порога было шагов сорок — пустяки в сравнении с тем расстоянием, которое я прошел накануне. Но дорого достались мне эти сорок шагов! Без сил упал я на крыльцо, загремев костылями.

Дверь приоткрылась. Мальчик лет двенадцати стоял на одном колене за табуретом. Лежа на крыльце, я не сразу различил его в глубине темноватой комнаты с низким потолком и большими двухэтажными нарами, отделенными ситцевой занавеской. Он целился прямо в меня, даже зажмурил глаза и крепко прижался щекой к прикладу.

— Вот что: нужно мне помочь,— сказал я, стараясь остановить эту комнату, которая уже начала вокруг меня свое проклятое медленное движение,— я раненый летчик из эшелона...

— Кирилл, отставить! — сказал мальчик с ружьем.— Это наш.

Мне показалось, что он раздвоился в эту минуту, потому что еще один совершенно такой же мальчик осторожно выглянул из-за полога. В руке он держал финский нож. Он еще пыхтел и моргал от волнения.

Глава десятая
МАЛЬЧИКИ

Я плохо помню то, что было потом, и дни, проведенные у мальчиков, представляются мне в каких-то клубах пара. Пар был самый реальный, потому что большой чайник с утра до вечера кипел на таганчике в русской печке. Но был еще и другой, фантастический пар, от которого я быстро и хрипло дышал и обливался пóтом. Иногда он редел, и тогда я видел себя на постели, с ногой, под которую была положена гора разноцветных подушек. Это сделали мальчики, чтобы кровь отлила от ран. Я уже узнал, что их зовут Кира и Вова, что они сыновья стрелочника Ионы Петровича Лескова, что отец накануне ушел на станцию, а им приказал

запереться и никого не пускать. Они были близнецами — и это я превосходно знал, но все-таки пугался, когда видел их вместе: они были совершенно одинаковые, и это снова было похоже на бред.

...Точно два человека боролись во мне — один веселый, легкий, который старался припомнить и живо представить себе все самое хорошее в жизни, и другой — мрачный и мстительный, не забывающий обид, томящийся от невозможности отплатить за унижение.

То представлялось мне, как высокий бородатый человек, такой замерзший, что он даже не в силах запереть за собой дверь, входит в избу, где живем мы с сестрой. Но это не доктор Иван Иваныч. Это я. Без сил я падаю на крыльцо, дверь распахивается, мальчики целятся в меня, а потом говорят: «Это наш».

И все мне казалось, что они потому отнеслись ко мне так сердечно, что когда-то, много лет назад, мы с сестрой помогли доктору — одинокие, заброшенные дети в глухой, занесенной снегом деревне.

То видел я себя с оскаленными от злобы зубами, с пистолетом в руке, под вагоном. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Что же я сделал, в чем провинился, что пропустил самое важное, самое необходимое в жизни? Как случилось, что эти люди пришли к нам и осмелились стрелять в раненых, точно не было на свете ни справедливости, ни чести, ни того, чему я учился в школе, ни того, что я с детства привык уважать и любить?

Я старался ответить на этот вопрос и не мог, потому что у меня пропадало дыхание, и мальчики с беспокойством глядели на меня и всё говорили, что, если бы пришел отец, он бы что-то сделал со мной и мне сразу стало бы лучше.

И отец пришел. Без сомнения, это был он, такой же неуклюжий, как мальчики, с мрачным лицом и сияющими голубыми глазами. Они сияли в ту минуту, когда, опустив руки и сгорбившись, он остановился подле постели.

— Десант разбит! — сказал он.— Мы окружили их у Щели Новой и уничтожили всех до одного.

Потом он замолчал, уставясь на меня исподлобья, и я подумал, что, должно быть, плохи мои дела, если на меня смотрят такими добрыми глазами, если у меня спрашивают имя и отчество, фамилию и звание и,

вздохнув, прикалывают к стене — чтобы не затерялся — листок бумаги. Но это еще не беда, пусть прикалывает, все равно я не стану смотреть на этот листок. И, взяв стрелочника за руку, я начинаю с жаром рассказывать о том, как встретили меня его сыновья. Может быть, я рассказываю слишком долго и немного путаюсь и повторяюсь, потому что он кладет мне на лоб что-то холодное и просит, чтобы я непременно уснул:

— Усните, усните!

Я знаю, что он будет доволен, если мне удастся уснуть, и закрываю глаза и притворяюсь, что сплю. Но картина, которую я нарисовал перед ним, остается — где-то в бесконечной перспективе, между раздвинутых стен.

Тысячи маленьких домов представляются мне. Тысячи мальчиков стоят на коленях перед табуретами, на которых лежат тысячи ружей. Тысячи других прячутся за ситцевыми занавесками с ножами в руках. От горизонта до горизонта, в каждом доме в глубине темноватых комнат мальчики ждут врага.

Глава одиннадцатая
О ЛЮБВИ

Если сравнить, как это делают поэты, жизнь с дорогой, то можно сказать, что на самых крутых поворотах этой дороги я всегда встречал регулировщиков, которые указывали мне верное направление. Этот поворот отличался от других лишь тем, что меня выручил стрелочник, то есть профессиональный регулировщик.

Двое суток я пролежал в его доме, то приходя в себя, то снова теряя сознание, и, открывая глаза, неизменно видел этого мрачного человека, который стоял у моей постели, не отходя ни на шаг, точно не пускал меня в ту сторону, где дорога срывается в пропасть. Иногда он превращался в мальчика с такими же удивительно светлыми глазами, и мальчик тоже твердо стоял на своем месте и держал меня здесь, в этой комнате с маленькими окнами и низким потолком, и ни на что не пускал туда, где (если верить газете «Красные соколы») я однажды уже успел побывать.

Замечательно, что ни разу — ни наяву, ни в бреду — я не вспомнил о Ромашове. Был ли это инстинкт само-

сохранения? Вероятно, да — это воспоминание не прибавило бы мне здоровья.

Но когда движение было восстановлено, когда семейство на дрезине — без сомнения, той самой, до которой не добрались девушки из Станислава,— доставило меня в Заозерье и, сияя тремя парами голубых глаз, застенчиво простилось со мной, когда я вновь оказался в ВСП, и на этот раз в настоящем: с ванной, радио и вагоном-читальней,— когда, вымытый, перебинтованный, сытый, с ногой, задранной к потолку по всем правилам медицинской науки, я проспал всю Среднюю Россию и уже где-то за Кировом, в другом, тыловом мире показались незатемненные, что было очень странно, окна,— вот когда я вспомнил и повторил в уме все, что произошло между мною и Ромашовым.

Я вспомнил наш разговор накануне того дня, когда эшелон обстреляли немецкие танки.

— Сознайся, что у тебя в жизни были подлости,— сказал я,— то есть подлости с твоей собственной точки зрения.

— Допустим,— хладнокровно отвечал он.— Но что значит подлость? Я смотрю на жизнь, как на игру. Вот сейчас, например. Разве сама судьба не сдала нам на руки карты?

Не судьба, а война сдала эти карты. Не война, а отступление, потому что, если бы не отступление, он никогда не решился бы украсть у меня пистолет и бумаги и бросить меня в лесу одного.

Точно как на суде, я разобрал его поступок со всех точек зрения, в том числе и с военно-юридической, хотя об этой науке у меня было довольно смутное представление.

Я вспомнил всю историю наших отношений, очень сложную, в особенности если вообразить (теперь это было почти невозможно), что когда-то он серьезно собирался жениться на Кате.

Примирился ли он с тем, что она потеряна для него навсегда? Не знаю. Он женился на какой-то Анне Сергеевне, и Нина Капитоновна рассказала, что он страшно напился и плакал на свадьбе. И, слушая Нину Капитоновну, Катя смутилась и покраснела. Что же, она догадалась, что Ромашов все еще любит ее?

Без сомнения, он не помнил себя, когда кричал мне

с пистолетом в руке: «Если бы ты знал, кому ты обязан жизнью!»

Но все-таки — кому?

Да, нетрудно было найти статью, согласно которой военный суд имел право расстрелять интенданта второго ранга Ромашова.

Но, быть может, есть на свете еще один суд, приговор которого по всей совести нельзя предсказать заранее? На котором обвиняемый скажет:

— Да, я хотел убить его.

И потом:

— Но не убил, потому что люблю ту, которая не в силах перенести эту смерть.

Нет такого суда! Не из любви к Кате, а из трусости он не убил меня! Да и что это за любовь, боже мой! Разве это та любовь, которая делает жизнь высокой и чистой? Которая превращает ее во что-то новое? Которая, не спрашиваясь, делает человека в тысячу раз интереснее и добрее, чем прежде?

Нет, то была не любовь, а какое-то, бог весть, сложное, запутанное чувство, в котором оскорбленное самолюбие мешалось со страстью и, возможно, участвовал даже расчет, от которого (я в этом уверен) никогда не была свободна эта скучная душа подлеца.

Но все-таки я представил себе этот фантастический суд.

Я решил, что Иван Павлыч — кто же еще, если не наш старый, строгий учитель? — будет судить Ромашова. И мне померещилось, что я вижу одинокую комнату с камином и самого Ивана Павлыча в толстом мохнатом френче. Сурово вздрагивают седые усы, и глаза смотрят печально и сурово. Он сидит за столом, а Ромашов, равнодушно-сонно щуря глаза, стоит перед ним. Он думает, что я мертв давным-давно. Не все ли равно, что скажет ему наш старый учитель!

Но еще кто-то бродит по комнате, останавливается у камина, протягивает руки к огню. Свидетельница стоит у камина и греет руки, думая о чем-то своем...

Далеко была моя свидетельница! Кто знает, жива ли она? Вот уже два месяца, как я ничего не знаю о ней. И какие два месяца — осень 1941 года!

Она живет в городе, окруженном с юга и с севера, с запада и с востока,— в городе, где мы решили устроить свой дом, если это когда-нибудь станет возможно. Бом-

бят и обстреливают этот город и делают все, что только в силах, чтобы голодной смертью умерли его жители, которые не желают сдаваться. Льют тяжелые пушки и тащат их за тысячи километров. Из самой Германии везут бетон и заливают им стенки траншей и дотов. Каждую ночь освещают ракетами небо над Невой, чтобы не проскочила по темной воде баржа с мукой или хлебом. Трудятся ожесточенно, свирепо — все для того, чтобы умерла моя Катя.

Глава двенадцатая
В ГОСПИТАЛЕ

Не знаю, откуда взялось у меня это представление о госпитале: розы на ночном столике, ослепительные палаты, бесшумные сестры, скользящие между коек, как феи, и так далее. Должно быть, из какого-нибудь рассказа. Действительность оказалась гораздо проще.

Это было огромное здание, переполненное до такой степени, что койки стояли во всех коридорах и даже в столовой, которая была устроена, впрочем, также в каком-то проходном помещении. Прежде здесь находился медицинский институт — еще висели на стенах муляжи с мертвыми, страшными лицами, наполовину содранными, чтобы показать, как расположены нервы. В витринах еще сохранились расписание лекций и грозные приказы деканов.

Актовый зал, в котором я лежал, вполне соответствовал своему назначению. Но для палаты он был слишком велик — мне казалось, что конец его даже исчезал из глаз, как бы в тумане. В самом деле, когда широкие, наклоненные столбы зимнего солнца пересекали зал, они немного дрожали, как в настоящем тумане. Здесь лежало около ста человек, почти все рядовые бойцы. У меня не было документов, и, пока из части не прислали справку, что есть на свете такой капитан, я лежал с рядовыми бойцами. Впрочем, разница сказывалась лишь в том, что нам выдавали махорку, а в командирские палаты — легкий табак.

Со всех фронтов собрались люди в нашей огромной палате, очень многие — с Ленинградского, и, нужно сказать, мало утешительного могли в ту зиму рассказать люди с Ленинградского фронта.

Я писал Кате еще с дороги, а из госпиталя почти каждый день. И на Петроградскую к Беренштейнам я писал, и Пете на полевую почту, и в Военно-медицинскую академию, где Катя работала с Варей Трофимовой, как она писала мне еще в июле. Железнодорожной связи с Ленинградом не было, но все же письма доставлялись на самолетах, и я не мог понять, почему не доходят мои. Я успокаивал себя только тем, что, если бы с Катей случилось несчастье, кто-нибудь непременно ответил бы мне.

...Мне запомнился этот несчастный день — 21 февраля 1942 года. Одна из общественниц — так называли в госпитале женщин, которые добровольно и бесплатно ухаживали за нами,— рассказала, как она встречала на станции ленинградский эшелон с ремесленниками и учащимися спецшкол. Это была суровая женщина, которая со спокойствием, поразившим меня, однажды сказала, что у нее муж и сын погибли на фронте. Но она заплакала, рассказывая о том, как мальчиков на руках выносили из теплушек.

Я с трудом заставил себя съесть обед в этот день. Нога, уже больше месяца лежавшая в гипсе, вдруг разболелась так, что я просто не находил себе места. Врач назначил меня на рентген, и вот тут я «поддался беде», как любила говорить тетя Даша.

Во-первых, рентген показал, что нога неправильно срослась и нужно снимать гипс и ломать какие-то кости,— словом, начинать лечение сначала. Во-вторых, в кабинете был дьявольский холод, а меня держали часа полтора, и я, должно быть, простудился, потому что уже к вечеру заметил, что несу вздор,— это у меня всегда было первым признаком повышения температуры.

Короче говоря, я заболел воспалением легких. Это задержало вторичную операцию, и врачи начали серьезно опасаться, что я останусь хромым.

Но, кажется, я слишком подробно пишу о своих болезнях — скучная материя, в особенности как подумаешь, что я был ранен на третий месяц войны, не сделав почти ничего.

Почти ничего — в то время как уже совершилось «чудо под Москвой», как писали иностранные газеты, когда на триста километров к западу от Москвы из всех

сугробов торчали окостеневшие, в дурацких эрзац-валенках ноги! Почти ничего — в то время как уже шла полным ходом работа по созданию новейшей морской авиации дальнего действия, без меня, как будто я десять лет не крестил небо над морем во всех направлениях! Почти ничего — и я даже чувствовал, что с каждым днем от меня уходит то, что можно назвать «чувством войны», и подступает все ближе всякая ерунда госпитальной жизни.

Выше я упомянул, что из полка мне прислали справку, а вслед за ней я получил письмо от Миши Голомба, старого друга, с которым я когда-то летал на «гробах» в летной школе ОСОАВИАХИМа. Я не поверил глазам, когда взглянул на подпись. Но это был Миша; он служил теперь в нашем полку — приехал через два дня после того, как в газете появился мой некролог.

«Саня, наконец ты удивил меня,— писал он,— причем, заметь, не тогда, когда мы получили твое письмо и убедились в том, что ты жив, но когда мне сказали, что ты сгорел. Дело в том, что это на тебя не похоже. Теперь представь, что никому, в том числе и тебе, не приходится возражать против этой ошибки. Люди стали писать на бомбах «За Григорьева», так что и после смерти ты продолжал воевать. Полковник сказал речь, в которой упомянул, что ты представлен к ордену Красного Знамени. Так что поздравляю тебя и желаю счастья и счастья».

Ранней весной я стал понемногу выходить или, вернее, выползать в госпитальный садик. Впервые увидел я город, в котором провел уже почти полгода, и хотя только одна улица — аллея, засаженная липами,— открылась передо мной, но по ней можно было, кажется, судить и обо всем М—ове. Потом, когда меня стали выпускать в город — сперва на костыле, потом с палочкой,— я убедился в том, что не ошибся. Город был просторный, спокойный. Все лучшие улицы стремились взлететь на высокий берег Камы, и этот разбег напомнил мне родной Энск с его взгорьями на берегах Песчинки и Тихой. Прежде мне не случалось жить в М—ове, я только пролетал над ним два-три раза.

Я был в театре — Ленинградский театр оперы и балета был эвакуирован в М—ов,— и странным показалось мне то чувство возвращения времени, которое я испытал, когда раздвинулся занавес и великолепно одетые

мужчины и женщины плавно, неторопливо прошлись по сцене, как будто и не было никакой войны.

Конечно, не стоило бы и упоминать в этой книге, что я ходил в театр. Но, точно колесики в часах, так цепляется в жизни одно за другое. На балете «Лебединое озеро» я встретил Аню Ильину, жену моего товарища, с которым мы служили на Дальнем Востоке. Нам с Катей нравились Ильины. Это были ровные, вежливые, веселые люди, любившие театр и спорт, в особенности теннис. Аня так и запомнилась мне с ракеткой в руке, в белом платье. И может быть, именно потому, что они были такие вежливые, со всеми одинаково ровные и напоминавшие прекрасную пару из какого-нибудь романа, к ним относились недоверчиво и, в общем, довольно плохо. А нам с Катей всегда казалось, что они вполне заслужили свое положение и счастье. Говорили, что Ильину везет. И действительно, все у него получалось удивительно вовремя и складно. Эти удачи продолжались и во время войны, потому что, начав ее подполковником, он весной 1942 года был уже генерал-майором.

Мы с Аней обрадовались, встретившись на спектакле, и условились встретиться снова, на другой день, у нее дома. Она была здешняя. В начале войны муж отправил ее с дочкой к родителям в М—ов.

...Это был дом, не тронутый войной. Впервые после фронта и госпиталя я был в таком доме. Мы сидели в столовой. Без сомнения, те же салфеточки лежали на стеклянной доске буфета, те же безделушки стояли на кустарных резных полочках, развешанных по стенам, и шелковый коврик над тахтой, должно быть, точно так же висел до войны. Я смотрел на изящную, приветливо ровную женщину, которая сидела в этой красивой комнате, и мне было мучительно жаль мою Катю.

— Если бы я мог поехать хоть на два-три дня в Ленинград! Я бы нашел ее. Не сомневаюсь, что она в Ленинграде. Но меня не отпустят. А Дмитрий в Москве?

— Да.

И Аня сразу поняла, почему я спросил ее о муже.

— Он поможет вам, непременно! Я сейчас же напишу ему. Что нужно сделать?

— Вызвать меня в Москву,— сказал я,— потому что иначе комиссия направит меня в тыл.

— А когда комиссия?

— В мае.

— Вот и прекрасно. Я успею получить от Мити ответ. Он знает, с кем нужно переговорить?

— С отделом кадров ВВС Наркомата флота.

Аня записала в книжечку: «С отделом кадров...»

— Досадно, что вы не можете прямо из М—ова лететь в Ленинград. Сюда ходит «Дуглас». Правда, его давно не было, но говорят, что скоро придет. Как только подсохнут аэродромы. Я бы могла вас устроить.

Я поблагодарил ее и сказал, что это было бы, разумеется, превосходно, но что есть на свете такая книга: «Дисциплинарный устав», чтение которой не располагает к подобным полетам.

Меньше всего мог я предполагать, что пройдет всего несколько дней, и я смогу лететь куда угодно, не заглядывая в эту суровую книгу.

Глава тринадцатая
ПРИГОВОР

Медицинская комиссия всегда была для меня чем-то вроде суда, причем на этом суде мне каждый раз приходилось признавать себя виновным в том, что природа не создала меня высоким, широкоплечим человеком с квадратной челюстью и мускулами, способными выжать четыре пуда. Именно с этим неприятным чувством, совершенно голый, стоял я перед комиссией в М—ове. Я приседал, закрывал глаза, протягивал вперед руки, стараясь, чтобы они не дрожали, дрыгал ногой и великолепно узнавал на большом расстоянии самые мелкие буквы. Потом старая, седая женщина-врач послушала мое сердце и принялась стучать пальцами по спине и груди. Очевидно, ей что-то не понравилось у меня в груди, потому что она приостановилась, нахмурилась и снова прошлась, точно сыграла гамму. Потом сказала:

— Дышите.

Вовсе не легкие беспокоили меня, когда я шел на комиссию. Нервничая, я почему-то начинал прихрамывать на раненую ногу — вот это было неприятно, особенно когда я думал о том, как нога будет вести себя в обстановке боевого полета. Легкие у меня всегда были превосходные, хотя в детстве я перенес испанку, потом тяжелый плеврит. Но на старую сердитую майоршу медицинской службы именно мои легкие произвели почему-то невыгодное впечатление. Она стучала и вертела меня и снова стучала и заставляла ложиться, точно решилась непременно доказать, что я болен, болен, болен... Болен и больше не буду летать.

Прошло уже около полугода, с тех пор как я спрятал очень далеко, в самую глубину души, эту страшную мысль — спрятал и завалил чем попало. Но она не умерла и никуда не ушла, а только притаилась где-то рядом с другим беспокойством — о Кате.

И вот теперь, когда я голый стоял перед комиссией со следами ран на ногах и спине, теперь стало невозможно скрывать эту мысль ни от себя, ни от других. Должно быть, докторша прочитала ее в моих глазах, потому что, уже взяв в руки перо, не решилась, однако, написать заключение, а передала меня председателю комиссии, низенькому, толстому врачу в роговых очках, и тот тотчас же принялся энергично выстукивать меня по ребрам, по лопаткам, по не пальцами, а маленьким молотком. И молоток стучал то звонко, то глухо, точно спрашивал:

«Неужели ты болен, болен, болен? Болен и больше не будешь летать?»

— Не нужно волноваться, капитан,— сказал врач, мельком взглянув мне в лицо и засовывая резиновые трубки в большие волосатые уши.— Подлечитесь, и все будет в порядке.

Он послушал меня и что-то отметил в истории болезни. Он повторил с ласковым выражением:

— Все будет в порядке.

Но он дал мне полугодовой отпуск, а я знал, в каких случаях медкомиссия давала подобное заключение строевому командиру в 1942 году.

Кажется, у меня был неважный вид, когда я вернулся в госпиталь, потому что мой сосед-армеец, без ног, но такой полный и румяный, что всегда было странно, когда его на носилках приносили из ванны, оторвался от книги, взглянул на меня и ничего не спросил. Потом не выдержал и все-таки спросил:

— Ну как?

И я почему-то сказал ему, что мне дали инвалидность, хотя в заключении вовсе не было этого слова. Принесли обед, я машинально съел его и ушел, хотя мне очень хотелось лечь и сунуть голову под подушку. Да, в заключении не было этого слова, и нечего было повторять и повторять его, каждый раз точно ныряя с головой в темную, илистую болотную воду!

Может быть, нужно было убеждать их — эту старую ведьму с ее костяшками, сыгравшую на моих ребрах нечто вроде похоронного марша? Этого толстяка, который и промолчал и сказал о том, что я не буду больше летать? Может быть, я должен был потребовать, чтобы меня направили в гарнизонную комиссию?

Я шел по улице-аллее, круто спускавшейся к Каме, и свистел — не очень громко, чтобы не остановить внимания прохожих. На стене лучшего в городе здания авиашколы я в тысячный раз прочел надпись на мраморной доске: «Здесь учился Попов, изобретатель радио, гениальный русский ученый».

Прихрамывая, я поднялся на высокий берег, и мутноватая, еще весенняя, с желто-серым отливом Кама открылась передо мной с ее пристанями и пароходами, тянущими огромные баржи, свистками и голосами людей, далеко разносящимися над широкой, просторной водой...

«Жаль, что вы не можете прямо из М—ова лететь в Ленинград. Я бы могла вас устроить».

Что ж, теперь все в порядке. Садись и лети! И не нужно никаких разрешений. Из кабины ты перешел в помещение для пассажиров. Кресло удобное, откинулся и лежи отдыхай!

Наверно, я сказал это вслух, потому что стоявшие на берегу «ремесленники» в больших, не по росту, курточках и фуражках засмеялись и немного прошли за мной. И мне вспомнилось, как после Испании мы с Катей поехали в Энск и как мальчики в Энске ходили за мной и всё делали совершенно так же, как я. Я остановился, чтобы купить в ларьке папирос, и они остановились и купили те же папиросы, что я. Мне захотелось купаться. Катя осталась в Соборном саду, а я спустился к Тихой, разделся и бросился в воду. И они разделись немного поодаль и бросились в воду, совершенно так же, как я. Еще бы: летчик, который дрался

в Испании и вернулся с орденом Красного Знамени на груди! А теперь?

Пальцы у меня немного дрожали, но я все-таки свернул папиросу, закурил и некоторое время неподвижно стоял на берегу, глядя на всю эту незнакомую, разнообразную жизнь большой реки. Прошел серый пассажирский пароход. Я прочитал название «Ляпидевский» и подумал: «А вот ты не стал Ляпидевским». Потом прошел еще один такой же небольшой пароход. Я прочел название «Каманин» и подумал: «И Каманиным, брат, тоже!» Вдалеке у пристани стоял «Мазурук», и я невольно улыбнулся, подумав, что мне придется до поздней ночи укорять себя, если окажется, что в Камском пароходстве все суда названы фамилиями знаменитых летчиков, да еще моих хороших знакомых.

Так или иначе, теперь никто не мешал мне лететь в Ленинград, чтобы найти жену или убедиться в том, что я потерял ее навсегда.

Три недели я ждал самолета. Привык ли я к своей болезни или надежда тайком пробралась в сердце и стала шептать — уверять, что все обойдется, но понемногу я очнулся от неожиданного удара и привел в порядок все свои мысли и чувства.

Не о себе я думал теперь — о Кате. О ней — когда слушал по радио «Романс Нины», который она любила. О ней — когда смотрел разыгранный ранеными спектакль. Как редко мы бывали в театре! О ней — когда все спали в огромной палате и только здесь и там раздавался стон или быстрое, хриплое бормотание.

Наконец Аня Ильина позвонила в госпиталь и сказала, что самолет пришел. Она познакомила меня с летчиком, огромным добродушным майором, летавшим в М—ов по поручению штаба Ленфронта, и он охотно согласился взять меня в Ленинград.

Глава четырнадцатая
ИЩУ КАТЮ

Шесть месяцев я провел на земле! Как же передать чувство, с которым я наконец оставил ее! Ничего не изменилось, напротив — еще горше стало у меня на

душе, когда я подумал, что впервые в жизни лечу пассажиром. Но за годы работы я привык лучше чувствовать себя в воздухе, чем на земле. С наслаждением смотрел я в окно, точно проверяя, не случилось ли чего-нибудь плохого со всем этим просторным хозяйством весенних черных полей, светлых вьющихся рек, темно-зеленого бархата леса. С наслаждением прошел в кабину, всем телом почувствовав ее привычную, рассчитанную тесноту. С наслаждением ждал, как пилот станет обходить грозу,— над Череповцом мы встретили ее, великолепную, с тучами, похожими на дворцы, стены которых разламывались от молний. Невольно вспомнились мне впечатления первых полетов, когда небо еще не стало для меня просто трассой.

...На случайной машине, приехавшей в Бернгардовку за матрицами «Правды», я добрался до Литейного проспекта. Оттуда нужно было идти пешком или ждать трамвая; единственный трамвай ходил на Петроградскую — тройка. Но ленинградцы, расположившиеся на остановке, как дома, сказали, что ждать придется, возможно, около часа. Майор, которому тоже нужно было на Петроградскую, удерживал меня, тем более что у меня был тяжелый заплечный мешок — я привез для Кати продукты. Но разве мог я ждать, если должен был переводить дыхание при одной мысли, что мы с Катей наконец в одном городе, что, может быть, она в эту минуту... не знаю что — ждет меня, больна, умирает.

Не помня себя, пролетел я по аллее вдоль Летнего сада. Все я видел, все понимал: и огороды на Марсовом поле, среди которых стояли замаскированные зенитные батареи; и то, что никогда еще не бывало такой необыкновенной, пышной зелени в Ленинграде; и то, что город был так прекрасно убран,— перед отъездом я читал в газетах о том, как триста тысяч ленинградцев весной 1942 года вышли на улицы и убрали свой город. Но все, что я видел, оборачивалось ко мне одной стороной: где Катя, найду ли я Катю? Мне казалось, что нет, не найду — если почти во всех домах были выбиты стекла и дома стояли молчаливые, как бы с печально опущенными глазами. Не найду — раз на каждой стене были впадины и разрушения от артиллерийских снарядов. Найду — раз даже у памятника Суворову на площади были засеяны морковка и свекла и

молодые ростки стояли так твердо, как будто для них нельзя было и придумать лучших природных условий. Мы не простились, когда началась война, но другое прощание, перед Испанией, так живо вспомнилось мне, что я почти физически увидел ее в темной передней у Беренштейнов, среди старых шуб и пальто. Что нужно сделать, чтобы все стало так, как тогда? Чтобы я снова обнял ее? Чтобы она спросила: «Саня, это ты? Может быть, это не ты?»

Издалека увидел я дом, в котором жили Беренштейны. Дом стоял на месте и, как ни странно, показался мне еще красивее, чем прежде! Окна были целы, фасад нарядно отсвечивал, точно свежая краска еще блестела на солнце. Но чем ближе я подходил, тем все больше беспокоила меня эта загадочная нарядная неподвижность. Еще десять, пятнадцать, двадцать шагов — и кто-то сильно взял меня за сердце, потом отпустил, и оно забилось, забилось... Дома не было. Фасад был нарисован на больших фанерных листах.

Весь долгий летний день шумел в моих ушах далекий артиллерийский прибой — то набегал, то откатывался, как будто таща за собой крупную, гулкую гальку.

Весь день я искал Катю.

Женщина с треугольным зеленым лицом, которую я встретил подле разбитого дома, направила меня к доктору Ованесяну, члену райсовета. Старый армянин, черно-седой, небритый и добродушный, сидел в конторе бывшего кино «Элит» — теперь здесь помещался штаб ПВХО района. Я спросил его, знал ли он Екатерину Ивановну Татаринову-Григорьеву. Он ответил, что, «конечно, знал, и даже в начале войны предлагал ей работать у него медсестрой».

— И что же?

— Она отказалась и уехала на окопы,— сказал доктор.— И больше я ее, к сожалению, не видел.

— Может быть, вы знали и Розалию Наумовну, доктор?

Он посмотрел на меня добрыми, старыми глазами, пожевал и выпятил губу:

— А вы кем приходитесь Розалии Наумовне?

— Никем. Просто знакомый.

— Ага.

Он помолчал.

— Это была отличная, превосходная женщина,— вздохнув, сказал он.— Мы отправили ее в стационар, но было уже поздно, и она умерла...

Я вернулся во двор разбитого дома. Фасад рухнул, но сторона, выходившая во двор, сохранилась. Сам не зная зачем, я поднялся по засыпанной щебнем лестнице до первой площадки. Дальше шли какие-то железные прутья и балки, торчавшие в пустоте лестничной клетки, и лишь на высоте третьего этажа вновь начинались ступени.

Когда-то в этом доме жила сестра, которую я любил. Здесь мы отпраздновали ее свадьбу. Каждый выходной день я приходил сюда, учлет в синей спецовке, мечтавший о великих открытиях. Здесь мы с Катей всегда останавливались, когда приезжали в Ленинград, и, когда бы мы ни приехали, в этом доме нас принимали как самых близких и дорогих друзей. В этом доме Катя прожила больше года, когда я дрался в Испании. В этом доме она жила теперь, во время блокады, страдая от голода и холода, работая и помогая другим, распространяя на других свет своей чистоты и душевной силы. Где же она? Ужас охватил меня. Я сжал зубы, чтобы удержать дрожь.

В эту минуту послышался детский голос, и в проломе стены, как раз над моей головой, показался мальчик лет двенадцати, смуглый и широкоскулый.

— Вам кого, товарищ командир?

— Ты здесь живешь?

— Точно.

— Один?

— Зачем — один? С матерью.

— А мать сейчас дома?

— Дома.

Он показал мне, как пройти — в одном месте по узкой доске над провалом,— и через несколько минут я беседовал с его матерью, усталой женщиной с расплывающимися глазами — татаркой, как я понял с первого ее слова. Это была дворничиха дома № 79, и она, разумеется, отлично знала и Розалию Наумовну и Катю.

— Когда девятку побила, она отрывать пошла,— сказала она о Кате. (И мальчик, чисто говоривший по-русски, объяснил, что «девятка» — это дом, в котором помещался гастрономический магазин № 9). — Знако-

мый отрыла. Рыжий такой. Потом она ейной квартире жила.

— Отрыла рыжего знакомого,— быстро перевел мальчик,— и он потом жил в ейной квартире.

— Вторая старушка помирал — Хаким хоронить пошла.

— Вторая старушка — Розалии Наумовны сестра,— объяснил мальчик.— Я — Хаким. Когда она померла, мы ее хоронить везли. На Смоленское. И рыжий этот там был. Он нас и нанимал. Тоже военный, майор.

Теперь нужно было спросить о Кате. Мне было страшно, но я спросил. Сердито тряся головой, дворничиха сказала, что она сама «три месяца в больнице лежал, мулла звал, ни один мулла в Ленинграде нет, все мулла помер». А когда она вернулась, квартира Розалии Наумовны уже стояла пустая.

— Жакт надо спросить,— сказала она, подумав,— а жакт тоже нет, помер. Может, уехала? Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, меня не давал. А я ему сказал: «Ты дурак жадный. Мы тебе жизнь спасал. Тебе не хлеб, тебе молиться, куран читать надо».

Катя уже не жила у Розалии Наумовны, когда в дом попала бомба,— это было все, что я узнал. Я говорил еще с какими-то женщинами, которые плакали, рассказывая о том, как помогала им Катя. Хаким привел своих товарищей, и они пожаловались на рыжего майора, который обещал им по триста граммов за «захоронение», а потом «зажилил» и выдал только по двести.

Бог весть, что это был за рыжий майор. Петя? Но Петя был не майор, да и невозможно было представить, что Петя способен украсть сто граммов у голодных мальчишек. Все равно! Кто бы ни был этот человек, он помог Розалии Наумовне похоронить сестру. Кто знает, может быть, в трудные дни он поддерживал Катю? На похоронах она была вместе с ним и, очевидно, не так уж была слаба, если смогла добраться до Смоленского кладбища с Петроградской. Но с тех пор никто больше не видел ее — не видел ни живой, ни мертвой.

Шел уже шестой час, когда, измученный, с головной болью, я отправился в Военно-медицинскую академию,

Академия была эвакуирована, но клиники, с первого дня войны ставшие госпиталями, остались. Осталась и стоматологическая, в которой работала Катя. Меня отослали в канцелярию, и старая машинистка, чем-то напомнившая мне тетю Дашу, сказала, что Катя была очень плоха и доктор Трофимова помогла ей эвакуироваться из Ленинграда.

— Куда?

— Вот этого не могу сказать, не знаю.

— А сама доктор Трофимова в Ленинграде?

— Как отправила вашу супругу, сама сейчас же на фронт,— отвечала машинистка,— и с тех пор ни о той, ни о другой не было никаких известий.

Глава пятнадцатая
ВСТРЕЧА С ГИДРОГРАФОМ Р.

Теперь я понял, что это было наивно: полгода писать Кате, не получая в ответ ни слова, и все-таки надеяться, что стоит мне приехать в Ленинград — и, протянув руки, она встретит меня у порога. Как будто не было страшной зимы сорок первого года, эшелонов с умирающими мальчиками, специальных больниц для ленинградцев во многих городах Союза. Как будто не было этих лиц со странно расплывающимся, водянистым взглядом. Как будто не доносился то с запада, то с востока гул артиллерийской стрельбы.

Я думал об этом, сидя в канцелярии стоматологической клиники и слушая рассказ машинистки о том, как молоденький краснофлотец, как две капли воды похожий на ее погибшего сына, вдруг пришел и отдал ей триста граммов хлеба, когда у нее уже не было сил подняться с постели.

— А Катерина Ивановна найдется,— сказала она.— Ей сон приснился, что орел летит. Я говорю — муж. Она не поверила. И вот видите, по-моему вышло. И теперь я вам говорю — найдется!

Да, может быть. «Умирала, в то время как я, в сущности говоря, прекрасно жил в М—ове»,— думал я, тупо глядя на старую женщину, которая все уверяла меня, что Катя найдется, вернется. «Обо мне заботились, меня лечили. А у нее не было ста граммов хлеба, чтобы за-

платить мальчикам, похоронившим Берту». И с бешенством, с отчаянием думал я о том, что еще в январе должен был лететь в Ленинград, настаивать, требовать, чтобы меня выписали из госпиталя, и, кто знает, быть может, вышел бы здоровее, чем сейчас, и нашел бы, спас Катю.

Но поздно было жалеть о том, чего никогда не вернешь. «Я — как все»,— писала мне Катя из Ленинграда. Только теперь понял я, что она хотела сказать этими простыми словами.

Старая женщина, которой, вероятно, пришлось пережить гораздо больше, чем мне, все утешала меня. И попросил у нее кипятку и угостил салом и луком, что было еще редкостью в Ленинграде.

С этой минуты как бы холод поселился в моей душе. Ко всему, что я ни делал, о чем ни думал, всегда присоединялось: «А Катя?»

...Еще в М—ове я восстановил по памяти почти все телефоны моих ленинградских знакомых. Но кому ни звонил я из клиники, никто не отвечал, точно эти звонки терялись где-то в таинственной пустоте Ленинграда. Наконец я набрал последний номер — единственный, в котором не был уверен, и долго держал трубку, слушая какие-то далекие шорохи и за ними еще более далекие, нетерпеливые голоса.

— Алло, я вас слушаю,— неожиданно сказал низкий мужской голос.

— Можно попросить...

Я назвал фамилию.

— Это я.

— С вами говорит летчик Григорьев.

Молчание.

— Не может быть! Александр Иваныч?

— Да.

— Вот и не верь в судьбу! Третий день как я только и думаю, где бы мне вас найти, дорогой Александр Иваныч.

Лет шесть тому назад, когда экспедиция по розыскам капитана Татаринова была решена и я занимался организацией ее в Ленинграде, профессор В. познакомил меня с одним моряком, ученым-гидрографом, преподавателем училища имени Фрунзе.

Мы провели вместе только один вечер, но часто по-том я вспоминал этого человека, с необычайной отчет-ливостью нарисовавшего передо мною картину будущей мировой войны.

Он пришел тогда поздно. Катя уже спала, забрав-шись в кресло с ногами. Я хотел разбудить ее, он не-дал, и мы стали что-то пить и закусывать маслинами — у Кати всегда были в запасе маслины.

Север глубоко занимал его. Он был уверен, что в будущей войне Север с его неисчерпаемым стратегиче-ским сырьем должен сыграть огромную роль. Он смот-рел на Северный морской путь как на военную дорогу и утверждал, что неудачи русско-японской кампании были результатом непонимания этой мысли, высказан-ной еще Менделеевым. Он требовал, чтобы военные базы были построены вдоль всех маршрутов, по кото-рым идут караваны.

Помнится, тогда меня поразила эта точка зрения. Я снова оценил ее 14 июня 1942 года, за несколько дней до полета в Ленинград, когда, сидя на берегу Камы, услышал далекий голос диктора, с торжественным вы-ражением читавшего договор между Англией и Совет-ским Союзом. Нетрудно было догадаться, о каких путях шла речь в этом договоре, и встреча с «ночным гостем», как потом называла этого гидрографа Катя, припомни-лась мне.

В 1936—1940 годах я не раз встречался с ним, читал его статьи и книгу «Моря советской Арктики», перево-денную на все европейские языки. С неизменной сим-патией я следил за его судьбой, так же как он, кажется, за моею. Я знал, что он ушел из училища Фрунзе, ко-мандовал гидрографическим судном, работал в Гидро-графическом управлении Наркомата ВМФ. Незадолго до войны он защищал докторскую диссертацию — об-явление о ней я прочел в «Вечерней Москве».

Я буду называть его Р.

...— Это редчайший случай,— сказал Р.,— что вы застали меня дома. Квартира была запечатана, я распечатал ее и зашел к себе две минуты назад, и то лишь потому, что надолго уезжаю из Ленинграда.

— Куда?

— Далеко. Вот заходите, расскажу... Где вы остано-вились?

— Пока нигде.

— Очень хорошо. Жду вас.

Он жил у Литейного моста, в новом доме, в про-сторной квартире, разумеется запущенной за год войны, но в которой чувствовалось что-то поэтическое, точно это была квартира артиста. Может быть, художественно сшитые куклы, стоявшие на пианино под стеклянными колпаками, внушили мне эту мысль, или множество книг на полу и на полках, или сам хозяин, встретивший меня попросту, в рубахе, под распахнувшимся воротом которой была видна полная волосатая грудь. Где-то я видел подобный портрет Шевченко. Но Р. был не поэ-том, а контр-адмиралом, в чем нетрудно было убе-диться, взглянув на его китель, висевший на спинке кресла.

Где и когда бы мы ни встречались, с первого слова он начинал рассказывать о том, что сейчас было для него самым главным, без сомнения потому, что наш ин-терес друг к другу мало касался личных или служебных дел.

Но на этот раз он прежде всего расспросил меня о том, где я был и что делал за год войны.

— Да, не повезло,— сказал он, когда я рассказал ему о своих неудачах.— Но вы наверстаете. Что же вы, то на Балтике, то на Черноморском флоте? А Северу изменили? Ведь я считал, что вы северный человек — и навеки.

Это было слишком сложно — рассказывать, как я «изменил» Северу, и я только возразил, что ушел из гражданской авиации, лишь когда потерял надежду вернуться на Север.

Р. замолчал. Не знаю, о чем он думал, щуря черные живые глаза и теребя свой казацкий чуб, поседевший и поредевший. Мы сидели в креслах у окна, разумеется выбитого, как и во всей квартире. Литейный мост был виден, а за ним суда, странно-резко раскрашенные так, чтобы трудно было разобрать, где кончается дом на на-бережной и начинается корабль. Пусто было на улицах — «как в пять часов утра», подумалось мне, и я вспомнил: Катя однажды сказала мне, что это было ошибкой с ее стороны, что она не родилась в Ленин-граде.

И задумался и вздрогнул, когда Р. окликнул меня.

— Знаете что, ложитесь-ка спать,— сказал он.— Вы устали. А завтра поговорим.

Не слушая возражений, он принес подушку, снял с дивана валики, заставил меня лечь. И я мгновенно уснул, точно кто-то подошел на цыпочках и не долго думая набросил на все, что произошло в этот день, темное, плотное одеяло.

...Было еще очень рано — должно быть, часа четыре,— когда я открыл глаза. Но Р. уже не спал — завешивал старыми газетами книжные полки, и я подумал с тоской, что сегодня он уезжает. Он подсел ко мне, не дал встать, заговорил: без сомнения, это и было то самое важное, о чем он сказал бы мне вчера, если бы я не был так измучен.

...В наши дни каждый школьник хотя бы в общих чертах представляет себе, что происходило на большой морской дороге из Англии и Америки в Советский Союз летом 1942 года. Но именно летом 1942 года то, что рассказывал Р., было новостью даже для меня, хотя я не переставал интересоваться Севером и ловил на страницах печати каждую заметку о действиях ВВС Северного флота.

Он развернул карты, приложенные к одной из его книг, и сразу нашел ту, на которой мог показать границы огромного театра, на котором действовали наши морские и воздушные силы. Очень кратко, однако подробнее, чем мне потом приходилось читать даже в специальных статьях, он нарисовал передо мною картину большой войны, происходящей в Баренцевом море. С жадностью слушал я о смелом походе подводной лодки-малютки в бухту Петсамо, то есть в главную морскую базу врага; о Сафонове, сбившем над морем двадцать пять самолетов; о работе летчиков, атакующих транспорты под прикрытием снежного заряда,— я еще не забыл, что такое снежный заряд. Я слушал его, и сознание неудачи язвительно кололо меня. Это был мой Север — то, о чем рассказывал Р.

От него я впервые узнал, что такое «конвой». Он указал мне возможные «точки рандеву» — тайно условленные пункты, где встречаются английские и американские корабли, и объяснил, как происходит передача их под охрану нашего флага.

— Вот где они идут,— сказал он и показал, разумеется в общих чертах, путь, о котором в 1942 году не принято было распространяться.— Колонна в сто — двести судов. Вы догадываетесь, не правда ли, в каком

месте им приходится особенно трудно? — И не очень точно он показал это место.— Но оставим в покое западный путь, тем более что здесь (он показал где) сидят чрезвычайно толковые люди. Поговорим о другом, не менее важном... Вот ворота, которые немцы стремятся захлопнуть,— живо сказал он и закрыл ладонью выход из Баренцева в Карское море,— потому что они прекрасно понимают хотя бы значение рудников для авиамоторостроения. Но, конечно, и транзитное значение Северного морского пути очень не нравится им, тем более что весной этого года они уже стали надеяться...

Он не договорил, но я понял его. Случайно мне было известно, что весной немцам удалось серьезно повредить порт, имевший для западного пути большое значение.

— Представьте же себе, куда докатилась война,— продолжал Р.,— если не так давно у Новой Земли немецкая подводная лодка обстреляла наши самолеты. Но и этого мало. Сегодня я лечу в Москву на самолете, который прислал за мной Военный совет Северного флота. Летчик, майор Карякин, рассказал мне, что он две недели охотился за немецким рейдером,— где, как бы вы думали? В районе...

И он назвал очень отдаленный район.

— Короче говоря, война уже идет в таких местах, где прежде кочевали одни гидрографы да белые медведи. Так что пришлось вспомнить и обо мне,— сказал Р. и засмеялся.— И не только вспомнили, но и...— у него стало доброе, веселое лицо,— но и поручили одно интереснейшее и важнейшее дело. Конечно, я ничего не могу рассказать вам о нем, потому что это именно и есть военная тайна. Скажу только, что прежде всего я подумал о вас. Это, конечно, чудо, что вы позвонили, Александр Иваныч,— серьезно сказал он.— Я предлагаю вам лететь со мною на Север.

Глава шестнадцатая
РЕШЕНИЕ

Он уехал, и я остался один в пустой летней, как будто ничьей квартире. Все три просторные комнаты были в моим услугам, и я мог бродить и думать сколько

угодно. В пятнадцать часов Р. собирался вернуться, и я должен был сказать ему одно короткое слово: «Да». Или другое: «Нет».

И такая далекая, трудная дорога раскинулась между этими двумя словами, что я шел и шел по ней, а все не видать было ни конца ни края!

Немцы обстреливали район. Первая пристрелочная шрапнель разорвалась уже давно, а дымовое облачко, медленно рассеиваясь, все еще висело над Литейным мостом. Разрывы, прежде далекие, вдруг стали приближаться — справа налево, шагая между кварталами прямо к этому дому, к этим пустынным комнатам, по которым я бродил между «да» и «нет», находившимися так далеко друг от друга.

...Должно быть, это была детская. Грустно повесив голову, черный одноглазый мишка сидел на шкафу; роллер валялся в углу; на низеньком круглом столе стояли какие-то коллекции, игры. И мне представился маленький Р., такой же энергичный, сдержанно пылкий, со смешным казацким чубом, с круглым лицом. В этой комнате я отдыхал от «да» или «нет». Здесь можно было подумать даже о доме, который мы с Катей собирались некогда устроить в Ленинграде. А где дом, там и дети.

Все ближе подступали разрывы снарядов. Вот один ударил совсем рядом, двери распахнулись, где-то с веселым звоном посыпались стекла. В наступившей тишине чьи-то гулкие шаги послышались на улице, и, выглянув в окно, я увидел двух мальчиков, с ужасными, как мне показалось, лицами бежавших к дому. Вот они поравнялись; первый хлопнул второго по спине и с хохотом повернул обратно. Они играли в пятнашки.

...Р. вернется в пятнадцать часов, и я скажу ему: «Да».

Как не бывало полугода томительного безделья — томительного и постыдного во время войны! Я поеду на Север. Чем дальше он был от меня в эти годы, тем ближе и привлекательнее становился он для меня. Разве не дрался я, как умел, на Западе и на Юге? Но там, на Севере, нужно мне быть, защищая края, которые я понимал и любил.

И вдруг я останавливался и говорил себе:

— Катя!

Уехать и оставить ее? Уехать далеко, надолго? Но попробовать разыскать Петю, у которого — кто знает? —

быть может, просто переменился номер полевой почты? Но предпринять новых поисков здесь, в Ленинграде, и на Ленинградском фронте? Куда бы ни была эвакуирована Катя, при любых обстоятельствах она стремилась бы соединиться с Ниной Капитоновной и маленьким Петей. Потерять этот след, слабый, едва заметный, но, возможно, ведущий туда, где она живет, мучась, потому что проклятая заметка не могла не дойти до нее?

Решено! Я останусь в Ленинграде еще на несколько дней. Я найду Катю и тогда поеду на Север.

Р. вернулся в пятнадцать часов. Я сообщил ему свое решение. Он выслушал меня и сказал, что на моем месте поступил бы так же.

— Но нужно, чтобы в Москву мы приехали вместе. Я оформлю вас в управлении, а потом Слепушкин отпустит вас на две недели для устройства семейных дел. Шутка сказать — жена! Да еще такая жена! Я же помню Екатерину Ивановну. Она умница, добрая и вообще редкая прелесть!

...Не буду рассказывать о том, как на другой день я вернулся на Петроградскую и снова обошел многих жильцов дома № 79; о том, как в Академии художеств я пытался узнать, где Петя, и узнал лишь, что он был ранен и лежал в сортировочном госпитале на Васильевском. Скульптор Косточкин навещал его. Но этот скульптор умер от голода, а Петя (по слухам) вернулся на фронт. О том, как я выяснил, почему не доходили мои письма в детский лагерь Худфонда, который был вновь эвакуирован под Новосибирск; о том, как доктор Ованесян ходил со мною в райсовет и накричал на какого-то равнодушного толстяка, который отказался навести справку о Кате.

Эшелоны в январе шли на Ярославль, где были устроены специальные больницы для ленинградцев. Это был единственный бесспорный факт, который мне удалось установить, и, по мнению всех ленинградцев, с которыми я говорил, Катю нужно было искать в Ярославле.

Два обстоятельства убедили меня в том, что это именно так. Во-первых, лагерь Худфонда до второй эвакуации находился в Ярославской области, в деревне Гнилой Яр. Во-вторых, Лукерья Ильинишна — так звали машинистку стоматологической клиники — вдруг

объявила мне, что она вспомнила: доктор Трофимова отправила Катю именно в Ярославль.

— Господи боже ты мой! — сказала она с досадой.— Да мыслимо ли в таком деле соврать! Я забыла, потому что у меня память стала слаба, и это от сахару, который я совершенно не ем. Но хотя не ем, а вспомнила! И я вам говорю — найдется она в Ярославле.

Самолет Р. уходил в полночь. Я созвонился и приехал за десять минут до старта.

Глава семнадцатая
ДРУЗЬЯ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО ДОМА

Если проложить на карте Москвы путь, который я прошел в течение немногих часов между самолетом и поездом, можно подумать, что я нарочно сделал решительно все, чтобы не встретиться с теми, кого я давно и страстно хотел увидеть. Быть может, их путь прошел в этот день рядом с моим. Или пересек его двумя минутами позже. Или прошел навстречу по соседней улице, за линией зданий.

Прямо с аэродрома я поехал на Садовую, в Воротниковский переулок, к Кораблеву,— благо весь мой багаж составлял маленький чемоданчик.

...Покосился старый деревянный флигель, затерянный среди высоких, надстроенных домов, похожий на дачу со своими ставнями и верандой. Уже не один Иван Павлыч, как прежде, занимал половину нижнего этажа, и хотя с первого взгляда непривычно пустой показалась мне Москва, однако в этом маленьком доме почти из каждого окна торчала голова. Женщины вязали на крыльце, и едва я появился, по меньшей мере два десятка глаз встретили меня с любопытством, точно это было в Энске, на нашем дворе.

— Вам кого?

— Кораблева.

— А, Ивана Павлыча? По коридору вторая дверь налево.

— Это мне известно,— поднимаясь на крыльцо, сказал я.— А он дома?

— Постучитесь, кажется, дома.

В последний раз я видел Ивана Павлыча перед войной. Не предупредив старика, мы с Катей вдруг явились

к нему с тортом и французским вином. Он долго брился и разговаривал с нами из соседней комнаты, а мы рассматривали старые школьные фото.

Наконец Иван Павлыч вышел — в новой паре, в твердом воротничке, с закрученными по-молодому усами. И теперь в темном коридоре я видел его именно таким, как в тот прекрасный памятный вечер. Сейчас он выйдет и с первого взгляда узнает меня.

«Ты ли это, Саня?»

Но два и три раза постучал я в знакомую, обитую войлоком дверь. Тишина. Ивана Павлыча не было дома.

«Дорогой Иван Павлыч! — Я писал ему, отойдя в сторону, потому что женщины смотрели на меня, а мне не хотелось, чтобы они заметили, что я волнуюсь.— Не знаю, удастся ли мне снова зайти к вам. Сегодня еду в Ярославль, куда еще в январе месяце была эвакуирована Катя. Возможно, что оттуда поеду и дальше — до тех пор, пока не найду ее. Не могу в этой записке объяснить, что произошло со мною и как мы потеряли друг друга. Если бы оказалось, что вы слышали о ней или Валя (которого, впрочем, надеюсь сегодня увидеть), прошу вас, напишите немедленно по адресу: Полярное, политуправление, контр-адмиралу Р., для меня. Дорогой Иван Павлыч, может быть, известие о моей смерти донеслось и до вас, но это пишу вам именно я, ваш Саня».

Десять рук протянулось одновременно, чтобы взять у меня это письмо...

На метро, которое стало, кажется, еще красивее и солиднее, чем прежде, я проехал до Дворца Советов. Как будто война уже давным-давно окончилась, с таким видом сидели на Гоголевском бульваре старики, опираясь на свои стариковские толстые палки. Дети играли, и в эту минуту, занятый своими заботами и волнениями, я впервые почувствовал, что ведь это Москва, Москва!

Медная дощечка висела на Валиной двери: «Профессор Валентин Николаевич Жуков». Ого! Профессор! И позвонил, постучал, потом двинул в дверь ногою...

Ничего удивительного не было в том, что летом 1942 года, когда почти все москвичи жили на работе, да еще днем, в служебное время, я не застал профессора Жукова дома. Но то, что Валька шлялся где-то, в то время как он был мне дьявольски нужен, возмутило меня. Я снова ударил в дверь ногою, и, как живая, она

вдруг подалась. Что-то жалобно скрипнуло в ней. Я дернул за ручку, и она отворилась.

Конечно, квартира была пуста, и слабая надежда, что Валька, может быть, спит, пропала в это мгновение. Я прошел в «кухню вообще», которая некогда была одновременно и столовой и детской. Как ни странно, но «кухня вообще» была прибрана! Стол покрыт скатертью, белая, вырезанная узорами бумага висела на полках. Можно было подумать, что женская рука прошлась по этим чисто обметенным стенам, по окнам, на которых стояли свежие ландыши и ночная фиалка. Валька, покупающий цветы,— нужно быть великим художником, чтобы вообразить такую картину.

Я прошел в «собственно кухню». Узкая железная кровать стояла у стены, в ногах было аккуратно сложено женское платье. У Кати было когда-то такое же синее в белую горошинку платье. Что же за женщина жила в «соломенной» Валиной квартире? Кира с детьми уехала в начале войны, я знал об этом еще из первых Катиных писем. «Кто же успел окрутить тебя, милый мой?» И мне вспомнилось Катино письмо, в котором она подсмеивалась над Кирой, приревновавшей своего мужа к какой-то «Женьке Колпакчи с разными глазами». Не потеряла времени Женька Колпакчи, даром что с разными глазами!

Так или иначе, но я не застал и Вали.

«Дорогой мой, милый Валечка,— написал я ему,— по дороге в Ярославль, где надеюсь найти Катю или хоть разузнать о ней, заехал к тебе и, к глубокому сожалению, не нашел тебя дома. Уже минуло полгода, как у меня нет никаких известий о Кате. Она переписывалась с Кирой, когда была в Ленинграде,— может быть, Кира или ты что-либо знаете о ней? Я был ранен, лежал в М—ове, писал тебе, но не получил ответа. Много было пережито, но насколько было бы легче, если бы мы с Катей не то что встретились, но хоть узнали друг о друге, что живы! Пиши мне на Северный флот, Полярное, политуправление, контр-адмиралу Р., для меня. Это лишь вероятный адрес, но другого у меня пока нет. Будь здоров, дорогой друг. Дверь открылась сама. Теперь тебе придется ломать ее,— это все-таки лучше, чем оставить квартиру открытой. Может быть, мне удастся перед отъездом еще раз зайти к тебе».

Я положил эту записку на стол в «кухне вообще».

Потом пристроил крючок, чтобы он сам упал на петлю, сильно захлопнул дверь, и она превосходно закрылась.

Еще одно важное дело было у меня в этом районе. Недалеко от Вали жил человек, которого я непременно хотел навестить, не особенно заботясь о том, обрадуется ли гостю хозяин.

Давно собирался я навестить его!

В госпитале бессонными ночами, задыхаясь в бреду, я думал об этом свиданье. Он был мне так нужен, что, кажется, не стоило и умирать, прежде чем я не увижу его!

Не раз я рисовал себе эту встречу. То хотелось мне явиться перед ним в легкую минуту его жизни, где-нибудь в театре, когда самая мысль обо мне будет бесконечно далека от него. То где-то в гостинице я запирал дверь на ключ и смотрел на него улыбаясь. Случалось, что в предрассветном сумраке я видел его на соседней койке: поджав под себя ноги, сидел он, и странно равнодушен был взгляд плоских полуприкрытых глаз.

Глава восемнадцатая
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. КАТИН ПОРТРЕТ

Однажды, проходя со мною по Собачьей площадке, Катя сказала:

— Здесь живет Ромашов.

И указала на серовато-зеленый дом, кажется ничем не отличавшийся от своих соседей по правую и по левую руку. Но и тогда и теперь что-то неопределенно-подлое померещилось мне в этих облупленных стенах.

Под воротами не висел, как до войны, список жильцов, и мне пришлось зайти в домоуправление, чтобы узнать номер квартиры.

И вот что произошло в домоуправлении: паспортистка, сердитая старомодная дама в пенсне, вздрогнула и сделала большие глаза, когда я спросил ее о Ромашове. В маленькой дощатой комнатке стояли и сидели люди в передниках, очевидно дворники, и между ними тоже как бы прошло движение.

— А вы бы ему позвонили,— посоветовала паспортистка.— У него как раз вчера телефон включили.

— Да нет, лучше я так, без звонка,— возразил я, улыбаясь.—Это будет сюрприз. Дело в том, что я его старый друг, которого он считает погибшим.

Кажется, ничего особенного не было в этом разговоре, но паспортистка неестественно улыбнулась, а из соседней, тоже дощатой комнаты вышел очень спокойный молодой, с медленными движениями человек в хорошенькой кепке и внимательно посмотрел на меня.

Нужно было вернуться на улицу, чтобы зайти в подъезд, и у подъезда я немного помедлил. Оружия не было, и, может быть, стоило сказать несколько слов милиционеру, стоявшему на углу. Но я передумал: «Никуда не уйдет».

Ни одной минуты не сомневался я, что он не в армии, а если в армии, все равно живет на своей квартире. Или на даче. По утрам он ходит в пижаме. Как живого, увидел я перед собой Ромашку в пижаме, после ванны, с торчащими желтыми космами мокрых волос. Это было видение, от которого лиловые круги пошли перед моими глазами. Нужно было успокоиться, то есть подумать о другом, и я вспомнил о том, что в семнадцать часов Р. будет ждать меня в Гидрографическом управлении.

— Кто там?

— Можно товарища Ромашова?

— Зайдите через час.

— Может быть, вы позволите мне подождать Михаила Васильевича? — сказал я очень вежливо.— Второй раз, к сожалению, не смогу зайти. Боюсь, он будет огорчен, если наша встреча не состоится.

Цепочка звякнула. Но ее не сняли, напротив — надели, чтобы, приоткрыв дверь, посмотреть на меня. Снова звякнула — вот теперь сняли. Но еще какие-то запоры двигались, железо скрежетало, звенели ключи. Старый человек в широких штанах на подтяжках, в расстегнутой нижней рубахе впустил меня в переднюю и, сгорбившись, недоверчиво уставился на меня. Что-то аристократически надменное и вместе с тем жалкое виделось в этом сухом горбоносом лице. Желто-седой хохол торчал над лысым лбом. Длинные складки кожи свисали над кадыком, как сталактиты.

— Фон Вышимирский? — спросил я с недоумением. (Он вздрогнул.) — То есть не «фон», но все равно: Вышимирский Николай Иваныч, не правда ли?

— Что?

— Вы не помните меня, уважаемый Николай Иваныч? — продолжал я весело.— Я же был у вас.

Он засопел.

— У меня было много, тысячи,— хмуро сказал он.— За стол садилось до сорока человек.

— Вы работали в Московском драматическом театре и еще носили такую куртку с блестящими пуговицами. Мой приятель Гриша Фабер играл рыжего доктора, и Иван Павлыч Кораблев познакомил нас в его уборной.

Почему мне стало так весело? Как хозяин, стоял я в квартире Ромашова. Через час он придет. Я немного подышал полуоткрытым ртом. Что я сделаю с ним?

— Не знаю, не знаю... Как фамилия?

— Капитан Григорьев, к вашим услугам. Вы что же, теперь живете здесь? У Ромашова?

Вышимирский подозрительно посмотрел на меня.

— Я живу там, где прописан,— сказал он,— а не тут. И управдом знает, что я живу там, а не тут.

— Ясно.

Я вынул портсигар, весело хлопнул по крышке и предложил ему папиросу. Он взял. Двери в соседнюю комнату были открыты, и все там было чистое, светло-серое и темно-серое — стены и мебель: диван, перед ним круглый стол. И даже чей-то большой портрет над диваном был в гладкой светло-серой раме. «Все в тон»,— тоже очень весело подумалось мне.

— Какой Иван Павлыч? Учитель? — вдруг спросил Вышимирский.

— Учитель.

— Ну да, Кораблев. Это был отличный человек, превосходный! Валечка учился у него. Нюта нет, она кончила женскую гимназию Бржозовской. А Валечка учился. Как же! Он помогал, помогал...— И на старом усатом лице мелькнуло бог весть какое, но доброе чувство.

Притворно спохватившись, старик пригласил меня в комнаты — мы еще стояли в передней — и даже спросил, не с дороги ли я.

— Если с дороги,— сказал он,— то в военной столовой по командировке можно за гроши получить вполне приличный обед с хлебом.

Он еще трещал что-то, я не слышал его. Пораженный, остановился я на пороге. Это был Катин портрет — над диваном, в светло-серой раме,— великолепный портрет, который я видел впервые.

Она была снята во весь рост, в беличьей шубке, которая так шла к ней и которую она шила перед самой войной. И еще хлопотала, чтобы попасть к какой-то знаменитой портнихе Манэ, и еще сердилась на меня за то, что я не понимал; что шапочка должна быть тоже меховая и такая же муфта. Что же это значит, боже мой?

По меньшей мере десять мыслей, толкая друг друга, встали передо мной, и в том числе одна, настолько нелепая, что теперь мне даже стыдно вспомнить о ней. О чем только не подумал я, кроме правды, которая оказалась еще нелепее, чем эта нелепая мысль!

— Признаться, я никак не ожидал встретить вас здесь, Николай Иваныч,— сказал я, когда старик сообщил, что после театра он поступил в психиатрическую тоже в гардероб, и его уволили, потому что «сумасшедшие незаконно объявили завхозу, что он крадет суп и кушает его по ночам».— Что же, вы работаете у Ромашова? Или просто поддерживаете знакомство?

— Да, поддерживаю. Он предложил мне помочь в делах, и я согласился. Я служил секретарем у митрополита Исидора и не скрываю этого, а, напротив, пишу в анкетах. Это была огромная работа, огромный труд. Одних писем в день мы получали полторы тысячи. Здесь тоже. Но здесь я работаю из любезности. Я получаю рабочую карточку, потому что Михаил Васильевич устроил меня в свое учреждение. И в учреждении известно, что я работаю здесь.

— А разве Михаил Васильевич теперь не в армии? Когда мы расстались, он носил военную форму.

— Да, не в армии. Как особо нужный, не знаю... У него броня до окончания войны.

— Что же это за письма, которые вы получаете?

— Это дела, очень важные,— сказал Вышимирский,— крайне важные, поскольку мы имеем задания. В настоящее время нам поручено найти одну женщину, одну даму. Но я подозреваю, что это не задание, а личное дело. Любовь, так сказать.

— Что же это за женщина?

— Дочь исторического лица, которое я прекрасно знал! — с гордостью сказал Вышимирский.— Может быть, вы слышали: некто Татаринов? Мы разыскиваем его дочь. И давно бы нашли, давно. Но страшная путаница. Она замужем, и у нее двойная фамилия.

Глава девятнадцатая
«ТЫ МЕНЯ НЕ УБЬЕШЬ»

Как будто жизнь остановилась с разбегу и, не рассчитав инерции движения, я крепко стукнулся лбом о воображаемую стену, с таким чувством смотрел я на старого, в общем, нормального человека, стоявшего передо мной в светлой, тоже нормальной комнате и сообщившего, что Ромашов разыскивает Катю, то есть делает то же, что я.

Но наш разговор продолжался, как если бы ничего не случилось. От Кати Вышимирский перешел к какому-то члену месткома, который не имел права называть его «бывшим», потому что у него «пятьдесят лет трудового стажа», а потом пустился в воспоминания и рассказал, что, когда в 1908 году он выходил из театра, капельдинер кричал: «Карета Вышимирского!», и подкатывала карета. Он ходил в цилиндре и плаще — теперь таких вещей не носят, и «очень жаль, потому что это было красиво».

— Когда он умер? — спросил он вдруг, сильно потянув вниз свои «сталактиты».

— Кто?

— Кораблев.

— Почему же умер? Он жив и здоров, Николай Иваныч,— сказал я шутливо, в то время как все дрожало во мне и я думал: «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен».— Так вы говорите, это личное дело, да? Насчет дамы?

— Да, личное. Но очень серьезное, очень. Капитан Татаринов — историческое лицо. Михаил Васильевич был в Ленинграде. Он находился в осаде и так голодал, что ел обойный клей. Отрывал старые обои, варил и ел. Потом он уехал в командировку за мясом, и когда вернулся — уже никого. Увезли.

— Куда?

— Вот это и есть вопрос,— торжественно сказал Вышимирский.— Вы знаете, что происходило с этой эвакуацией? Ищи ищи! И главное, если бы ее увезли в эшелоне. Тогда только выяснить — чей? Например, Хладкомбината. Куда он уехал? В Сибирь? Значит, она в Сибири. Но ее отправили самолетом.

— Как — самолетом?

— Да, именно. Очевидно, как привилегированную. И вот — пропала. Ищи. Только известно, что самолет

пролетел через Хвойную, то есть именно через ту станцию, на которой Михаил Васильевич брал мясо.

Должно быть, я инстинктивно чувствовал, когда нужно помолчать, а когда произнести два или три слова. Все было в порядке. Какой-то военный, должно быть недавно из госпиталя, худой и черный, зашел к приятелю, с которым расстался на фронте, и вот расспрашивает, что он поделывает и как живет. «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен».

— Ну и как же? Нашли?

— Нет еще. Но найдем,— сказал Вышимирский,— по моему проекту. Я написал в Бугуруслан, в Центральное бюро справок, но это ерунда, потому что нам прислали десять Татариновых и сто Григорьевых, а мы не знаем, на какую фамилию напирать в качестве первой. Тогда я лично обратился во все губернские города к председателям исполкомов. Это был большой труд, большое задание. Но капитан Татаринов был мой друг, и для его дочери я три месяца писал стандартный запрос — прошу вашего распоряжения, эвакопункт, историческое лицо, ждем ответа. И получили...

Резкий звонок раздался. Вышимирский сказал:

— Это он.

И у него стало испуганное лицо, острый седой хохол затрясся на голове, усы повисли. Он вышел в переднюю, а я, помедлив, встал у стены, подле двери, чтобы Ромашов, войдя, не сразу заметил меня.

Он мог выскочить на площадку, потому что Вышимирский в передней сказал ему:

— Вас ждут.

Он быстро спросил:

— Кто?

И старик ответил:

— Какой-то Григорьев.

Но он не выскочил, хотя вполне мог успеть — я не торопился. Он стоял в темном углу, между платяным шкафом и стеною, и вскрикнул, увидев меня, а потом по-детски поднял и прижал к лицу кулаки. В наружной двери торчал ключ, я повернул его, вынул и положил в карман. Вышимирский стоял где-то между нами, я наткнулся на него и переставил, как куклу. Потом зачем-то толкнул, и он механически упал в кресло.

— Ну, пойдем поговорим,— сказал я Ромашову.

Он молчал. В руках у него была кепка, он сунул ее в рот и прикусил, зажал зубами. Я снова сказал:

— Ну!

И он бешено тряхнул головой.

— Не пойдешь?

Он крикнул:

— Нет!

Но это была последняя минута отчаяния, охватившего его, когда он увидел меня. Я рванул его за руку. Он выпрямился. И, когда мы вошли в комнату, только один глаз немного косил, а лицо стало уже совершенно другим, ровным, с неподвижным выражением.

— Жив, как видишь,— сказал я негромко.

— Да, вижу.

Теперь я мог рассмотреть его. Он был в легком сером костюме, на лацкане желтая ленточка — знак тяжелого ранения, в то время как он был контужен очень легко; под ленточкой — пуговица, светящаяся в темноте. Он пополнел, и, если бы не торчащие красные уши, которые, кажется не хуже этой пуговицы могли светить в темноте, никогда еще он не выглядел таким представительным господином.

— Пистолет.

Я думал, что он начнет врать, что сдал пистолет, когда демобилизовался. Но пистолет был именной: я получил его от командира полка за бомбежку моста через Нарову. Сдавая пистолет, Ромашов выдал бы себя. Вот почему он молча выдвинул ящик письменного стола и достал пистолет. Пистолет был не заряжен.

— Документы.

Он молчал.

— Ну!

— Размокли, пропали! — поспешно сказал он.— В Ленинграде бомбоубежище затопило водой. Я был без сознания... Только фото Ч. сохранилось, я передал его Кате... Я спас ее.

— В самом деле?

— Да, я спас ее. Поэтому я не боюсь. Все равно ты меня не убьешь.

— Посмотрим. Рассказывай все, скотина,— сказал я, взяв его за ворот и сразу отпустив, потому что у него мягко подалось горло.

— Я отдал ей все, когда она умирала. Ах, ты мне не веришь! — с отчаянием закричал он, как-то подлезая

под меня сбоку, чтобы заглянуть в глаза.— Но ты поверишь мне, потому что я расскажу тебе все. Ты ничего не знаешь. Я не люблю тебя.

— Неужели?

— Но за что мне любить тебя? Ты отнял у меня все, что было хорошего в жизни. Я могу многое, очень многое!..— сказал он надменно.— Мне всегда везло, потому что кругом дураки. Я бы сделал карьеру. Но я плевал на карьеру!

Это было сказано слишком сильно. Насколько мне было известно, Ромашов не только не плевал, а, напротив, стремился сделать карьеру. И это вполне удалось ему, в особенности если вспомнить, что он всегда, еще в школе, был ужасным тупицей.

— Так слушай же,— сказал Ромашов, побледнев еще более, хотя это было, кажется, уже невозможно.— Ты поверишь мне, потому что я скажу тебе все. Экспедиция по розыскам капитана Татаринова — я провалил ее! Сперва я помогал Кате, потому что был уверен, что ты поедешь один. Но она решила ехать с тобой, и тогда я провалил экспедицию. Я написал заявление, очень рискованное,— я бы сам полетел вверх тормашками, если бы мне не удалось его подтвердить. Но мне удалось.

Стопочка бумаги лежала в сером кожаном бюваре с золотыми буквами «М. Р.». Я потянул один лист, и Ромашов замер, вытаращив глаза и глядя куда-то поверх моей головы. Казалось, он стремился заглянуть вперед, в свое будущее, чтобы узнать, угадать, чем грозит ему это простое движение, которым я потянул из бювара лист бумаги и положил его перед собой.

— Да, запиши,— сказал он,— этот человек, который остановил экспедицию, был впоследствии сослан и умер. Но все равно, запиши, если для тебя это еще имеет значение.

— Ни малейшего,— ответил я хладнокровно.

— Я написал, что ты маньяк со своей идеей найти капитана Татаринова, который где-то пропал двадцать лет назад, что ты всегда был маньяк, я знаю тебя со школы. Но что за всем этим стоит другое, совершенно другое. Ты женат на дочери капитана Татаринова, и этот шум вокруг его имени необходим тебе для карьеры. Я писал не один.

— Еще бы!

— Ты помнишь статью «В защиту ученого»? Николай Антоныч напечатал ее, мы сослались на нее в заявлении.

— То есть в доносе?

Я уже записывал, и как можно быстрее.

— Да, в доносе. И мы подтвердили, подтвердили всё! Одну бумажку я подсунул Нине Капитоновне, она подписала, и как трудно было устроить, чтобы ее не вызывали потом. Боже мой, как трудно! Ты даже не знаешь, как все это повредило тебе! И в ГВФ, и потом, когда ты был уже в армии. Наверно, наверно!

Как передать чувство, с которым выслушал я это признание? Я не знал, зачем говорит он правду,— впрочем, очень скоро стал ясен этот несложный расчет. Но как бы обратным светом озарилось все, о чем волей-неволей думалось мне, где бы я ни был и что бы ни случалось со мною.

Глава двадцатая
ТЕНЬ

— Это началось давно, еще в школе,— продолжал Ромашов.— Я должен был просиживать ночи, чтобы ответить урок так же свободно, как ты. Мне хотелось не думать о деньгах, потому что я видел, что деньги нисколько не занимают тебя. Я мечтал стать таким, как ты, стать тобою, и мучился, потому что всегда и во всем ты был выше и сильнее, чем я.

Трясущимися пальцами он вынул из стеклянной коробочки, стоявшей на столе, папиросу и стал искать огонь. Я чиркнул зажигалкой. Он прикурил, затянулся и бросил.

— Случалось, что я встречал тебя на улицах,— прячась в подъездах, я шел за тобою, как тень. Я сидел в театре за твоею спиной. И кажется, боже мой, чем же отличался я от тебя? Но я знал, что вижу другое на сцене, потому что на все смотрел другими глазами, чем ты. Да, не только Катя была нашим спором. Все, что я чувствовал, всегда и везде боролось с тем, что чувствовал ты. Вот почему я знаю все о тебе: ты работал в сельскохозяйственной авиации на Волге, потом на Дальнем Востоке. Ты снова стал проситься на Север — тебе отказали. Тогда ты поехал в Испанию. Господи, это было

так, как будто все, над чем я трудился долгие годы, неожиданно совершилось само! Но ты вернулся! — с отвращением закричал Ромашов.— И с тех пор все пошло хорошо у тебя. Ты поехал с Катей в Энск... Видишь, я знаю все и даже то, что ты давно забыл. Ты мог забыть, потому что был счастлив, а я — нет, потому что несчастен.

Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. Потом открыл, и что-то очень трезвое, острое, бесконечно далекое от этих страстных признаний мелькнуло в его быстром взгляде. Я молча слушал его.

— Да, я хотел разлучить вас, потому что эта любовь всю жизнь была твоим удивительным счастьем. Я умирал от зависти, думая, что ты любишь просто потому, что любишь, а я — еще и потому, что хочу отнять ее у тебя. Быть может, это смешно, что с тобой я говорю о любви! Но кончился спор, я проиграл. И что́ теперь для меня это унижение в сравнении с тем, что ты жив и здоров и что судьба снова обманула меня!

Телефонный звонок послышался в передней. Вышимирский сказал:

— Да, пришел. Откуда говорят?

Но почему-то не позвал Ромашова.

— И вот началась война. Я сам пошел. У меня была броня, но я отказался. Убьют — и прекрасно! Но втайне я надеялся — ты погибнешь, ты! Под Винницей я лежал в сарае, когда один летчик вошел и остановился в дверях, читая газету. «Вот это ребята! — сказал он.— Жаль, что сгорели».— «Кто?» — «Капитан Григорьев с экипажем». Я прочел заметку тысячу раз, я выучил ее наизусть. Через несколько дней я встретил тебя в эшелоне.

Это было очень странно — то, что он как бы искал у меня же сочувствия в том, что, вопреки его надеждам, я оказался жив. Но он был так увлечен, что не замечал нелепости своего положения.

— Ты знаешь, что было потом. Бред, о котором мне совестно вспомнить! Еще в поезде меня поразило, что ты как бы не думал о Кате. Я видел, что эта грязь и бестолочь терзают тебя, но все это было твоим, ты отдал бы жизнь, чтобы не было этого отступления. А для меня это значило лишь, что ты снова оказался выше и сильнее меня.

Он замолчал. Как будто и не было никогда на свете осиновой рощи, кучи мокрых листьев и поленницы, ко-

торая помешала мне размахнуться, как будто я не лежал, опершись руками о землю и стараясь не крикнуть ему: «Вернись, Ромашов!» — так он сидел передо мною, представительный господин в легком сером костюме. У меня даже руки заныли — так захотелось ударить его пистолетом.

— Да, это глубокая мысль,— сказал я.— Кстати, подпиши, пожалуйста, эту бумагу.

Пока он каялся, я писал «показание», то есть краткую историю провала поисковой партии. Это было мукой для меня: я не умею писать канцелярских бумаг. Но «показание М. В. Ромашова», кажется, удалось — может быть, потому, что я так и писал: «подло обманув руководство Главсевморпути» и так далее...

Ромашов быстро прочитал бумагу.

— Хорошо,— пробормотал он,— но прежде я должен объяснить тебе...

— Ты сперва подпиши, а потом объяснишь.

— Но ты не знаешь...

— Подписывай, подлец! — сказал я таким голосом, что он отодвинулся с ужасом и как-то медленно, словно нехотя, застучал зубами.

— Пожалуйста! — Он подписал и злобно бросил перо.— Ты должен благодарить меня, а ты же хочешь сыграть на моей откровенности. Ладно!

— Да, хочу сыграть.

Он посмотрел на меня и, должно быть, вот когда от всей души пожалел, что не прикончил меня в осиновой роще!

— Я вернулся в Москву,— продолжал он,— и сразу же стал хлопотать, чтобы меня перевели в Ленинград. Я ехал через Ладожское, немцы топили суда, но я добрался — и вовремя. Слава богу, слава богу,— добавил он торопливо,— еще день, много... два, и мне досталось бы лишь похоронить ее.

Возможно, что это была правда. Еще когда Вышимирский сказал, что Ромашов был в Ленинграде, я вспомнил рыжего майора, о котором рассказывала дворничиха и дети. «Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, мне не давал». Но другое волновало меня. Ромашов мог уверить Катю, что я погиб — разумеется, в бою, а не в осиновой роще.

— И вот Ленинград. Ты не представляешь, что это было. Я получал триста грамм и половину приносил

Кате. В конце декабря мне удалось достать немного глюкозы. Я искусал себе пальцы, пока нес ее Кате. Я свалился подле ее постели, она сказала: «Миша!» Но у меня не было силы подняться. Я спас ее,— мрачно повторил он, как будто страшная мысль, что я могу не поверить, снова поразила его,— и если сам не погиб, то лишь потому, что твердо знал, что нужен ей и тебе.

— И мне?

— Да, и тебе. Сковородников написал ей, что ты убит,— она была полумертвая от горя, когда я приехал. И ты бы видел, что с нею сталось, когда я сказал, что видел тебя! Я понял в эту минуту, что жалок...— полным голосом сказал Ромашов так громко, что в передней послышался даже какой-то стук, точно Вышимирский свалился со стула,— жалок перед этой любовью! И горько, мучительно раскаялся я в эту минуту, что хотел убить тебя. Это был ложный шаг. Твоя смерть не принесла бы мне счастья.

— Всё?

— Да, всё. В январе меня командировали в Хвойную, я отлучился на две недели, привез мясо, но квартира была уже пуста. Варя Трофимова — наверно, ты знаешь ее — отправила Катю самолетом.

— Куда?

— В Вологду, я выяснил точно. А потом в Ярославль.

— Кого ты запросил в Ярославле?

— Эвакопункт, у меня знакомый начальник.

— И получил ответ?

— Да. Но там только написано, что она прошла через эвакопункт и отправлена в больницу для ленинградцев.

— Покажи-ка.

Он нашел в столе и подал письмо. «Станция Всполье,— прочитал я.— В ответ на ваш запрос...»

— А почему Всполье?

— Там эвакопункт, это в двух километрах от Ярославля.

— Теперь всё?

— Всё.

— Так слушай же меня,— стараясь не волноваться, сказал я Ромашову.— Я не могу прощать или не прощать тебе, что бы ты ни сделал для Кати. Это уже не наш личный спор, после того что ты сделал со мной. Не

со мной спорил ты, когда хотел добить меня, тяжело раненного, обокрал и бросил в лесу одного. Это воинское преступление. Ты его совершил, и тебя прежде всего будут судить как подлеца, который нарушил присягу.

Я взглянул ему прямо в глаза — и поразился. Он не слушал меня. Кто-то поднимался по лестнице, двое или трое; стук шагов гулко отдавался в лестничной клетке. Ромашов беспокойно оглянулся, привстал. Постучали, потом позвонили.

— Открыть? — спросил за стеной Вышимирский.

— Нет! — крикнул Ромашов.— Спросите кто,— как бы опомнясь, добавил он негромко и прошелся по комнате легким, почти танцующим шагом.

— Кто там?

— Откройте, из домоуправления.

Ромашов вздохнул сквозь сжатые зубы:

— Скажите, что меня нет дома.

— Я не знал. Тут звонили, и я сообщил, что вы дома.

— Конечно, дома! — сказал я громко.

Ромашов бросился на меня, схватил за руки. Я оттолкнул его. Он завизжал, потом пошел за мною в переднюю и встал, как прежде, между стеною и шкафом.

— Одну минуту,— сказал я,— сейчас открою.

Вошли двое: пожилой мужчина, очевидно управдом, судя по угрюмому, хозяйскому выражению лица, и тот молодой с медленными движениями, в хорошенькой кепке, которого я видел в домоуправлении. Сперва молодой посмотрел на меня, потом не торопясь на Ромашова:

— Гражданин Ромашов?

— Да.

Вышимирский лязгнул зубами так громко, что все обернулись.

— Оружие?

— Не имеется,— отвечал Ромашов почти хладнокровно. Только какая-то жилка билась на его неподвижном лице.

— Ну что же, соберите вещи. Немного: смену белья. Управдом, пройдите с арестованным. Товарищ капитан, прошу вас предъявить документы...

— Николай Иванович, это чушь, ерунда! — громко сказал Ромашов откуда-то из второй комнаты, где он собирал в заплечный мешок свои вещи.— Я вернусь че-

рез несколько дней. Все та же глупая история с требухой. Помните, я рассказывал: требуха из Хвойной.

Вышимирский снова лягзнул. По всему было видно, что он никогда не слышал ни о какой требухе.

— Саня, я надеюсь, что ты найдешь ее в Ярославле...— еще громче сказал Ромашов.— Передай ей...

Я видел из передней, как он уронил мешок и немного постоял с закрытыми глазами.

— Ладно, ничего,— пробормотал он.

— Виноват, не найдется ли у вас стакана воды? — сказал Вышимирскому человек в хорошенькой кепке.

Вышимирский подал. Теперь все стояли в передней: Ромашов с мешком за спиной, управдом, который так и не сказал ни слова, растерянный Вышимирский с пустым стаканом в руке. Минуту все молчали. Потом агент толкнул дверь.

— До свиданья, простите за беспокойство.

И вежливо пригласил Ромашова пройти.

Вероятно, если бы у меня было время, я бы постарался найти глубокий смысл в том, что судьба, явившись на квартиру Ромашова в лице представителя московской милиции, так решительно помешала закончить наш разговор. Но поезд в Ярославль отходил в 20.20, а мне еще нужно было:

а) явиться к Слепушкину, и не только явиться, но оформиться, что могло занять часа полтора;

б) зайти в наградной отдел — еще в М—ове я получил известие, что мой второй орден Красного Знамени утвержден и я могу получить в наркомате документ;

в) достать что-нибудь на дорогу: почти все, что я привез из М—ова, я оставил одному балтийскому летчику-однополчанину в Ленинграде;

г) достать билет, что, впрочем, мало беспокоило меня, потому что я уехал бы и без билета.

Кроме того, мне еще нужно было написать о Ромашове военному прокурору.

Все это казалось мне совершенно необходимым: моя жизнь в оставшиеся до поезда четыре или пять часов должна была состоять именно из этих забот. А на самом деле мне нужно было просто вернуться к Вале Жукову, от которого я был в пяти минутах ходьбы, и тогда — кто знает? — у меня, может быть, нашлось бы время даже и для того, чтобы подумать над той смесью правды и лжи, которой пытался оправдаться передо

мною Ромашов. Я даже постоял на Арбатской площади: «Не заглянуть ли к Вале?» Но вместо Вали я зашел в парикмахерскую — нужно было побриться и сменить воротничок, прежде чем являться в Гидрографическое управление, где один контр-адмирал намеревался представить меня другому.

Ровно в семнадцать часов я пришел к Слепушкину, а в восемнадцать был уже зачислен в кадры ГУ с откомандированием на Крайний Север, в распоряжение Р. Два или три года тому назад за этими скупыми канцелярскими словами открылась бы передо мною далекая дикая линия сопок, освещенная робким солнцем первого полярного дня, а теперь, полный забот и волнений, я машинально сунул удостоверение в карман и, думая о том, что напрасно не попросил Р. снестись с Ярославлем по военному телеграфу, вышел из управления. Не буду рассказывать о том, как я потерял полтора часа в наградном отделе, и так далее. Но об этой последней в Москве памятной встрече я должен рассказать.

Очень усталый, с заплечным мешком в одной руке, с чемоданом в другой, на станции «Охотный ряд» я спустился в метро. Служебный день кончился, и, хотя летом 1942 года в метро было еще просторно, перед эскалатором стояла толпа. Движущаяся лента поднималась навстречу. Я всматривался в лица москвичей, вдруг подумав, что за весь этот хлопотливый, утомительный день так и не увидел Москвы. Издалека приметил я грузного человека в толстой кепке, в пальто с широкими квадратными плечами, который не поднимался, а плыл, вырастал, снисходительно дожидаясь, когда доставит его наверх эта шумная машина.

Это был Николай Антоныч. Узнал ли он меня? Едва ли. Но если и узнал — что было ему до какого-то маленького капитана в потертом кителе, с некрасивым мешком, из которого торчала горбушка хлеба?

Равнодушно скользнул он по моему лицу сонными и властными глазами.

Часть девятая

НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

Глава первая
ЖЕНА

Точно сиянием светящейся бомбы озарен ночной, незнакомый вокзал на Всполье, полный забот, трудов и волнений войны. Чего не увидишь в этом ярком, неестественном свете! Старший собирает команду, ругаясь, и люди строятся, невыспавшиеся, хмурые,— война. На платформе в ларьке выдают довольствие по командировкам, по аттестату, и бережно берут черный хлеб солдатские руки,— война! Девочка лет пяти потерялась, отстала от эшелона, и уже по радио зовут ее мать, зовут и не могут дозваться,— война! Моряк с мешком в одной руке, с чемоданом в другой слезает с московского поезда, спрашивает, где эвакопункт, и становится в очередь к начальнику в маленькой грязной комнате, битком набитой сидящим, стоящим и спящим народом,— война!

Все вижу я и все помню. Но медленно среди света и тени находит дорогу сознание, над которым зажглась и повисла гигантская светящаяся бомба войны.

Я вижу себя шагающим в город вдоль ночных, полетнему тихих полей. Прожектора бродят в мерцающем покорными звездами небе. Вот и город — на каждой улице меня останавливает и проверяет документы комендантский патруль. Вот и больница для ленинградцев — дежурная сестра обстоятельно объясняет мне, что прошло уже три месяца, как в больнице нет ни одного ленинградца.

— Канцелярия откроется в девять часов,— говорит она,— а сейчас половина четвертого ночи.

Я ложусь на клеенчатый низкий диван. Я сплю и не сплю. Где моя Катя?

Наутро главный врач ведет меня в свой кабинет — белый стол, матовые окна, низкая белая кушетка, покрытая свежей простыней. Далекое воспоминание охватывает меня — семнадцатилетний мальчик, я сижу в приемном покое, а там, за прикрытой дверью, на низкой белой кушетке лежит Марья Васильевна, с белым, точно вырезанным из кости лицом.

— Имя, отчество, фамилия, возраст? — спрашивает главный врач.

Я называю имя, отчество, фамилию, возраст, и, завязывая халат, входит сестра, которой он поручает найти Катину карточку и историю болезни.

Мы курим и разговариваем, разговариваем и курим. Тысяча английских самолетов вновь атаковала Бремен. Что в Москве — правда ли, что подняли хлебную норму? Теперь, когда между нами, США и Англией подписано соглашение, не думаю ли я, что скоро откроется второй фронт?

А в соседней комнате сестра перебирает карточки.

«Карточка — смерть, карточка — жизнь».

Звонит телефон, и главный врач долго ругает завхоза. Я молчу. Насколько все-таки легче молча ждать, что принесет мне сестра: Катину смерть или жизнь!

И сестра возвращается наконец. Еще доругивая завхоза, главный врач берет карточку в маленькие, почти детские руки.

— Ну что ж, все в порядке,— говорит он.— Состояние приличное. Выписалась в марте сорок второго года.

Наверно, я бледнею немного больше, чем полагается в подобных случаях, потому что он встает, обходит стол и, положив руку на мое плечо, повторяет:

— Состояние приличное. Выписалась в марте сорок второго года.

И от души смеется, когда я прихожу в отчаяние, узнав, что в феврале у Кати было всего сорок два процента гемоглобина.

Уехала с лагерем в Новосибирск, теперь это совершенно ясно. Хорошо бы в самый город... Нет! Лагерь расположился в каком-то колхозе, в двухстах километрах от Новосибирска.

В Ярославском облисполкоме я записываю точный адрес: станция Верхне-Ядомская, село Большие Лубни, Шукинского района, Шукинского сельсовета, и так далее — из двадцати пяти слов телеграммы Катин адрес

занимает семнадцать. Я прибавляю к нему свой — и для того, чтобы выразить все, что я чувствую и думаю, остается четыре слова.

Кроме этой телеграммы, я отправляю из Ярославля еще три: в Энск тете Даше с извещением, что Катя жива и я вскоре надеюсь ее увидеть. В Москву Вале Жукову о том, что я не нашел Катю и что она, очевидно, выехала с лагерем в Новосибирск. В Москву же Слепушкину с просьбой разрешить мне дальнейшие розыски жены, как это было условлено в личном разговоре.

К сожалению, мне не удалось достать отдельный номер, а так хотелось остаться одному, отдохнуть и подумать! Впрочем, мой сосед, пожилой пехотный майор, без сомнения, нуждался в отдыхе не меньше, чем я, потому что в восемь часов вечера уже завалился спать, и ничто не могло разбудить его — ни скрип койки, на которой всю ночь я ворочался с боку на бок, ни то, что дежурная по коридору дважды приходила проверять затемнение.

Ночью он проснулся, чтобы покурить, и долго молча сидел, поджав под себя ноги, как турок. Я тоже закурил. Ничего я не знал о нем, он — ничего обо мне, но мы молчали и думали об одном, глядя на красные огоньки наших папирос в темноте. Война соединила нас, двух незнакомых мужчин, в этом номере, и то, о чем мы думали, было войной. Накануне, после двухсот пятидесяти дней обороны, наши части оставили Севастополь.

Сосед докурил и уснул, я — тоже. Но, должно быть, ненадолго, потому что в коридоре кто-то громко сказал:

— Половина второго.

Севастополь представился мне — не тот суровый, раскаленно-пыльный, как бы рванувшийся навстречу своей великой доле, который я видел в сентябре сорок первого года, а прежний, полный смеха и молодых голосов. По воскресеньям мы с Катей приезжали в Севастополь. Катера стояли у причалов; на Историческом бульваре так далеко, как только видит глаз, моряки гуляли с девушками в белых платьях и газовых шарфах. Мы любили смешную игру, которую придумала Катя: как будто она — моя девушка, мы только что познакомились и теперь, так же как эти ребята, должны назначать свидания, писать письма и называть друг друга на «вы». Как прекрасно все было тогда! Я вставал в пять часов, а Катя уже готовила завтрак — легкий, когда я шел на

высокий полет. Потом был жаркий интересный день, и не только потому, что были интересные полеты, а потому, что я знал, что впереди еще «наше время», когда мы будем купаться в черной, опрокинувшей небо воде и маяк на Хараксе будет медленно загораться и гаснуть.

Наверно, это было очень трудно — быть моей женой. Но Катя говорила, что ей было трудно, только когда она не знала, где я и что со мной.

И с необычайной ясностью вспомнилась мне наша единственная за всю жизнь ссора. Это было в Ленинграде, в 1936 году, когда поисковая партия была решена и со дня на день мы должны были ехать на Север. Не прошло и месяца, как скончалась, оставив маленького сына, моя сестра Саня. Мы волновались, не знали, как оставить ребенка, и решились наконец, когда покойная Розалия Наумовна нашла «научную няню». Решились и собрались — и вдруг Петенька захворал.

Бледная, расстроенная, Катя сидела над бельевой корзиной, в которой лежал, раскинувшись, больной ребенок, и горько заплакала, едва я вошел. Я обнял ее.

— Да что с тобой, полно же,— говорил я и гладил ее по мокрой щеке.— Ты поедешь. Ты догонишь нас в Архангельске, вот и все.

Что еще я мог ей сказать? В Архангельске поисковая партия должна была провести не более суток.

— О, как мне не хочется снова расставаться с тобой!

— Еще все устроится.

— Ничего не устроится. Всю зиму я хлопотала, чтобы экспедиция состоялась. Я сделала все, чтобы ты уехал, и вот теперь ты уедешь, и я даже не буду знать, где ты и что с тобой.

— Катя! Катя!

— Не нужно мне ничего! Не нужно этой экспедиции, все равно ты ничего не найдешь... Господи, неужели не стою я этого счастья, о котором другие женщины даже и не думают никогда!.. Да мало ли что может случиться с тобой!

Она видела, что я начинаю сердиться. Но она была в отчаянии, у нее сердце томилось, она вставала и начинала ходить, крепко прижимая руки к груди:

— Я знаю, ты не хотел, чтобы я ехала с тобой! Вот скажи, что это неправда!

— Ну полно!

— Хорошо,— сказала она с тем спокойным отчаянием, которого, кажется, испугалась сама,— кончим этот спор. Я еду. Ты не хочешь, я знаю, потому что не любишь меня...

Мы говорили до утра. На другой день Петеньке стало лучше, а еще через день он был совершенно здоров.

Это был первый и последний разговор о том, что всю жизнь мучило и волновало ее. Ей было тяжело, когда она понимала, что никогда не проникнет в тот мир, ради которого я так часто забывал о ней, покидал ее! И еще тяжелее, когда она старалась не думать об этом.

Что же нужно было переломить в душе, чтобы проводить меня, как она проводила меня в Испанию! Когда в Сарабузе я впервые повел в ночной полет свою эскадрилью, от жены своего штурмана я случайно узнал, что Катя не спала всю ночь, дожидаясь меня.

Где же ты, Катя? У нас одна жизнь, одна любовь — приди ко мне, Катя! Впереди еще много трудов и забот, война еще только что началась. Не покидай меня! Я знаю, тебе было трудно со мной: ты очень боялась за меня, всю жизнь мы встречались под чужой крышей. А разве я не понимаю, как нужен, как важен для женщины дом? Может быть, я мало любил тебя, мало думал о тебе... Прости меня, Катя!

Не знаю, наяву или во сне я умолял ее не покидать меня, хоть присниться, не верить тому, что я никогда не вернусь!

Глава вторая
ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ КОНЧИЛОСЬ

Не знаю, было ли часа четыре ночи, когда, открыв глаза, увидел над собой бледное сонное лицо дежурной по коридору.

— Вы — Григорьев?

— Да.

— Телеграмма. Надо расписаться... Зайдите, товарищ,— сказала она. (И, осторожно стуча сапогами, красноармеец вошел и остановился у порога.) — С военного телеграфа.

Я расписался и вскрыл телеграмму. «Немедленно выезжайте Архангельск прибытие сообщите Лопатин».

Разумеется, телеграмма была из Гидрографического управления. Но почему не Слепушкин, с которым я договорился о дальнейших розысках Кати, если не найду ее в Ярославле, ответил мне, а какой-то Лопатин? Почему немедленно? Почему в Архангельск? Правда, для любых гидрологических работ по Северному морскому пути основной базой оставался Архангельск. Но разве Г. не говорил, что мы встретимся в Полярном, где его планы должен был утвердить командующий Северным флотом?

Все это разъяснилось — и очень скоро. Но тогда, в Ярославле, в маленьком, грязном номере гостиницы, приподняв синюю бумажную штору, я читал и перечитывал телеграмму, и досадное чувство запутанности, неясности, которое чем-то грозило Кате и отнимало у меня надежду вскоре увидеть ее,— это чувство все больше волновало меня.

Так ничего и не придумав, я вновь отправился на телеграф, и в село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета и так далее, полетела еще одна, на этот раз срочная, телеграмма. Накануне я послал простую, потому что у меня было только семьсот рублей, а путь предстоял далекий.

Теперь мне предстоял недалекий путь — только тысяча километров на север от Кати...

С той минуты, как в М—ове я занял место в пассажирской каюте, прошло немного дней. Но так много увидел я за эти дни, что душа как бы отказалась принять все впечатления и согласилась лишь на те, которые были связаны с моей судьбой. Более полугода я видел одно и то же: стены госпитальной палаты и за ними — чужой уральский город на берегу Камы. Но вот он остался бог весть где, пропал, потонул в сизой дымке, как не был, а навстречу мне полетели моментальные снимки Ленинграда, Москвы, Ярославля. Я сказал — моментальные. Но это были как бы запечатленные навек моментальные снимки. И равно вечен был суровый, требовательный Ленинград с его забитыми окнами-веками, под которыми таилась небывалая воля, и ночной вокзал на Всполье с его бессонницей, усталостью и грязью войны...

Вот что я узнал, явившись прямо с поезда в штаб Беломорской военной флотилии: Лопатин, которого я ругал всю дорогу, оказался начальником отдела кадров Гидрографического управления — лишь теперь я припомнил, что в наркомате слышал эту фамилию. Никакой путаницы не было в его телеграмме. Со времени моего отъезда из Москвы на Крайнем Севере произошли события, которые заставили контр-адмирала Р. немедленно вылететь к месту назначения. В Полярном ни ему, ни мне уже нечего было делать, потому что командующий флотом, инспектируя базы, сам выехал в Архангельск. Свидание его с Р. состоялось третьего дня. Очевидно, план «интереснейшей штуки» был утвержден, потому что немедленно после этого свидания Р. вылетел на Диксон. Без сомнения, он очень торопился или мог обойтись без меня, иначе на мой счет в штабе флотилии были бы оставлены указания...

— Вы опоздали, капитан, сказал мне начальник отдела кадров, добродушный седой человек, с усами и подусниками, похожий на старого матроса времен первой севастопольской обороны.— Ума не приложу, что теперь с вами делать. Вдогонку посылать не станем.

И он приказал мне явиться через несколько дней...

Но как изменился Архангельск, как, оставшись самим собою, он стал удивительно не похож на себя!

Американские матросы бродили по улицам, в шапочках с помпонами, в клешах, в шерстяных рубашках, обтягивающих талию и свободно выпущенных на штаны. Англичане, с начальными буквами HMS (его величества корабль) на бескозырке, держались немного строже, но и у них был беспечный вид, совершенно отличавший их от наших моряков и казавшийся мне странным. Негры встречались на каждом шагу, черные и оливково-черные,— должно быть, мулаты. Китайцы стирали рубахи в Северной Двине, прямо под набережной, и, громко болтая на своем гортанно-глухом языке, растягивали их под солнцем между большими камнями.

А Двина, такая просторная, русская, что другой такой, казалось, и не могло быть на свете, свободно раскинувшись, вела вперед свои полные воды.

Как ножом отваливая сверкающую волну, проходили катера все на ту сторону, к торговому порту...

Не иностранцы, на которых я смотрел с острым, но поверхностным любопытством, занимали меня в эти дни.

Это был город Седова, Брусилова. На кладбище в Соломбале я долго стоял у могилы «корпуса штурманов поручика и кавалера Петра Кузьмича Пахтусова, скончавшегося 36 лет от роду от понесенных в походах трудов и огорчений». Отсюда капитан Татаринов повел в далекий путь свою белую шхуну. Здесь умер в городской больнице штурман Климов, единственный участник экспедиции, добравшийся до Большой земли. В местном музее экспедиции «Св. Марии» был посвящен целый отдел, и среди знакомых экспонатов я нашел интересные, новые для меня воспоминания художника П., друга Седова, о том, как штурман Климов был найден на мысе Флора.

С утра, написав очередное письмо в село Большие Лубни и не зная, чем еще заняться, я спускался вниз к Кузнечихе. Острый запах соснового бора стоял над рекой; мост был разведен; маленький пароходик, огибая бесконечные плоты, возил народ к пристани от проспекта. Куда ни взглянешь, везде было дерево и дерево: узкие деревянные мостки вдоль приземистых николаевских зданий, в которых были разбиты теперь госпитали и школы, деревянные мостовые, а на берегах целые здания из штабелей свежераспиленных досок. Это была Соломбала, и я нашел дом, в котором жил капитан Татаринов, когда снаряжалась «Св. Мария».

Он спускался с крыльца этого маленького бревенчатого дома и шел через садик — широкоплечий, высокий, в белом кителе, с усами, по-старинному загнутыми вверх. Упрямо наклонив голову, он слушал какого-нибудь купца Демидова, который требовал у него денег за солонину или «приготовление готового платья».

А там, в торговом порту, среди тяжелых грузовых пароходов с боковыми колесами была чуть видна тонкая и стройная шхуна — слишком тонкая и стройная, чтобы пройти из Архангельска во Владивосток вдоль берегов Сибири.

Одно незначительное, но важное для меня событие странным образом оживило эти туманные картины.

...Накануне пришел конвой, и я поехал в порт Б. посмотреть, как разгружают иностранные суда.

Ого, как вырос, каким просторно-прочно-солидным стал этот старинный порт! Километра два прошел я вдоль причалов, а все еще не было конца подъемным кранам, складывающим в высокие, прямоугольные шта-

беля военные и невоенные грузы. И порт еще достраивали, удлиняли. Я дошел до конца и остановился, чтобы одним взглядом окинуть плавно заворачивающую, как бы откинувшуюся назад панораму причалов. И вот именно в эту минуту маленький пароходик, энергично пыхтя, обогнул большое американское судно с «харрикейном» на носу и стал подходить к причалу. Я взглянул на его название: «Лебедин», и, помнится, подумал, что это красивое имя стало, очевидно, традиционным в северных водах. Так звался пароход, на котором друзья и родные Татаринова подошли к его шхуне, чтобы в последний раз обнять капитана и пожелать ему «счастливого плавания и достижений». Возможно ли, что это тот самый «Лебедин», который в одной статье был назван «первым русским ледоколом»? Конечно, нет!

Матрос катил по сходням бочку с горючим. Я попросил его позвать капитана, и минуту спустя румяный парень лет двадцати пяти, в простой синей спецовке, вышел на палубу, вытирая тряпкой черные от масла руки.

— Товарищ капитан, у меня к вам исторический вопрос,— сказал я.— Вы случайно не знаете: до революции ваш буксир тоже звался «Лебедином»?

— Да.

— Когда он спущен?

— В тысяча девятьсот седьмом году.

— И всегда ходил под этим названием?

— Всегда.

Я объяснил ему, в чем дело, и он со спокойной гордостью оглядел свое судно, точно никогда и не сомневался, что оно займет свое место в истории русского флота.

Быть может, это покажется немного смешным, но встреча с «Лебедином» обрадовала и необычайно оживила меня.

«Еще ничего не кончилось»,— как будто сказал мне этот старый буксир с таким румяным, молодым капитаном.

...Явившись в третий раз к начальнику отдела кадров, я попросил его послать меня в полк или, если это невозможно, направить в распоряжение командования ВВС Северного флота.

Без сомнения, он был уже в курсе моих личных и служебных дел, потому что, помолчав, спросил с добродушно-одобрительным видом:

— А здоровье?

Я отвечал, что здоровье в полном порядке. Это была правда или почти правда — на Севере я всегда чувствовал себя лучше, чем на Юге, Западе и Востоке.

— Ладно, чем в такое время болтаться без дела, пускай найдут применение,— неопределенно, но вполне разумно сказал начальник отдела кадров.

Конечно, он имел в виду применение на земле. «Черта с два, буду летать»,— сразу же подумал я, глядя на его старую, но крепкую руку, которая вывела и дважды подчеркнула мою фамилию на перекидном блокноте-календаре.

Глава третья
СВОБОДНАЯ ОХОТА

Все превосходно — капитан является в полк, командир полка представляет его товарищам, экипажу. Этот задумчивый, равнодушный штурман-латыш, с трубкой, в широких штанах, заменит ли он дорогого погибшего Лури?

Среди летчиков капитан находит своих бывших учеников еще по Балашовской школе. Он живет в новом рубленом доме, стены которого еще пахнут смолой, в просторной комнате, вместе со своим экипажем, и вид из окна напоминает ему молодость в маленьком городе за Полярным кругом.

С изумлением он убеждается в том, что многие летчики знают его и даже считают несправедливым (разумеется, без малейших оснований), что у него только два ордена, а не четыре. Итак, все прекрасно. Но на деле все далеко не так прекрасно, как это кажется с первого взгляда. На деле капитан не спит по ночам, читая и перечитывая письмо из села Большие Лубни, в котором какой-то директор Перышкин сообщает ему, что Катерина Ивановна Григорьева-Татаринова, насколько ему известно, выехала из лагеря еще в мае, то есть «до отъезда такового в Новосибирскую область», причем о бабушке и маленьком Пете директор Перышкин почему-то не упоминает ни слова.

На деле полк, в который командующий ВВС направил капитана,— торпедно-бомбардировочный; следовательно, капитан должен изучить новую специальность.

На деле он глубоко потрясен, потому что в первом же полете убеждается, что совершенно отвык от Севера, так отвык, что забыл даже «чувство земли», которое здесь всегда было немного другим.

Но все это еще не беда. Все придет в свое время. Все можно исправить, кроме непоправимого, которое приходит не спрашиваясь и от которого никуда не уйдешь.

Я не стану особенно много рассказывать о воздушной войне на Севере, хотя это очень интересно, потому что нигде не проявились с таким блеском качества русского летчика, как на Севере, где ко всем трудностям и опасностям полета и боя часто присоединяется плохая погода и где в течение полугода стоит полярная ночь. Один британский офицер при мне сказал: «Здесь могут летать только русские». Конечно, это лестное преувеличение, но мы вполне заслужили его.

Сама обстановка боя на Севере тоже была куда сложнее, чем на других воздушных театрах войны. Немецкие транспорты обычно шли почти вплотную к высоким берегам — так близко, как только позволяла приглубость. Топить их было трудно — не только потому, что вообще очень трудно топить транспорты, а потому, что выйти на транспорт из-под высокого берега невозможно или почти невозможно. Мы не могли пользоваться почти половиной всех румбов (180°), а попробуйте-ка без этой половины атаковать корабль, над которым нужно пройти как можно ниже, чтобы торпеда, сброшенная в воду, вернее попала в цель. При этом корабль не ждет, разумеется, когда его утопят, а вместе с конвоем открывает огонь из всех своих зениток, пулеметов и орудий главного калибра. Сжав зубы, не узнавая себя в азарте боя, лезешь ты в этот шумный, разноцветный ад!

Вероятно, если бы час за часом, день за днем рассказать, как мы жили на Н., получилась бы однообразная картина. Полеты и разборы полетов. Ученье, то есть те же полеты. Обеды в длинном деревянном бараке, и за столом — разговоры о полетах. По вечерам — офицерский клуб, открывшийся при мне, которым в особенности увлекалась молодежь, с завидной легкостью переходившая от смертельной опасности торпедной атаки к танцам и болтовне с девушками. Девушкам — младшим

офицерам — резрешалось в штатском платье являться на эти вечера.

Быть может, именно эти переходы, как ничто другое, отражали не простоту или мнимое однообразие, а, напротив, необычайность, почти фантастичность, которой на самом деле была полна наша жизнь. Лететь в темноте под крутящимся снегом, лететь над морем на пробитом, как решето, самолете, после боя, который еще звенит в остывающем теле, и через два часа явиться в светлые, нарядные комнаты офицерского клуба, пить вино и болтать о пустяках — как же нужно было относиться к смерти, чтобы не замечать этого контраста или, по меньшей мере, не думать о нем? Впрочем, и я думал о нем только в первые дни.

Выше я упомянул, что в особенности молодежь увлекалась клубом. Но почти весь полк состоял из молодых людей — только трем или четырем «старикам», вроде меня, было за тридцать. Герой Советского Союза, которого все называли просто Петей, потому что иначе и нельзя было называть этого румяного горбоносого юношу с азартно вылупленными глазами, командовал полком. Ему едва исполнилось двадцать четыре года.

Это тоже был вопрос, о котором стоило подумать,— один из многих вопросов, которые нежданно-негаданно накатили на меня, когда я приехал на Север. Новое поколение летчиков было выдвинуто войной,— поколение, у которого нам еще приходилось кое-чему поучиться. Разумеется, между нами не было никакой пропасти — почему-то полагается думать, что между «отцами и детьми» непременно должна быть пропасть. Но что-то было — недаром же на Н. я был менее осторожен, чем всегда, и легче шел на разные рискованные штуки.

Кто знает, может быть, именно потому, что я так «помолодел», судьба, которая сурово расправилась со мной в начале войны, здесь, на Н., отнеслась ко мне совершенно иначе.

В июле я ходил еще с бомбами на Киркенес — и довольно удачно, как показали снимки. В начале августа я уговорил командира полка отпустить меня на «свободную охоту» — так называется полет без данных разведки, но, разумеется, в такие места, где наиболее вероятна встреча с немецким конвоем. И вот в паре с одним лейтенантом мы утопили транспорт в четыре тысячи тонн. Утопил, собственно говоря, лейтенант, потому что моя

торпеда, сброшенная слишком близко, сделала мешок под килем и «ушла налево». Но все было проверено в этом бою, в том числе и раненая нога, которая вела себя превосходно. Я был доволен, хотя на разборе полетов командир эскадрильи (некогда в Балашове я чуть не отчислил его от школы, потому что у него никак не выходил разворот) с неопровержимой ясностью доказал, что именно так «не следует топить транспорты». Через два-три дня ему пришлось повторить свои доказательства, потому что я прошел над транспортом еще ниже — так низко, что принес домой кусок антенны, застрявший в плоскости самолета. При этом транспорт — мой первый — был потоплен, так что доказательства, не потеряв своей стройности, приобрели лишь теоретическое значение.

Короче говоря, в середине августа я утопил второй корабль — в шесть тысяч тонн, охранявшийся сторожевиком и миноносцем. На этот раз я шел в паре с командиром эскадрильи и, к своему удовольствию, заметил, что он атаковал еще ниже, чем я. Разумеется, самому себе он выговора не сделал.

Так шла моя жизнь — в общем, очень недурно. В конце октября командующий ВВС поздравил меня с орденом Александра Невского.

У меня были уже и друзья на Н.— неподвижный, молчаливый штурман, с трубкой, в широких штанах, оказался умным, начитанным человеком. Правда, он говорил немного, а в полете и вообще не говорил, но зато на вопрос: «Где мы?» — всегда отвечал с точностью, которая меня поражала. Мне нравилась его манера выводить на цель. Мы были разные люди, но невозможно не полюбить того, кто каждый день рядом с тобой делит тяжелый, рискованный труд полета и торпедной атаки. Если уж нас ждала смерть, так общая: в один день и час. А у кого общая смерть, у тех и общая жизнь.

Не только со своим штурманом я близко сошелся на Н. Но это была не та дружба, по которой я тосковал. Недаром же от этой поры у меня сохранилась груда неотправленных писем — я надеялся, что мы с Катей прочтем их после войны.

Между тем друг, и самый истинный, был так близко, что стоило только сесть на катер — и через двадцать минут я мог обнять его и рассказать ему все, о чем я рассказывал Кате в своих неотправленных письмах.

Глава четвертая

ДОКТОР СЛУЖИТ В ПОЛЯРНОМ

Всю ночь мне снилось, что я снова ранен. Доктор Иван Иваныч склоняется надо мной, я хочу сказать ему: «Абрам, вьюга, пьют» — и не могу, онемел. Это был повторяющийся сон, но с таким реальным, давно забытым чувством немоты я видел его впервые.

И вот, проснувшись еще до подъема и находясь в том забытьи, когда все чувствуешь и понимаешь, но даешь себе волю ничего не чувствовать и не понимать, я стал думать о докторе и вспомнил рассказ Ромашова о том, как доктор приезжал к сыну на фронт. Не знаю, как это объяснить, но что-то неясное и как бы давно беспокоившее меня почудилось мне в этом воспоминании. Я стал перебирать его слово за словом и понял, в чем дело: Ромашов сказал, что доктор служит в Полярном.

Тогда, в эшелоне, я решил, что это просто вздор. Представить, что доктор может расстаться с городом, в котором даже олени поворачивали головы, когда он проходил! С домом на улице его имени! С ненцами, которые прозвали его «изгоняющим червей» и приезжали советоваться о значении примуса в домашнем хозяйстве! Ромашов ошибся — не в Полярном, а в Заполярье.

Но в то утро на Н., сам не зная почему, я подумал: «А вдруг не ошибся?»

В самом деле — мог ли доктор приехать из Заполярья, которое было за тридевять земель, в Ленинград летом 1941 года? Что если он действительно служит в Полярном и я вот уже три месяца живу бок о бок с моим милым, старым, дорогим другом...

Дежурный вошел, сказал негромко:

— Подъем, товарищи,— и захлопал глазами, увидев, что одной рукой я поспешно натягиваю брюки, а другой снимаю китель, висевший на спинке стула.

Замечательно, что доктор вспомнил обо мне в тот же день и час — он уверял меня в этом совершенно серьезно. Накануне он прочел приказ о моем награждении и сперва не подумал, что это я, потому что «мало ли Григорьевых на свете». Но на другой день под утро, еще лежа в постели, решил, что это, без сомнения, я, и так же, как я, немедленно бросился к телефону.

— Иван Иваныч, дорогой! — сказал я, когда хриплый, совершенно невероятный для Ивана Иваныча голос донесся до меня, как будто с трудом пробившись сквозь вой осеннего ветра, разгулявшегося в то утро над Кольским заливом.— Это говорит Саня Григорьев. Вы узнаете меня? Саня!

Осталось неизвестным, узнал ли меня доктор, потому что хриплый голос перешел в довольно мелодичный свист. Я бешено заорал, и телефонистка, оценив мои усилия, сообщила, что «докладывает военврач второго ранга Павлов».

— Что — докладывает? Вы ему скажите — говорит Саня!

— Сейчас...— сказала телефонистка.— Он спрашивает, идете ли вы сегодня в полет.

Я изумился:

— При чем тут полет? Вы ему скажите — Саня.

— Я сказала, что Саня,— сердито возразила телефонистка.— Будете ли вы сегодня вечером на Н. и где вас найти?

— Буду! — заорал я.— Пускай идет в офицерский клуб. Понятно?

Телефонистка ничего не сказала, потом что-то переставилось в трубке, и уже как будто не она, а кто-то другой буркнул:

— Придет.

Я еще хотел попросить доктора заглянуть в политуправление, узнать, нет ли для меня писем,— прошло дней десять, как я не справлялся о письмах, между тем адрес политуправления в Полярном был оставлен Кораблеву и Вале. Но больше ничего уже не было слышно.

Конечно, это было чертовски приятно: узнать, что доктор в Полярном и что я сегодня увижу его, если не разыграется шторм. Но все-таки для меня так и осталось загадкой, почему, придя в клуб, я выпил сперва белого вина, потом красного, потом снова белого и так далее. Разумеется, все было в порядке, тем более что командующий ВВС ужинал в соседней комнате с каким-то военным корреспондентом. Но знакомые девушки, время от времени, между фокстротами, садившиеся за мой столик, очень смеялись, когда я объяснил им, что, если бы я умел танцевать, у меня была бы совершенно другая, блестящая жизнь. Все неудачи произошли только по одной причине: никогда в жизни я не умел танцевать.

В сущности, здесь не было ничего смешного, и мой штурман, например, который, задумчиво посасывая трубочку, сидел напротив меня, сказал, что я совершенно прав. Но девушки почему-то смеялись.

В таком-то прекрасном, хотя и немного грустном настроении я сидел в офицерском клубе, когда у входа появился и стал осторожно пробираться между столиками высокий пожилой моряк с серебряными нашивками — по-моему, доктор Иван Иваныч.

Возможно, что я подумал о том, как он сгорбился и постарел, как поседела его бородка! Но все это, разумеется, был только мираж, а на деле прежний загадочный доктор моего детства шел ко мне, подняв очки на лоб и собираясь, кажется, взять меня за язык или заглянуть в ухо.

— Доктор, я хочу пригласить вас к больному,— сказал я серьезно.— Интересный случай! Человек может произнести только шесть слов: кура, седло, ящик, вьюга, пьют и Абрам.

— Саня!

Мы обнялись, взглянули друг на друга и опять обнялись.

— Дорогой Иван Иваныч, я немного пьян, не правда ли? — сказал я, заметив, что тень огорчения скользнула по его доброму, смешному лицу.— Мы чертовски продрогли на аэродроме, и вот... Познакомьтесь, майор Одолин.

— Давно ли ты здесь, Саня? — говорил доктор, когда штурман, пробормотав что-то, ушел, чтобы не мешать нашей встрече.— Каким образом мы могли так долго не встретиться, Саня?

— Три месяца. Конечно, я виноват.

— Разве ты не знал, что я в Полярном? Ведь я же оставил Катерине Ивановне адрес!

— Кому?

Должно быть, у меня дрогнуло лицо, потому что он поправил очки и уставился на меня с тревожным выражением.

— Твоей жене, Саня,— осторожно сказал он.— Надеюсь, она здорова? Я был у нее в Ленинграде.

— Когда?

— В прошлом году, в августе. Где она, где она? — спрашивал он, подвинувшись ко мне совсем близко и беспокойно моргая.

— Не знаю. Можно вам налить?

И я взялся за бутылку, не дожидаясь ответа.

— Полно, Саня,— мягко сказал доктор и отставил в сторону сперва свой стакан, потом мой.— Расскажи мне все... Ты помнишь Володю? Он убит...— вдруг сказал он, как будто чтобы доказать, что теперь я могу рассказать ему все. И у него глаза заблестели от слез под очками.

Опустив головы, сидели мы в светлом, шумном офицерским клубе. Оркестр играл фокстроты и вальсы, и медь слишком гулко отдавалась в небольших деревянных залах.

Молодые летчики смеялись и громко разговаривали в коридоре, отделявшем гостиные от ресторана. Быть может, вот этот, лет двадцати, с таким великолепным разворотом плеч, с такими сильными, сросшимися бровями, еще сегодня ночью, в тумане, над холодным, беспокойным морем, увидет смерть, которая, как хозяйка, войдет в кабину его самолета... Точно что-то огромное, каменное, неудобное было внесено в дом, где мы прекрасно жили, и теперь, чтобы разговаривать, танцевать и смеяться, не думая об этом каменном и неудобном, нужно было умереть, как умер Володя.

Когда-то он писал стихи, и четыре строчки о том, как «эвенок Чолкар приезжает из школы домой», до сих пор я знал наизусть. Он гордился тем, что в Заполярье приезжал МХАТ, и встречал артистов с цветами. Это было счастье для доктора, что у него был такой сын, и вот старик сидит передо мной, повесив голову и стараясь справиться со слезами.

— Но где же Катя, что с ней?

Я рассказал, как мы потеряли друг друга.

— Господи, да ведь это же ты пропал — не она! — с изумлением сказал доктор.— Ты воевал на трех морях, был ранен, лежал в госпитале — не она. Жива и здорова! — торжественно объявил он.— И разыскивает тебя день и ночь. И найдет — или я не знаю, что такое женщина, когда она любит. Вот теперь действительно налей. Мы выпьем за ее здоровье...

Уже было сказано самое главное, уже прошла горькая минута сознания, что жизнь продолжается, хотя

я не нашел жену и не знаю, жива ли она, а доктор потерял сына, а мы всё никак не могли перешагнуть через эту минуту. Слишком много было пережито за последние годы — так много, что прежние мостики между нами показались теперь хрупкими и далекими. Но у нас был один общий могущественный интерес, и едва отступило видение горя, как он ворвался в нашу беседу.

Конечно, это был Север. Как два старых, опытных врача у постели больного, мы заговорили о том, как защитить Север, как уберечь его, как сделать, чтобы он стал самым лучшим, веселым и гостеприимным местом на свете. Я рассказал доктору об однополчанах, о молодежи, которая превосходно дерется и при этом очень мало думает о будущем Севера и еще меньше о его прошлом.

— Некогда, вот и не думают,— сказал доктор.— Может быть, и правильно, что не думают,— добавил он, помолчав.

Но, вместо того чтобы доказать, что это правильно, он стал рассказывать «о тех, кто думает», то есть о коренных северянах.

Он рассказал о братьях Анны Степановны, которые служили на транспортных судах, а теперь на «морских охотниках» сражаются так, словно всю жизнь были военными моряками.

— Нет, ничего не пропало даром,— заключил он.— А что Север — фасад наш, как писал Менделеев, для меня никогда еще не было так очевидно, как теперь, во время войны!

Пора было уходить. Мы остались в ресторане одни. У доктора еще не было ночлега. Следовательно, чтобы устроить ему койку, нужно было пораньше вернуться в полк.

Вообще вечер кончился, в этом не было никаких сомнений. Но боже мой, как не хотелось соглашаться с тем, что он уже кончился, в то время как мы не сказали друг другу и десятой доли того, что непременно хотели сказать! Ничего не поделаешь! Спустившись вниз, мы надели шинели, и теплый, светлый, немного пьяный мир остался за спиной, и впереди открылась черная, как вакса, Н., по которой гулял нехороший, невежливый, невеселый нордовый ветер.

Глава пятая
«ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ»

Подводники были главными людьми в здешних местах — и не только потому, что в начале войны они сделали очень много, едва ли не больше всех на Северном флоте, но потому, что характерные черты их быта, их отношений, их напряженной боевой работы накладывали свой отпечаток на жизнь всего городка. Нигде не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все погибают, либо все побеждают. Каждый военный труд тяжел, но труд подводников, особенно на «малютках», таков, что я бы, кажется, не согласился променять на один поход «малютки» десять самых опасных полетов. Впрочем, еще в детстве мне представлялось, что между людьми, спускающимися так глубоко под воду, непременно должен быть какой-то тайный уговор, вроде клятвы, которую мы с Петькой когда-то дали друг другу.

В паре с одним капитаном мне удалось потопить третий транспорт в конце августа 1942 года. «Малютка» знаменитого Ф. с моей помощью утопила четвертый. Об этом не стоило бы и упоминать — я шел пустой и мог только сообщить в штаб координаты германского судна, но Ф. пригласил меня на «поросенка», и с этого «поросенка» начались события, о которых стоит рассказать.

Кто не знает знаменитой флотской традиции — отмечать каждое потопленное судно торжественным обедом, на котором командование угощает победителей жареным поросенком? Накануне были пущены ко дну транспорт, сторожевик и эсминец, и озабоченные повара в белых колпаках внесли не одного, а целых трех поросят в просторную офицерскую столовую, где буквой «П» стояли столы и где за перекладиной этой буквы сидел адмирал — командующий Северным флотом.

Аппетитные, нежно-розовые, с бледными, скорбными мордами поросята лежали на блюде, и три командира стояли над ними с большими ножами в руках. И это было традицией — победители должны своими руками разделить поросенка на части. Ну и части! Огромный ломоть, набитый кашей и посыпанный затейливыми стружками хрена, плывет ко мне через стол! И нужно справиться с ним, чтобы не обидеть хозяев.

Адмирал встает с бокалом в руке. Первый тост — за командиров-победителей, за их экипажи. Я смотрю на него — он приезжал в наш полк, и мне запомнилось живое, молодое движение, с которым, закинув голову, он встанозился, слушая командира полка, отдававшего рапорт. Он молод — всего на четыре года старше меня. Впрочем, я помню его еще по Испании.

За тех, кто в море,— второй тост! Звенят стаканы. Стоя пьют моряки за братьев, идущих на подвиг в пустыне арктической ночи. За воинскую удачу и спокойствие сердца в опасный, решительный час!

Теперь адмирал смотрит на меня через стол — я сижу справа от него, среди гостей-журналистов, которым Ф. с помощью вилки и ножа наглядно показывает, каким образом был потоплен эсминец. Не сводя с меня глаз, адмирал что-то говорит соседу, и сосед, командир дивизиона, произносит третий тост. За капитана Григорьева, который «умело навел на германский караван подводную лодку». И адмирал показывает жестом, что пьет за меня...

Много было выпито в этот вечер, и я не стану перечислять всех тостов, тем более что журналисты, о которых я упомянул, рассказали об этом «тройном поросенке» в периодической прессе. Скажу только, что адмирал исчез совершенно неожиданно: вдруг встал и вышел. Проходя за моим стулом, он наклонился и, не давая мне встать, сказал негромко:

— Прошу вас сегодня зайти ко мне, капитан.

Глава шестая
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

Машина оторвалась, и через несколько минут эта каша из дождя и тумана, до которой на земле нам не было никакого дела, стала важной частью полета, который как всякий полет, складывается из: а) задачи и б) всего, что мешает задаче.

Мы пошли «блинчиком», то есть с маленьким креном, развернулись и встали на курс.

Итак, задача, или «особое задание», как сказал адмирал: немецкий рейдер (очевидно, вспомогательный крейсер) прошел в Карское море, обстрелял порт Т. и

бродит где-то далеко на востоке. Я должен был найти и утопить его — чем скорее, тем лучше, потому что наш караван с военными грузами шел по Северному морскому пути и находился сравнительно недалеко от этого порта. Да и вообще нетрудно было представить себе, что может сделать в мирных водах большой военный корабль!

...Как ни лень было тянуть, а пришлось добирать до пяти с половиной. Но и здесь не было ничего, кроме все той же унылой облачной каши, которую кто-то, вроде самого господа бога, круто размешивал великанской ложкой.

Итак — найти и утопить! Нельзя было даже сравнивать, насколько первое было сложнее второго! Но как был поражен адмирал, когда я исправил на его карте почти все острова восточной части архипелага Норденшельда!

— Вы были там?

— Нет.

Он не знал, что я был и не был там. Карта архипелага Норденшельда была исправлена экспедицией «Норда» перед самой войной. Я не был там. Но когда-то в этих местах прошел капитан Татаринов и мысленно я, вслед за ним, тысячу раз.

Да, прав был доктор Иван Иваныч: ничто не пропадает даром! Жизнь поворачивает туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река в темноте, в тишине вечной ночи, и вдруг выходит на простор, к солнцу и свету, как вышла сейчас моя машина из облачной каши,— выходит, и оказывается, что ничто не пропадает даром!

Это была привычная мысль — как шла бы моя жизнь на Севере, если бы Катя нашлась и мы вместе жили на Н.

Она бы проснулась, когда в четвертом часу ночи я зашел бы домой перед полетом. Она была бы румяная, теплая, сонная. Быть может, войдя, я поцеловал бы ее не так, как всегда, и она сразу поняла бы, как важно и интересно для меня то, что поручил адмирал.

Так это было тысячу раз, но будет ли когда-нибудь снова?

Вот мы сидим и пьем кофе, как в Сарабузе, Ленинграде, Владивостоке, когда я будил ее ночью. В халатике, с косами, заплетенными на ночь, она молча смотрит на меня и вдруг бежит куда-то, вспоминает, что у нее есть что-то вкусное для меня — пьяная вишня или маслины, которые мы оба любили. И потом, в полете, весь экипаж хвалит мою жену и ест маслины или пьяную вишню.

Да, это была моя Катя, с ее свободой и гордостью, и любовью, от которой вечно, должно быть до гроба, будет кружиться моя голова. Катя, о которой я ничего не знаю, кроме того, что ее нет со мной. Хотя бы поэтому нужно непременно найти и утопить этот рейдер.

— Штурман, курс!

На три градуса разошлись пилотский и штурманский курсы и превосходно сошлись, когда из карманов были выброшены портсигары, фонарики, зажигалки...

О чем я думал? О Кате. О том, что лечу в те места, куда некогда должен был отправиться с нею и куда меня не пускали так долго. Разве не знал я наверное, безусловно, что придет время — и я прилечу в эти места? Разве не чертил с точностью до полуградуса маршрут, по которому, как в детском ослепительном сне, прошли люди со шхуны «Св. Мария»,— прошли, тяжело дыша, с закрытыми, чтобы не ослепнуть, глазами? Прошли, и впереди — большой человек, великан в меховых сапогах...

Но это был уже бред. Я прогнал его. Новая Земля была недалеко.

Вы бы соскучились, если бы я стал подробно рассказывать о том, как мы искали рейдер. Однообразна пустыня арктических морей, трудно найти замаскированную, чуть заметную полоску военного корабля в этой беспредельной пустыне. Добрых две недели мы перелетали с базы на базу. Один из полетов продолжался семь часов — лучше, если бы он был покороче, потому что, пройдя над Карским морем в двух направлениях и вернувшись к Новой Земле, мы не нашли ее, как будто эти огромные острова до сих пор просто по ошибке значились на географической карте. Пока хватало горючего, в черном тумане мы ходили над ней, и если бы ветер, на наше счастье, не проделал в тумане небольшую светлую дырку, пожалуй, мне бы не удалось дописать эту книгу. Мы бросились к этому пятнышку, сразу закрыли газ и благополучно сели.

В другой раз мы на шлюпке подрулили под птичий базар. Миллионы черно-белых кайр сидели на скалах — так много, что весь берег мили на две казался круто посыпанным солью. Они кричали, хлопали крыльями, свистели, срывались и, расталкивая соседей, вновь садились на отвесные скалы, и в общем оглушительном шуме слышались отдельные возгласы, точно это и был базар, на котором ссорились, сидя на возах, бранчливые бабы. Вонь была страшная, и, разумеется, взглянув на это любопытное явление, нужно было немедленно отвернуть. Но стрелок-радист, где-то читавший о чайках-бургомистрах, на беду, нашел пару этих огромных птиц, сидевших отдельно над общим гнездовьем и как будто с важностью наблюдавших за порядком на шумном базаре. Он выстрелил и убил бургомистра. Но, боже мой, как расплатились мы за этот злосчастный выстрел! Все пропало: и земля и небо! Черно-белая буря крыльев снялась с берега и рванулась над шлюпкой, крича, свистя и разрывая воздух. Шум гигантского водопада обрушился на нас — и хорошо, если бы только шум! Сутки после этого случая мы мылись сами и отмывали шлюпку, причем я нашел помет даже в боковом, застегнутом на пуговицу кармане реглана.

В общем, это были две тяжелые недели на Новой Земле. Каждый раз мы стартовали с надеждой встретить рейдер, хотя мне давно было ясно, что его нужно искать гораздо восточнее, и ходили, ходили над морем, пока не кончалось горючее и пока штурман не спрашивал меня хладнокровно:

— Домой?

И «дом» открывался — причудливо изрезанные дикие горы, синие ледники, как бы расколотые вдоль и готовые скользнуть в бездонные снеговые ущелья.

Но вот пришла минута, когда кончилась наша «новоземельная жизнь»,— превосходная минута, о которой стоит рассказать немного подробнее.

Я стоял у амбара, крыша которого была обложена тушками убитых птиц, а на стенах распялены шкуры тюленей. Два маленьких ненца, похожие на пингвинов в своих меховых костюмах с глухими рукавами, играли на берегу, а я разговаривал с их родителями — маленькой, как девочка, мамой и таким же папой, с коричневой, высовывающейся из малицы головой. Помнится, речь шла о международных делах, и, хотя анализ без-

надежного положения Германии был взят мною из очень старого номера «Правды», ненец собирался его сегодня же рассказать приятелю, который жил сравнительно недалеко от него — всего в двухстах километрах. Маленькая жена едва ли разбиралась в политике, но кивала блестящей черной, стриженной в скобку головкой и все говорила:

— Холосо, холосо.

— Хочешь ехать на фронт? — спросил я ненца.

— Хоцу, хоцу.

— Не боишься?

— Зацем бояться, зацем?

Это и была минута, когда я увидел штурмана, который бежал ко мне,— не шел, а именно бежал по берегу от мыска, за которым стоял самолет.

— Перебазируемся!

— Куда?

— В Заполярье!

Он сказал «в Заполярье», и, хотя не было ничего невозможного в том, что нас перебрасывали в Заполярье, то есть именно в те места, где, по-моему, и нужно было разыскивать рейдер, я был поражен! Ведь это было мое Заполярье!

— Не может быть!

Штурман уже принял прежний хладнокровно-неторопливый латышский вид:

— Прикажете проверить?

— Не нужно.

— Когда вылетаем?

— Через двадцать минут.

Глава седьмая
СНОВА В ЗАПОЛЯРЬЕ

Не дорога, а засаженная кедрами аллея вела к городу от аэродрома, и, глядя на эти шумные, богато раскинувшиеся кедры, я невольно подумал о том, что все-таки давно я не был в этом городе моей молодости и самых смелых за всю жизнь надежд.

Мне не сразу удалось найти улицу доктора Павлова по той причине, что в мои времена на этой улице стоял только один дом, принадлежавший самому доктору, а все

остальные существовали лишь на плане, висевшем в окрисполкоме. Теперь среди высоких соседей затерялся маленький дом, в котором за чтением дневников штурмана Климова я некогда проводил свои вечера. Что это были за милые молодые вечера! Осторожно поскрипывали в соседней комнате половицы под легкими шагами Володи. Доктор вдруг крякал, крепко потирал руки и читал вслух понравившееся ему место из книги, а потом начинал кричать на ежа, который почему-то любил жевать его ночные туфли. Анна Степановна входила ко мне — большая решительная, справедливая, которой можно было все сказать, все доверить,— и молча ставила передо мной тарелку с огромным куском пирога.

...Она и теперь не согнулась, не поддалась горю, только поседела, и две большие, глубокие складки повисли над опустившимся ртом. Что-то мужское показалось в ее фигуре и выражении лица, как это бывает у очень больших стареющих женщин.

— Как же вас называть теперь? — сказала она с недоумением, когда мы встретились в садике перед домом и вошли в столовую, кажется совершенно прежнюю, с желтым чистым полом и деревенскими половиками.— Вы же мальчиком были тогда. Сколько лет прошло? Пятнадцать? Двадцать?

— Только девять, Анна Степановна. А называйте Саня. Для вас я всегда буду Саня.

С первого взгляда она поняла, что я знаю о Володе, но долго не говорила о нем из того душевного такта, который — я это почувствовал — не позволил ей так сразу, в первые минуты встречи, заставить меня разделить с нею горе. Я сам что-то начал, но она перебила и быстро сказала: «Потом!»

— Что же вы, к нам? Надолго ли? Как я рада, что живы-здоровы!

— Ненадолго, Анна Степановна. Сегодня же улетаем.

— Морской летчик, в орденах,— сказала она, как будто вместе со мной гордилась, что я морской летчик и в орденах.— Откуда же теперь? С какого фронта?

— Сейчас с Новой Земли, а прежде из Полярного. Да прямо от Ивана Иваныча!

— Полно!

— Честное слово.

Анна Степановна помолчала.

— Значит, видели его?

— Да какое там видел! Мы встречаемся очень часто. Разве он не писал вам об этом?

— Писал,— сказала Анна Степановна.

И я понял, что она знает о Кате.

Но мне не нужно было останавливать ее, как она остановила меня, когда я заговорил о Володе. Кто же глубже и сильнее, чем она, мог почувствовать мою тоску и волнение — все, о чем я ни с кем не мог говорить? Она не утешала меня, не сравнивала своего горя с моим — только обняла и поцеловала в голову, а я поцеловал ее руки.

— Ну, как же старик мой? Здоров?

— Совершенно здоров.

— Стар уж стал служить,— задумчиво сказала Анна Степановна.— Ему тут легко с местным народом, на воле. А это не шутка — в шестьдесят один год военная служба. Можно, я друзьям сообщу, что вы прилетели? Как у вас время?

Я сказал, что время до ночи, и, поставив передо мной хлеб, рыбу и кружку самодельного вина, которое очень вкусно делали в Заполярье, она накинула платок, извинилась и вышла.

Да, это было легкомысленно с моей стороны позволить Анне Степановне сообщить друзьям, что я прилетел. Не прошло и получаса, как легковая машина остановилась у садика, и я с удивлением увидел в ней весь свой экипаж. Стрелок и радист чему-то громко смеялись, а штурман в знаменитых на весь Северный флот широких парадных штанах сидел рядом с шофером и равнодушно пускал в воздух большие шары дыма.

— Саня, за нами прислал товарищ Ледков,— сказал он, когда я вышел.— Садись, и едем к нему немедля. Мы позавтракаем у него, а потом...

— Какой товарищ Ледков?

— Не знаю. Высокая дама в платке приехала на аэродром и сказала, что за нами послал товарищ Ледков. Она вышла у окрисполкома.

— Ледков? Постойте-ка... ах, помню! Ну конечно, Ледков!

Это был тот самый член окрисполкома, за которым мы с Иван Иванычем некогда летали в становище Ванокан, где Ледков лежал, тяжело раненный в ногу. На ненецком Севере он был известен не меньше, чем зна-

менитый Иван Вылка на Новой Земле. Кстати сказать, совсем недавно в Полярном доктор рассказывал о Ледкове: каким он стал энергичным, смелым работником и как сумел в первые же недели подчинить всю жизнь огромного округа, с разбросанным кочевым населением, задачам войны.

— Между прочим,— сказал доктор,— он интересовался, нашел ли ты капитана Татаринова. Помнишь, когда мы ждали тебя с экспедицией,— ведь он даже ездил в какие-то стойбища, опрашивал ненцев. По его сведениям, в одном из родов должны были храниться предания о «Святой Марии».

Нетрудно представить себе, что Ледков (я смутно помнил его и удивился, когда еще далеко не старый человек, с крепким, точно сложенным из булыжников лицом и острыми китайскими усами, встречая нас, вышел на крыльцо окрисполкома) радушно принял нас в Заполярье. После обеда, на котором я произнес длинную речь, посвященную доктору Ивану Иванычу и его боевой деятельности на Северном флоте, мы поехали на лесозавод, потом в новую поликлинику и так далее. Везде мы что-то ели и пили, и везде я рассказывал об Иване Иваныче, так что в конце концов мне самому стало казаться, что без участия Ивана Иваныча защита наших северных морских путей могла бы, пожалуй, потерпеть неудачу.

С глубоким интересом осматривал я Заполярье. Когда я уехал, городу пошел шестой год. Теперь ему минуло пятнадцать, и с первого взгляда можно было заключить, что он не потерял времени даром, в особенности если вспомнить, что три самых дорогих года были отданы на войну.

И здесь, за две с половиной тысячи километров от фронта, она чувствовалась, если вглядеться, во многом. Как прежде, в порту готовились к Карской, но уже не сновали по городу веселые, удивленные негры. Как прежде, на лесную биржу с верховьев Енисея, Ангары, Нижней Тунгуски прибывали плоты, и домики на плотах с дымящимися трубами, с развешанным на веревках бельем, как прежде, создавали на Протоке мирное впечатление плавучей деревни. Но опытный взгляд легко мог определить далеко не мирное назначение деревянного сырья, из которого состояла эта деревня.

Однако совсем другая черта поразила меня, когда уже под вечер мы поехали в Медвежий Лог, где когда-то стоял единственный чум моего приятеля эвенка Удагира, а теперь раскинулись два великолепных, просторных квартала двухэтажных домов: мне представилось, что в здешних местах уже как бы перекинут мост между «до войны» и «после войны». Отразившая нападение и победившая жизнь с прежним суровым упрямством утверждала себя в великой северной стройке.

Перед вылетом еще нужно было кое-что сделать, и я отправил штурмана и стрелков на аэродром, а сам остался с Ледковым в его кобинете в окрисполкоме.

Анна Степановна ушла. Но мы условились, что я непременно загляну к ней проститься перед отлетом.

— Ну, скажите откровенно,— сказал Ледков,— как там наш старик? Ведь мы без него как без рук. И это совсем нетрудно устроить.

— Что именно?

— Вызвать и демобилизовать. Он из возраста вышел.

— Нет, не останется,— сказал я, вспоминая, как сердился Иван Иваныч, когда командир дивизиона не разрешил ему идти в рискованный поход на подводной лодке.— Может быть, в отпуск? А так, насовсем, не захочет. Особенно теперь.

Это «теперь» было сказано в смысле близкого окончания войны, но Ледков понял меня иначе: «Теперь, когда убит Володя».

— Да, жалко Володю,— сказал он.— Что это был за скромный, благородный мальчик! И прекрасные стихи писал. Вы знаете, доктор тайком посылал их Горькому, и потом у Володи была переписка с Горьким. Одну фразу из письма Горького Володе мы взяли как тему для школьного плаката...

И он показал мне этот плакат: «Едва ли где-нибудь на земле есть дети, которые живут в таких же суровых условиях, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей земли такими же гордыми смельчаками». Над этой действительно великолепной фразой был нарисован Горький, немного похожий на ненца.

Мы сидели в креслах у широкого окна, из которого открывалась панорама новых улиц, бегущих от прибре-

жья к тайге. Лесозавод дымил, электротележки бегали между штабелями у биржи, а вдалеке, нетронутые, сизые, стояли леса и леса...

Это была минута молчания, когда мы не говорили ни слова, но там, за окном, шел властный немой разговор,— разговор, который начался в ту минуту, когда советский человек впервые вступил на забытые берега Енисея.

Я искоса взглянул на Ледкова. Он встал и, прихрамывая — он был на протезе,— подошел к окну. Волнение пробежало по его суровому солдатскому лицу с умными, между припухших монгольских век, глазами,— я понял, что и он оценил эту минуту.

— Вы много сделали,— сказал я ему.

— Нет, едва коснулись, это первый шаг,— отвечал он.— До войны нам казалось, что сделано много. А теперь я вижу, что из тысячи задач мы решили две или три.

Прощаясь, я спросил о его давней поездке в ненецкие стойбища, где якобы должны были храниться какие-то предания о людях со шхуны «Св. Мария». Правда ли, что он ездил туда и опрашивал ненцев?

— Как же, ездил. Это стойбище рода Яптунгай.

— И что же?

— Нашел.

Как будто мне было семнадцать лет — так вдруг крепко стукнуло сердце.

— То есть? — спросил я хладнокровно.

— Нашел и записал. Сейчас, пожалуй, не вспомню, где эта запись,— сказал он, окидывая взглядом вертящуюся этажерку со множеством папок и свернутых трубок бумаги.— В общем, примерно так: в прежнее время, когда еще «отец отца жил», в род Яптунгай пришел человек, который назвался матросом со зверобойной шхуны, погибшей во льдах Карского моря. Этот матрос рассказал, что десять человек спаслись и перезимовали на каком-то острове к северу от Таймыра. Потом пошли на землю, но дорогой «очень шибко помирать стали». А он «на одном месте помирать не захотел», вперед пошел. И вот добрался до стойбища Яптунгай.

— А имени его не сохранилось?

— Нет. Он скоро умер. У меня записано: «Пришел, говорил — жить буду. Окончив говорить,— умер».

Карта Ненецкого округа с куском Карского моря висела в кабинете Ледкова. Я нашел привычный маршрут — к Русским островам, к мысу Стерлегова, к устью Пясины...

— А в каком районе кочует род Яптунгай?

Ледков указал. Но еще прежде, чем он указал, я нашел глазами и точно отметил северную границу района.

— Это был матрос со «Святой Марии».

— Вы думаете?

— А вот сосчитаем. По его словам, со шхуны спаслось десять человек.

— Да, десять.

— Со штурманом Климовым ушло тринадцать. На шхуне осталось двенадцать. Из них двое — механик Тисс и матрос Скачков — погибли в первый год дрейфа. Остается десять. Но дело даже не в этом. Я и прежде мог с точностью до полуградуса указать путь, которым они прошли. Но мне было неясно, удалось ли им добраться до Пясины.

— А теперь?

— Теперь ясно.

И я указал точку — точку, где находились остатки экспедиции капитана Татаринова, если они еще находились где-нибудь на земле...

— Дорогая Анна Степановна, это страшное свинство, что я так засиделся с Ледковым,— сказал я, заехав к Анне Степановне ночью и найдя ее поджидающей меня за накрытым столом.— Но надо ехать. Только расцелую вас — и айда.

Мы обнялись.

— Когда вы вернетесь?

— Кто знает? Может быть, завтра. А может быть, никогда.

— «Никогда» — это слово страшное, я его знаю,— сказала она, вздохнув, и перекрестила меня.— И вы не говорите его. Вернетесь и будете счастливы, и мы, старики, еще погреемся подле вашего счастья.

...Поздней ночью — о том, что была поздняя ночь, можно было догадаться, лишь взглянув на часы,— мы стартовали из Заполярья. Красноватое солнце высоко стояло на небе. Как дым огромного локомотива, бежали, быстро нарастая, пушистые облака.

Думал ли я, что наступает день, которого я ждал всю мою жизнь? Нет! Экипаж без меня проверял моторы, и я беспокоился, основательно ли была сделана эта проверка.

Глава восьмая

ПОБЕДА

Мы вылетели в два часа ночи, а в половине пятого утра утопили рейдер. Правда, мы не видели, как он затонул. Но после нашей торпеды он начал «парить», как говорят моряки, то есть потерял ход и скрылся под облаками пара.

В общем, это произошло приблизительно так: он шел с таким видом, что между мною и штурманом произошел краткий спор (который лучше не приводить в этой книге) по вопросу о том, не принадлежит ли этот корабль к составу Северного флота. Убедившись, что это не так, мы ушли от него, как это любил делать мой штурман. Потом резко развернулись и взяли курс на цель.

Жаль, что я не могу нарисовать ту довольно сложную фигуру, которую мне пришлось проделать, чтобы сбросить торпеду по возможности точно. Это была восьмерка, почти полная, причем в перехвате я произвел две атаки — первая была неудачной. Потом мы стали уползать, именно уползать, потому что, как это вскоре выяснилось, и немцы не потеряли времени даром.

Еще во время первого захода стрелок закричал:

— Полна кабина дыму!

Три сильных удара послышались, когда я заходил второй раз, но некогда было думать об этом, потому что я уже лез на рейдер со стиснутыми зубами. Зато теперь у меня было достаточно времени, чтобы убедиться в том, что машина разбита. Горючее текло, масло текло, и если бы не штурман, своевременно пустивший в ход одну новую штуку, мы бы давно погорели. Правый мотор еще над целью перешел с маленького шага на большой, а потом на очень большой — можно сказать, на гигантский.

Конечно, у нас были лодочки и можно было приказать экипажу выпрыгнуть с парашютами. Но эти лодочки мы испытывали под Архангельском, на тихом, глухом озерке, и то, вылезая из воды, дрожали, как собаки. А здесь под нами было такое неуютное, покрытое мелкобитым льдом холодное море!

Не буду перечислять тех кратких докладов о состоянии машины, которые делал мой экипаж. Их было много — гораздо больше, чем мне бы хотелось. После одного из них, очень печального, штурман спросил:

— Будем держаться, Саня?

Еще бы нет! Мы вошли в облачко, и в двойном кольце радуги я увидел внизу отчетливую тень нашего самолета. К сожалению, он снижался. Без всякого повода с моей стороны он вдруг резко пошел на крыло, и, если бы можно было увидеть смерть, мы, без сомнения, увидели бы ее на этой плоскости, отвесно направленной к морю.

...Сам не знаю как, но я вывел машину. Чтобы облегчить ее, я приказал стрелку сбросить пулеметные диски. Еще десять минут — и самые пулеметы, кувыркаясь, полетели в море.

— Держимся, Саня?

— Конечно, держимся! Я спросил штурмана, как далеко до берега, и он ответил, что недалеко — минут двадцать шесть. Конечно, соврал, чтобы подбодрить меня: до берега было не меньше чем тридцать.

Не впервые в жизни приходилось мне отсчитывать такие минуты. Случалось, что, преодолевая страх, я отсчитывал их с отчаянием, со злобой. Случалось, что они лежали на сердце, как тяжелые круглые камни, и я тоскливо ждал — когда же наконец скатится в прошлое еще один мучительный камень-минута!

Теперь я не ждал. С бешенством, с азартом, от которого какое-то страшное веселье разливалось в душе, я торопил и подталкивал их.

— Дотянем, Саня?

— Конечно, дотянем!

И мы дотянули. В полукилометре от берега, на который некогда было даже взглянуть, мы плюхнулись в воду и не пошли ко дну, как это ни было странно, а попали на отмель. Ко всем неприятностям теперь присоединились ледяные волны, которые немедленно окатили нас с головы до ног. Но что значили эти волны и то, что машину мотало с добрый час, пока мы добрались до берега, и тысяча новых трудов и забот в сравнении с короткой фразой в очередной сводке Информбюро: «Один наш самолет не вернулся на базу»?

Почему я решил, что это залив Миддендорфа и что, следовательно, мы сели далеко от жилых мест? Не знаю. Штурману было не до вычислений, и, пока мы шли над морем, его интересовал единственный курс — берег. Те-

перь ему было снова не до вычислений, потому что я приказал закрепить машину, и мы работали до тех пор, пока не повалились кто где на сухом берегу, между камней, припекаемых солнцем. Тихо лежали мы, глядя в небо — чистое, просторное, ни облачка, ни тучки — и думая каждый о своем. Но это свое у каждого определялось общим чувством: «Победа».

Мы лежали совершенно без сил, трудно было даже стряхнуть с лица налипший песок, и он сам засыхал под солнцем и отваливался кусками. Победа. Погасшая трубка лежала у штурмана на груди, он вдруг громко всхрапнул, и трубка скатилась. Ничего не надо, только смотреть в это полное голубизны, сияния, могущества небо и чувствовать под ладонями теплые гальки. Победа.

Все было победой, даже то, что страшно хотелось есть, а я не мог заставить себя подняться, чтобы достать из машины бутерброды, которые Анна Степановна сунула мне на дорогу.

Не стоит рассказывать о том, как мы осматривали машину. Очевидно, причиной дыма, о котором доложил стрелок, был снаряд, разорвавшийся в кабине. Если не считать сотни или двух пробоин, самолет выглядел вполне прилично — хотя бы в сравнении с той грудой железа, на которой мне иногда приходилось садиться. Но у него был один недостаток — он больше не мог летать, и своими средствами невозможно было привести в порядок моторы.

За обедом — у нас был превосходный обед: на первое суп из сухого молока, шоколада и сливочного масла, а на второе тот же суп, но уже в сухом виде — было решено:

а) закрепить машину там, где она стояла, глубоко врезавшись в песчаную «кошку»,— все равно мы не могли поднять ее на высокий берег;

б) оставить при машине стрелка;

в) идти искать людей и помощь.

Я забыл упомянуть, что, еще когда мы тянули над морем, кто-то, кажется радист, заметил на берегу не то дом, не то деревянную вышку. Она пропала, едва мы подрулили под берег,— скрылась за поворотом. Возможно, что это был навигационный знак — то есть прибрежное сооружение, которое очень редко посещается судами. Тогда нам от него было бы мало толку. А если нет?

Впрочем, можно было и никуда не ходить, а после обеда снова завалиться между камней, выбрав уютное подветренное местечко, и отдыхать, глядя на проходящие голубоватые льдины, с которых, звеня и сверкая, сбегала вода. Но радио, к сожалению, было разбито, и как его ни вертел упрямый радист, оно было немо, как камень.

Словом, все-таки нужно было идти. Куда? Очевидно, к этому навигационному знаку, который мог оказаться электромаяком или еще чем-нибудь в этом роде.

— Но прежде всего,— сказал я штурману,— где мы?

Прошло не меньше четверти часа, прежде чем он ответил на этот вопрос. Правда, он называл не те координаты, которые назвал я, когда Ледков спросил, где же, по-моему мнению, находятся остатки экспедиции капитана Татаринова.

Но координаты штурмана были так близки к этой точке,— точке, в которую я ткнул пальцем на карте Ледкова,— что я невольно осмотрелся вокруг: не увижу ли сейчас в двух шагах, вот за тем камнем, самого капитана.

Часть десятая

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Глава первая

РАЗГАДКА

Пришлось бы написать еще одну книгу, чтобы подробно рассказать о том, как была найдена экспедиция капитана Татаринова. В сущности говоря, у меня было очень много данных — гораздо больше, чем, например, у известного Дюмон-Дюрвиля, который еще мальчиком с поразительной точностью указал, где он найдет экспедицию Лаперуза. Мне было даже легче, чем ему, потому что жизнь капитана Татаринова тесно переплелась с моей и выводы из этих данных в конечном счете касались и его и меня.

Вот путь, которым он должен был пройти, если считать бесспорным, что он вернулся к Северной Земле, которая была названа им «Землей Марии»: от 79°35′ широты, между 86-м и 87-м меридианами, к Русским островам и к архипелагу Норденшельда. Потом — вероятно, после многих блужданий — от мыса Стерлегова к устью Пясины, где старый ненец встретил лодку на партах. Потом к Енисею, потому что Енисей — это была единственная надежда встретить людей и помощь. Он шел мористой стороной прибрежных островов, по возможности — прямо...

Мы нашли экспедицию, то есть то, что от нее осталось, в районе, над которым десятки раз летали наши самолеты, везя почту и людей на Диксон, машины и товары на Нордвик, перебрасывая геологические партии

для розысков угля, нефти, руды. Если бы капитан Татаринов теперь добрался до устья Енисея, он встретил бы десятки огромных морских судов. На островах, мимо которых он шел, он увидел бы теперь электрические маяки и радиомаяки, он услышал бы наутофоны, громко гудящие во время тумана и указывающие путь кораблям. Еще триста — четыреста километров вверх по Енисею, и он увидел бы Заполярную железную дорогу, соединяющую Дудинку с Норильском. Он увидел бы новые города, возникшие вокруг нефтяных промыслов, вокруг шахт и лесозаводов.

Выше я упомянул, что с первых дней на Севере я писал Кате. Груда неотправленных писем осталась на Н.— я надеялся, что мы вместе прочтем их после войны. Эти письма стали чем-то вроде моего дневника, который я вел не для себя, а для Кати. Приведу из него лишь те места, в которых говорится о том, как была открыта стоянка.

1. «...Я был поражен, узнав, как близко подступила жизнь к этому месту, которое казалось мне таким бесконечно далеким. В двух шагах от огромной морской дороги лежит оно, и ты была совершенно права, когда говорила, что «отца не нашли лишь потому, что никогда не искали». Между маяком и радиостанцией проведена телефонная линия, и не временная, а постоянная, на столбах. Горнорудные разработки ведутся в десяти километрах к югу, так что, если бы мы не открыли стоянку, через некоторое время шахтеры наткнулись бы на нее.

...Штурман первый поднял с земли кусок парусины. Ничего удивительного! Мало ли что можно найти на морском берегу! Но это была парусиновая лямка, в которую впрягаются, чтобы тащить парты. Потом стрелок нашел алюминиевую крышку от кастрюли, измятую жестянку, в которой лежали клубки веревок, и тогда мы разбили ложбину от холмов до гряды на несколько квадратов и стали бродить — каждый по своему квадрату...

Я где-то читал, как по одной надписи, вырезанной на камне, ученые открыли жизнь целой страны, погибшей еще до нашей эры. Так постепенно стало оживать перед нами это место. Я первый увидел брезентовую лодку, то есть, вернее, понял, что этот сплющенный блин, боком

торчащий из размытой земли,— лодка, да еще поставленная на сани. В ней лежали два ружья, какая-то шкура, секстант и полевой бинокль, все заржавленное, заплесневелое, заросшее мхом. У гряды, защищающей лагерь с моря, мы нашли разную одежду — между прочим, расползшийся спальный мешок из оленьего меха. Очевидно, здесь была разбита палатка, потому что бревна плавника лежали под углом, образуя вместе со скалой закрытый четырехугольник. В этой «палатке» мы нашли корзинку из-под провизии с лоскутом парусины вместо замка, несколько шерстяных чулок и обрывки белого с голубым одеяла. Мы нашли еще топор и «удочку» — то есть бечевку, на конце которой был привязан самодельный крючок из булавки. Часть вещей валялась около «палатки» — спиртовая лампочка, ложка, деревянный ящичек, в котором лежало много всякой всячины и, между прочим, несколько толстых, тоже самодельных парусных игл. На некоторых вещах еще можно было разобрать круглую печать: «Зверобойная шхуна „Св. Мария"» или надпись: «Св. Мария». Но этот лагерь был совершенно пуст — ни живых, ни мертвых».

2. «...Это была самодельная походная кухня — жестяной кожух, в который было вставлено ведро с крышкой. Обычно под такое ведро подставляют железный поддонок, в котором горит медвежье или тюленье сало. Но не поддонок, а обыкновенный примус стоял в кожухе; я потряс его — и оказалось, в нем еще был керосин. Попробовал накачать — и керосин побежал тонкой струйкой. Рядом мы нашли консервную банку с надписью: «Борщ малороссийский. Фабрика Вихорева. Санкт-Петербург, 1912». При желании можно было вскрыть этот борщ и подогреть его на примусе, который пролежал в земле около тридцати лет».

3. «...Мы вернулись в лагерь после безуспешных поисков по направлению к Гальчихе. На этот раз мы подошли к нему с юго-востока, и холмы, которые казались нам однообразно волнистыми, теперь предстали в другом, неожиданном виде. Это был один большой скат, переходящий в каменистую тундру и пересеченный глубокими ложбинами, как будто вырытыми человеческой

рукой. Мы шли по одной из этих ложбин, и никто сначала не обратил внимания на полуразвалившийся штабель плавника между двумя огромными валунами. Бревен было немного, штук шесть, но среди них одно отпиленное. Отпиленное! Это нас поразило. До сих пор мы считали, что лагерь был расположен между скалистой грядой и холмами. Но он мог быть перенесен, и очень скоро мы убедились в этом.

Трудно даже приблизительно перечислить все предметы, которые были найдены в этой ложбине. Мы нашли часы, охотничий нож, несколько лыжных палок, два одноствольных ружья системы «Ремингтон», кожаную жилетку, трубочку с какой-то мазью. Мы нашли полуистлевший мешок с фотопленками. И наконец — в самой глубокой ложбине мы нашли палатку, и под этой палаткой, на кромках которой еще лежали бревна плавника и китовая кость, чтобы ее не сорвало бурей, под этой палаткой, которую пришлось вырубать изо льда топорами, мы нашли того, кого искали...

Еще можно было догадаться, в каком положении он умер,— откинув правую руку в сторону, вытянувшись и, кажется, прислушиваясь к чему-то. Он лежал ничком, и сумка, в которой мы нашли его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом».

4. «...Не было и не могло быть надежды, что мы увидим его. Но пока не была названа смерть, пока я не увидел ее своими глазами, все светила в душе эта детская мысль. Теперь погасла, но ярко загорелась другая: не случайно, не напрасно искал я его — для него нет и не будет смерти. Час назад пароход подошел к электромаяку, и моряки, обнажив головы, перенесли на борт гроб, покрытый остатками истлевшей палатки. Салют раздался, и пароход в знак траура приспустил флаг. И один еще брожу по опустевшему лагерю «Св. Марии» и вот пишу тебе, мой друг, родная Катя. Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою! Скоро тридцать лет, как кончилась эта мужественная борьба за жизнь, но я знаю, что для тебя он умер только сегодня. Как будто с фронта пишу я тебе — о друге и отце, погибшем в бою. Скорбь и гордость за него волнуют меня, и перед зрелищем бессмертия страстно замирает душа...»

Глава вторая
САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ

«Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою!» — я читал и перечитывал эти слова, и они казались мне такими холодными и пустыми, как будто в пустой и холодной комнате я говорил со своим отражением. Катя была нужна мне, а не этот дневник,— живая, умная, милая Катя, которая верила мне и любила меня. Когда-то, потрясенный тем, что она отвернулась от меня на похоронах Марьи Васильевны, я мечтал о том, что приду к ней, как Овод, и брошу к ее ногам доказательства своей правоты. Потом я сделал то, что весь мир узнал о ее отце и он стал национальным героем. Но для Кати он остался отцом — кто же, если не она должна была первая узнать о том, что я нашел его? Кто же, если не она говорила мне, что все будет прекрасно, если сказки, в которые мы верим, еще живут на земле? Среди забот, трудов и волнений войны я нашел его. Не мальчик, потрясенный туманным видением Арктики, озарившим его немой, полусознательный мир, не юноша, с молодым упрямством стремившийся настоять на своем,— нет, зрелый, испытавший все человек, я стоял перед открытием, которое должно было войти в историю русской науки. Я был горд и счастлив. Но что мог я сделать с моим сердцем, которое томилось горьким чувством, что все могло быть иначе!

Лишь в конце января я вернулся в полк. На следующий день меня вызвал командующий Северным флотом.

...Никогда не забуду этого утра — и вовсе не потому, что своими бледными и в то же время смелыми красками оно представилось мне как бы первым утром на земле. Для Крайнего Севера это характерное чувство. Но точно ожидание какого-то чуда стеснило мне грудь, когда, покурив и поболтав с командиром катера, я поднялся и встал на палубе среди тяжелого, разорванного тумана. То заходил он на палубу, то уходил, и между его дикими клочьями показывалась над сопками полная луна с вертикальными, вверх и вниз, снопами. Потом она стала ясная, как бы победившая все вокруг, но побледневшая, обессилевшая, когда оказалось, что мы идем к утреннему, розовому небу. Через несколько минут она в последний раз мелькнула среди проносящегося, тающего тумана, и голубое, розовое снежное утро встало над Кольским заливом.

Мы вошли в бухту, и такой же, как это утро, белый, розовый, снежный городок открылся передо мной.

Он был виден весь, как будто нарочно поставленный на серый высокий склон с красивыми просветами гранита. Белые домики с крылечками, от которых в разные стороны разбегались ступени, были расположены линиями, одна над другой, а вдоль бухты стояли большие каменные дома, построенные полукругом. Потом я узнал, что они так и назывались — циркульными, точно гигантский циркуль провел этот полукруг над Екатерининской бухтой.

Поднявшись на высокую лестницу, которая вела под арку, перекинутую между этими домами, я увидел бухту от берега до берега, и непонятное волнение, которое все утро то пробуждалось, то утихало в душе, вновь овладело мною с какой-то пронзительной силой. Бухта была темно-зеленая, непроницаемая, лишь поблескивающая от света неба. Что-то очень далекое, южное, напоминающее высокогорные кавказские озера, было в этой замкнутости берегов,— но на той стороне убегали сопки, покрытые снегом, и на их ослепительном фоне лишь кое-где был виден тонкий черный рисунок каких-то невысоких деревьев.

Я не верю в предчувствия, но невольно подумал о нем, когда, пораженный красотой Полярного и Екатерининской бухты, я стоял у циркульного дома. Точно это была моя родина, которую до сих пор я лишь видел во сне и напрасно искал долгие годы,— таким явился передо мной этот город. И в радостном возбуждении я стал думать, что здесь непременно должно произойти что-то очень хорошее для меня и даже, может быть, самое лучшее в жизни.

В штабе еще никого не было. Я пришел до начала занятий. Ночной дежурный сказал, что, насколько ему известно, мне приказано явиться к десяти часам, а сейчас половина восьмого.

Не знаю отчего, но с облегчением, точно это было хорошо, что еще половина восьмого, я вышел и снова стал смотреть на бухту из-под арки циркульного дома.

Все изменилось, пока я был в штабе: бухта стала теперь серая, строгая между серых, строгих берегов, и в глубине перспективы медленно двигался к Полярному

какой-то разлапый пароходик. Мне захотелось взглянуть, как он будет подходить, и я перешел на другую лестницу, которая поворачивала под углом, переходя в просторную площадку.

Это был один из двух пассажирских пароходов, ходивших между Мурманском и Полярным. Очередь к патрулю, проверявшему документы, выстроилась на сходнях. Среди моряков, сошедших на берег, было несколько штатских и даже три или четыре женщины с корзинками и узлами...

Без сомнения, это осталось от тех печальных времен, когда, убежав от Гаера Кулия, я подолгу сиживал на пристани у слияния Песчинки и Тихой. Подходил пароход, канат летел с борта, матрос ловко, кругами закидывал его на косую торчащую стойку, сразу много людей появлялось на пристани, так что она даже заметно погружалась в воду,— и никому из этих шумных, веселых, отлично одетых людей не было до меня никакого дела. Когда бы потом в жизни я ни видел радостную суматоху приезда, ощущение заброшенности и одиночества неизменно возвращалось ко мне.

Но на этот раз — вероятно, потому, что это был совсем другой приезд, зимний, и на берег сошли совсем другие, озабоченные военные люди,— я не испытал подобного чувства.

Очень странно, но как все, что я видел в Полярном, мне был приятен этот старенький пароход, и нетерпеливая очередь, заполнившая сходни, и одинокие фигуры, идущие по берегу к домику, где нужно было зарегистрировать командировки. Все это относилось к моему ожиданию самого лучшего в жизни, но как и почему — этого я бы не мог объяснить.

Еще рано было возвращаться в штаб, и я пошел искать доктора, но не в госпиталь, а на его городскую квартиру.

Конечно, он жил в одном из этих белых домиков, расположенных линиями, одна над другой. С моря они показались мне куда изящнее и стройнее. Вот и Первая линия, а мне нужно на Пятую линию, семь.

Как ненцы, я шел и думал обо всем, что видел. Англичане в смешных зимних шапках, похожих на наши ямщицкие, и в балахонах защитного цвета обогнали меня, и я подумал о том, что по этим балахонам видно как плохо представляют они себе нашу зиму. Мальчик

в белой пушистой шубке, серьезный и толстый, шел с лопаткой на плече. Усатый моряк подхватил его, немного пронес. И я подумал о том, что, наверно, в Полярном очень мало детей.

Ничем не отличался этот дом на Пятой линии, семь, от любого соседа по правую и левую руку, разве что на лестнице его был настоящий каток, сквозь который едва просвечивали ступени. С размаху я взбежал на крыльцо. Какие-то моряки вышли в эту минуту; я столкнулся с ними, и один из них, осторожно скользя по катку, сказал, что «неспособность разобраться в обстановке полярной ночи указывает на недостаток в организме витаминов». Это были врачи. Несомненно, Иван Иваныч жил в этом доме.

Зайдя в переднюю, я толкнул одну дверь, потом другую. Обе комнаты были пустые, пропахшие табаком, с открытыми койками и по-мужски разбросанными вещами, и в обеих было что-то гостеприимное, точно хозяева нарочно оставили открытыми двери.

— Есть тут кто?

Нечего было и спрашивать. Я вернулся на улицу.

Баба с подоткнутым подолом терла снегом босые ноги. Я спросил у нее, точно ли этот дом номер семь.

— А вам кого?

— Доктора Павлова.

— Он, верно, спит еще,— сказала баба.— Вы обойдите, вон его окно. И стукните хорошенько!

Проще было постучать доктору в дверь, но я почему-то послушался и подошел к окну. Дом стоял на косогоре, и это окно на задней стороне приходилось довольно низко над землей. Оно было в инее, но, когда я постучал и стал всматриваться, прикрыв глаза ладонью, мне почудились очертания женской фигуры. Казалось, женщина стояла, склонившись над корзиной или чемоданом, а теперь выпрямилась, когда я постучал, и подошла к окну. Так же, как я, она поставила ладонь козырьком над глазами, и сквозь дробящийся гранями иней я увидел чье-то тоже дробящееся за мутным стеклом лицо.

Женщина шевельнула губами. Она ничего не сделала, только шевельнула губами. Она была почти не видна за снежным, матовым, мутным стеклом. Но я узнал ее. Это была Катя.

Глава третья

ЭТО БЫЛА КАТЯ

Как рассказать о первых минутах нашей встречи, о беспамятстве, с которым я вглядывался в ее лицо, целовал и снова вглядывался, начинал спрашивать и перебивал себя, потому что все, о чем я спрашивал, было давно, тысячу лет назад... И как бы ни было страшно то, что она мучилась и умирала от голода в Ленинграде и перестала надеяться, что увидит меня, но все это прошло, миновало, и вот она стоит передо мной, и я могу обнять ее... Господи, этому невозможно поверить!..

Она была бледна и очень похудела, что-то новое появилось в лице, потерявшем прежнюю строгость.

— Катька, да ты подстриглась!

— Давно, еще в Ярославле, когда болела.

Она не только подстриглась — она стала другая, но сейчас я не хотел думать об этом. Все летело, летело куда-то: и мы, и эта комната, совершенно такая же, как две соседние, с разбросанными вещами, с открытым Катиным чемоданом, из которого она что-то доставала, когда я постучал, с доктором, который, оказывается, все время был здесь же, стоял в углу, вытирая платком бороду, а потом стал уходить на цыпочках, но я его не пустил. Но главное, самое главное — все время я забывал о нем! — Катя в Полярном! Как это вышло, что Катя оказалась в Полярном?

— Господи, да я писала тебе каждый день! Мы на час разошлись в Москве. Когда ты заходил к Вале Жукову, я стояла на Арбате в очереди за хлебом.

— Не может быть!

— Ты оставил письмо, я сразу побежала искать тебя — но куда? Кто же мог думать, что ты пойдешь к Ромашову!

— Откуда ты знаешь, что я пошел к Ромашову?

— Я все знаю, все! Милый мой, дорогой!

Она целовала меня.

— Я тебе все расскажу...

И она рассказала, что Вышимирский, перепуганный насмерть, разыскал Ивана Павлыча и объявил ему, что я арестовал Ромашова.

— Но кто этот контр-адмирал Р.? Я писала ему для тебя, потом лично ему — никакого ответа!.. Ты не знал

что едешь сюда? Почему я должна была писать ему для тебя?

— Потому, что у меня не было своего адреса... Из Москвы я поехал искать тебя.

— Куда?

— В Ярославль. Я был в Ярославле. Я уже собрался в Новосибирск, когда получил назначение.

— Почему ты не написал Кораблеву, когда приехал сюда?

— Не знаю... Боже мой, неужели это ты? Ты — Катя?..

Мы ходили обнявшись, натыкаясь на вещи, и снова все спрашивали — почему, почему, и этих «почему» было так же много, как много было причин, которые разлучили нас под Ленинградом, провели по соседним улицам в Москве, а теперь столкнули в Полярном, куда я только что приехал впервые и где еще полчаса назад невозможно было вообразить мою Катю!

О том, что я нашел экспедицию, она узнала из телеграммы ТАСС, появившейся в центральных газетах. Она снеслась с доктором, и он помог ей получить пропуск в Полярное. Но они не знали, куда мне писать. Да если бы это и было известно, едва ли дошли бы до стоянки экспедиции капитана Татаринова их телеграммы и письма!

Доктор куда-то исчез, потом вернулся с горячим чайником и не то что остановил эту скорость, с которой все летело куда-то вперед, а хоть посадил нас рядом на диван и стал угощать какими-то железными сухарями. Потом он притащил бидон со сгущенным молоком и поставил его на стол, извинившись за посуду.

Потом ушел. Я больше не задерживал его, и мы остались одни в этом холодном доме, с кухней, которая была завалена банками от консервов и грязной посудой, с передней, в которой не таял снег. Почему здесь, в этом доме, из окон которого видны сопки и видно, как тяжелая вода важно ходит между обрывистыми снежными берегами? Но это было еще одно «почему», на которое я не старался найти ответа.

Уходя, доктор сунул мне какую-то электрическую штуку. Я сразу забыл о ней и вспомнил, когда, засмеявшись чему-то, заметил, что у меня, как у лошади на морозе, изо рта валит густой, медленно тающий пар. Эта

штука была камином, очевидно местной конструкции, но очень хорошим, судя по тому, как он бодро, хрипло гудел до утра. Очень скоро в комнате стало тепло. Катя хотела прибрать ее, но я не дал. Я смотрел на нее. Я крепко держал ее за руки, точно она могла так же внезапно исчезнуть, как появилась...

Еще идя к доктору, я заметил, что погода стала меняться, а теперь, когда вышел из дому, потому что было уже без четверти десять, прежний холодный, звенящий ветер упал, воздух стал непрозрачный, и мягкий снег повалил тяжело и быстро — верные признаки приближения пурги.

К моему изумлению, в штабе уже знали о том, что приехала Катя. Знал и командующий — почему бы иначе он встретил меня улыбаясь? Очень кратко я доложил ему, как был потоплен рейдер, и он не стал расспрашивать, только сказал, что вечером мне предстоит рассказать об этом на военном совете. Экспедиция «Св. Марии» — вот что интересовало его!

Я начал сдержанно, неловко — хотя самая странность того, что экспедиция была найдена во время выполнения боевого задания, вовсе не показалась бы странностью тому, кто знал мою жизнь. Каким же образом в двух словах передать эту мысль командующему флотом? Но он слушал с таким вниманием, с таким искренним молодым интересом, что в конце концов я махнул рукой на эти «два слова» — начал рассказывать попросту,— и вдруг получилось именно так, как все это действительно было.

Мы расстались наконец, и то лишь потому, что адмирал вспомнил о Кате...

Не знаю, сколько времени я провел у него, должно быть, час или немного больше, а между тем, выйдя, я не нашел Полярного, которое скрылось в кружении летящего, слепящего, свистящего снега.

Хорошо, что я был в бурках,— и то пришлось выше колен поднять отвороты. Какие там линии — и в помине не было линий! Лишь фантастическое воображение могло представить, что где-то за этими черными тучами сталкивающегося снега стоят дома и в одном из них, на Пятой линии, семь, Катя кладет твердые, как железо, галеты на камин, чтобы отогреть их, по моему

совету. Конечно, я добрался до этого дома. Самым трудным оказалось узнать его — за полчаса он стал похож на сказочную избушку, скосившуюся набок и заваленную снегом по окна. Как бог пурги, ввалился я в переднюю, и Кате пришлось обметать меня веником, начиная с плеч, на которых выросли высокие ледяные нашлепки.

...Уже все, кажется, было переговорено, уже дважды мы наткнулись на прощальные письма капитана — я привез их в Полярное, хотел показать доктору; другие материалы экспедиции остались в полку. Но мы обошли эти письма и все, что было связано с ними, точно почувствовав, что в счастье нашей встречи об *этом* еще нельзя говорить.

Уже Катя рассказала, какой стал Петенька,— смуглый и чуть-чуть косит, одно лицо с покойной сестрой. Уже мы посоветовались, что делать с бабушкой, которая поссорилась с директором Перышкиным и сняла в колхозе «отдельную квартиру». Уже я узнал, что большой Петя был снова ранен и вернулся на фронт. В Москве Катя случайно познакомилась с командиром его батальона, и тот сказал, что Петя «плевал на эту смерть»,— слова, поразившие Катю. И о Варе Трофимовой я узнал, что «если все будет, как думает Катя, для них обоих это счастье и счастье». Уже изменилось что-то в комнате — иначе, удобнее расположились вещи, точно были благодарны Кате за то, что в мужской, холодной комнате доктора стало тепло. Уже прошло пять или шесть часов с тех пор, как произошла эта чудная, бесконечно важная для меня перемена — весь мир нашей семейной жизни, покинувший нас так надолго, вернулся наконец,— а я все еще не мог привыкнуть к мысли, что Катя со мною.

— Знаешь, о чем я думал чаще всего? Что я мало любил тебя и забывал о том, как тебе трудно со мною.

— А я думала, как тебе было трудно со мною. Когда ты уезжал и я волновалась за тебя, со всеми тревогами, заботами, страхом, это было все-таки счастье.

Мы говорили, и она еще продолжала что-то устраивать, как всегда в гостиницах, даже в поездах — везде, где мы бывали вдвоем. Это была привычка женщины, постоянно переезжающей с мужем с места на место,—

и с какою жалостью, нежностью, раскаянием я почувствовал Катю в этой печальной привычке!

Потом пришел сосед, тот самый моряк, который сказал, что я не способен разобраться в обстановке полярной ночи, толстый, низенький, красный человек и великолепный едок — в этом мы убедились немного позднее.

Он зашел познакомиться и с первого слова объявил, что он — коллега Ивана Иваныча, приехавший в Полярное, чтобы испытать на подводных лодках какие-то спасательные приборы. Вечером он собирался в Мурманск, но проклятая пурга спутала все расчеты.

— Не дают «добро» [1],— сказал он со вздохом.— Так что больше ничего не остается, как закусить и выпить.

У Ивана Иваныча были вино и консервы, но моряк сказал, что это не то, и принес свои вино и консервы. Пыхтя, он открыл консервы и, зачем-то засучив рукава, стал подогревать их на камине. Мы с Катей что-то ели весь день, и он, не очень огорчившись нашим отказом, сам быстро, аппетитно все съел и выпил. Он уже знал от доктора, что мы потеряли и нашли друг друга, и поздравил нас, а потом объявил, что знает тысячи подобных историй.

— И это еще удачно, что ни вы, ни мадам не жалеете о холостой жизни,— поучительно сказал он.— Да-с, бывает и так!

Не помню, о чем еще мы болтали, только помню, что оттого, что, кроме нас, был еще кто-то чужой, еще острее чувствовалось счастье.

Потом он ушел и весь вечер звонил в порт — не дают ли «добро»? Но какое уж там «добро», когда пурга еще только что пошла бродить-гулять над Баренцевым морем! Даже в доме окна начинали внезапно дрожать, точно кто-то тряс их снаружи, стучась то робко, то смело.

Мы были одни. Я не мог насмотреться на Катю. Боже мой, как я стосковался по ней! Я все забыл! Я забыл, например, как она убирает волосы на ночь — заплетает косички. Теперь волосы отросли еще мало, и косички вышли коротенькие, смешные. Но все-таки она заплела их, открыв маленькие, красивые уши, которые я тоже забыл.

---

[1] «Добро» — разрешение покинуть гавань.

Опять мы говорили — теперь шепотом и совсем о другом — после того как долго молчали. Это другое был Ромашов.

Не помню, где я читал о палимпсестах, то есть старинных пергаментах, с которых позднейшие писцы стирали текст и писали счета и расписки, но через много лет ученые открывали первоначальный текст, иногда принадлежавший перу гениальных поэтов.

Это было похоже на палимпсест, когда Катя рассказала мне, что́, по словам Ромашова, произошло в осиновой роще, а затем я, как резинкой, стер эту ложь — и под ней проступила правда. Я понял и объяснил ей тот сложный ход в его подлой игре, который он сделал дважды — сперва для того, чтобы убедить Катю, что он спас меня, а потом — чтобы доказать мне, что он спас Катю.

Слово в слово я передал ей наш последний разговор на Собачьей площадке, и Катя была поражена признанием Ромашова — признанием, объяснившим мои неудачи и раскрывшим загадки, которые всегда тяготили ее.

— И ты все записал?

— Да. Изложил, как в протоколе, и заставил его подписаться.

Я повторил его рассказ о том, как всю жизнь он следил за мной, мучась от зависти, со школьных лет тяготившей его пустую, беспокойную душу. Но о великолепном Катином портрете над его столом я ничего не сказал. Я не сказал, потому что эта любовь была оскорбительна для нее.

Она слушала меня, и у нее было мрачное лицо, а глаза горели, горели... Она взяла мою руку и крепко прижала к груди. Она была бледна от волнения. Она ненавидела Ромашова вдвое и втрое, может быть, за то, о чем я не хотел говорить. А для меня он был далек и ничтожен, и мне было весело думать, что я победил его...

Все еще спрашивал толстый доктор, дают ли «добро», и по-прежнему не давали «добро», потому что по-прежнему не унималась, рвалась, рассыпалась снежным зарядом пурга. И к нам заглянула она на Рыбачий, и к немцам, гоня волну на их суда, спрятавшиеся в норвежских фиордах. Не дают «добро», закрыт порт, шторм девять баллов.

Спит жена, положив под щеку ладонь, красивая и умная, которая, не знаю за что, навсегда полюбила меня. Она спит, и можно долго смотреть на нее и думать, что мы одни и что хотя скоро кончится эта недолгая счастливая ночь, а все-таки мы отняли ее у этой дикой пурги, которая ходит-гуляет над миром.

Мне нужно было вставать в шестом часу. Я упросил Катю, чтобы она позволила мне не будить ее, и мы даже простились накануне. Но когда я открыл глаза, она уже мыла посуду, в халатике, и прислоняла мокрые тарелки к камину. Она знала, где я служу, но мы не говорили об этом. Только когда я заторопился и встал, оставив недопитый стакан, она спросила, как бывало прежде, беру ли я с собой парашют. Я сказал, что беру.

Мы вышли с толстым доктором. Пурга улеглась, и весь город был в длинных, протянувшихся вдоль дорог, круто срезанных снежных дюнах.

Глава четвертая
ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА

Уходя, я отдал Кате прощальные письма капитана. Когда-то в Энске, в Соборном саду, я так же оставил ее одну за чтением письма, которое мы с тетей Дашей нашли в сумке утонувшего почтальона. Я стоял тогда под башней старца Мартына, и мне становилось холодно, когда мысленно вместе с Катей я читал строчку за строчкой.

Теперь я мог увидеть ее лишь через несколько дней. Но все равно мы снова читали вместе — я знал, что Катя чувствует мое дыхание за своими плечами.

Вот эти письма.

1

Санкт-Петербург. Главное Гидрографическое управление. Капитану первого ранга П. С. Соколову.

Дорогой мой Петр Сергеевич!

Надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Я пишу его в ту минуту, когда наше путешествие подходит к концу

и, к сожалению, заканчиваю его в одиночестве. Не думаю, чтоб кто-нибудь на свете мог справиться с тем, что пришлось перенести нам. Все мои товарищи погибли один за другим, а разведывательная партия, которую я послал в Гальчиху, не вернулась.

Я оставляю Машу и вашу крестницу в тяжелом положении. Если бы я знал, что они обеспечены, то не очень терзался бы, покидая сей мир, потому что чувствую, что нашей родине не приходится нас стыдиться. У нас была большая неудача, но мы исправили ее, вернувшись к открытой нами земле и изучив ее, сколько в наших силах.

Мои последние мысли — о жене и ребенке. Очень хочется, чтобы у дочки была удача в жизни. Помогите им, как вы помогали мне. Умирая, я с глубокой благодарностью думаю о вас и о моих лучших годах молодости, когда я работал под вашим руководством.

Обнимаю вас. *Иван Татаринов.*

2

Его Превосходительству Начальнику Главного Гидрографического управления
Начальника экспедиции на судне «Св. Мария»
И. Л. Татаринова

Рапорт

Настоящим имею честь довести до сведения Главного Гидрографического управления нижеследующее:

1915 года, марта месяца 16 дня, в широте, обсервированной 79°08′30″, и в долготе от Гринвича 89°55′00″ с борта дрейфующего судна «Св. Мария» при хорошей видимости и ясном небе была замечена на восток от судна неизвестная обширная земля с высокими горами и ледниками. На нахождение земли в этом районе и раньше указывали некоторые признаки: так, еще в августе 1912 года мы видели большие стаи гусей, летевших с севера курсом норд-норд-ост — зюйд-зюйд-вест. В начале апреля 1913 года мы видели на норд-остовом горизонте резкую серебристую полоску и над нею очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далекие горы.

Открытие земли, тянущейся в меридианальном направлении, дало нам надежду покинуть судно при первом благоприятном случае, чтобы, выйдя на сушу, следовать вдоль ее берегов по направлению Таймырского полуострова и дальше, до первых сибирских поселений в устьях реки Хатанги или Енисея, смотря по обстоятельствам. В это время направление нашего дрейфа оставляло сомнений. Судно двигалось вместе со льдами генеральным курсом норд 7° к весту. Даже в случае изменения этого курса на более западный, то есть параллельно движению нансеновского «Фрама», мы не могли выйти изо льдов раньше осени 1916 года, а провиант имели только до лета 1915 года.

После многочисленных затруднений, не имеющих отношения к существу настоящего рапорта, нам удалось 23 мая 1915 года выйти на берег вновь открытой земли в широте 81°09′ и долготе 58°36′. Это был покрытый льдом остров, обозначенный на приложенной к сему рапорту карте под литерой А. Только через пять дней нам удалось достичь второго, огромного острова, одного из трех или четырех, составляющих новооткрытую землю. Определенный мною астрономический пункт на выдающемся мысе этого острова, обозначенного литерой Г, имеет координаты 80°26′30″ и 92°08′00″.

Двигаясь к югу вдоль берегов этой неизвестной земли, я исследовал ее берега между 81-й и 79-й нордовыми параллелями. В северной части берег представляет собой довольно низменную землю, частично покрытую широким ледником. Дальше к югу он становится более высоким и свободен ото льда. Здесь мы нашли плавник. В широте 80° обнаружен широкий пролив или залив, идущий от пункта под литерой С в OSO направлении.

Начиная от пункта под литерой Ф берег круто поворачивает в зюйд-зюйд-вестовом направлении. Я намеревался исследовать южный берег вновь открытой земли, но в это время было уже решено двигаться вдоль берега Харитона Лаптева по направлению к Енисею.

Доводя до сведения Управления о сделанных мною открытиях, считаю необходимым отметить, что определения долгот считаю не вполне надежными, так как судовые хронометры, несмотря на тщательный уход, имели поправки времени в течение более двух лет.

Иван Татарин

При сем: 1. Заверенная копия вахтенного журнала судна «Св. Мария».

2. Копия хронометрического журнала.

3. Холщовая тетрадь с вычислениями и данными съемки.

4. Карта заснятой местности.

18 июня 1915 года. Лагерь на острове 4 в Русском Архипелаге.

3

Дорогая Маша!

Боюсь, что с нами кончено, и у меня нет надежды даже на то, что ты когда-нибудь прочтешь эти строки. Мы больше не можем идти, мерзнем на ходу, на привалах, даже за едой никак не согреться. Ноги очень плохи — особенно правая, и я даже не знаю, как и когда я ее отморозил. По привычке я пишу еще «мы», хотя вот уже три дня, как бедный Колпаков умер. И я не могу даже похоронить его — пурга! Четыре дня пурги — оказалось, что для нас это слишком много.

Скоро моя очередь, но я совершенно не боюсь смерти, очевидно потому, что сделал больше, чем в моих силах, чтобы остаться жить.

Я очень виноват перед тобой, и эта мысль — самая тяжелая, хотя и другие немногим легче.

Сколько беспокойства, сколько горя перенесла ты за эти годы — и вот еще одно, самое большое. Но не считай себя связанной на всю жизнь и, если встретишь человека, с которым будешь счастлива, помни, что я этого желаю. Так скажи и Нине Капитоновне. Обнимаю ее и прошу помочь тебе, сколько в ее силах, особенно насчет Кати.

У нас было очень тяжелое путешествие, но мы хорошо держались и, вероятно, справились бы с нашей задачей, если бы не задержались со снаряжением и если бы это снаряжение не было таким плохим.

Дорогая моя Машенька, как-то вы будете жить без меня! И Катя, Катя! Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам, и горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя

бы не мешали. Что делать? Одно утешение — что моим трудами открыты и присоединены к России новые о ширные земли. Трудно мне оторваться от этого письм от последнего разговора с тобой, дорогая Маша. Берег дочку да смотри, чтобы она не ленилась. Это моя черт я всегда был ленив и слишком доверчив.

Катя, доченька моя! Узнаешь ли ты когда-нибуд как много я думал о тебе и как мне хотелось еще хо разок взглянуть на тебя перед смертью! Но хватит. Ру зябнут, а мне еще писать и писать. Обнимаю вас. Ва навеки.

Глава пятая
ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Мне не хотелось, чтобы Катя оставалась в комнате до тора, тем более что это была комната даже и не до тора, а одного погибшего командира. Вещи и мебе принадлежали ему. Вдруг остановившаяся жизнь бы видна во всем — в робких, неоконченных акварел изображавших виды Полярного и симметрически висе ших на стенах, в аккуратной стопочке специальн книг, в фотографиях, которых здесь было очень много, всё девушка с длинными косами, в украинском костюм и она же постарше, с голым толстым младенцем руках.

Разные, совершенно ненужные мысли сами соб рождаются в подобных комнатах, и женщине, у котор муж служит в авиации, не всегда легко прогнать подо ные мысли. Но Катя решила остаться.

— Что ж такого! — сказала она.— Это самая обы новенная вещь.

Я не настаивал, тем более что мог приезжать в П лярное сравнительно редко, и мне было приятно знат что Катя живет подле доктора Ивана Иваныча и вид его каждый день. Сразу же она стала работать — сперв в госпитале медицинской сестрой, а потом в Старом П лярном, где у доктора был амбулаторный прием. Ког через две недели я опять приехал, она была уже пол интересами своей новой жизни. Удивительно быстро шла она в эту жизнь.

Из этих мест уходили суда, чтобы на дальних ближних морских дорогах встречать союзные и топи

германские конвои, и все, что происходило в городке, так или иначе было связно с этой борьбой. Любимых команд ров знали по именам. Впрочем, многих из них давно уже знает по именам весь Советский Союз.

Необычайная, почти домашняя близость тыла и фронта, поразившая меня в Н., здесь была еще заметнее, потому что сама жизнь в Полярном была гораздо сложнее и богаче. Не «случалась» эта жизнь, а шла — по всему было видно, что люди, от командующего до любого краснофлотца, прочно расположились среди этих диких скал и будут воевать до победы. Именно потому, что это было ровное напряжение, оно и проникало так глубоко в любую мелочь повседневного существования.

Вспоминая зиму 1943/44 года в Полярном, я вижу, что это была едва ли не самая счастливая семейная зима в нашей жизни. Это может показаться странным, если представить себе, что почти через день я летал на бомбежку германских судов. Но одно было летать, не зная, что с Катей, и совершенно другое, зная, что она в Полярном, жива и здорова и что на днях я увижу ее разливающей чай за столом. Зеленый шелковый абажур, к которому были приколоты чертики, искусно вырезанные Иваном Иванычем из плотной бумаги, висел над этим столом. И все, что радовало нас с Катей в ту памятную зиму, рисуется мне в светлом кругу, очерченном границами зеленого абажура, и все, что заботило и огорчало, прячется в далеких, темных углах.

Я помню наши вечера, когда после долгих напрасных попыток связаться с доктором я ловил первый попавшийся катер, являлся в Полярное, и друзья, как бы ни было поздно, собирались в этом светлом кругу. Что ночь, и день — ночь!

Толстый доктор-едок выползал из своей комнаты в огромной шубе-кухлянке и занимал за столом если не наиболее видное, то, во всяком случае, наиболее шумное место. Самый его вид нетерпеливого ожидания чего-то хорошего или хотя бы веселого, казалось, производил шум. Даже когда он молчал, слышно было, как он пыхтит, жует или просто громко дышит.

За ним — если считать по шуму,— очевидно, следовал я. В самом деле, никогда я еще так много не говорил, не пил, не смеялся! Как будто чувство, которое

овладело мною, когда я увидел Катю, так и осталось в душе — все летело, летело куда-то... Куда? Кто знает? Я верил, что к счастью. Что касается доктора Ивана Иваныча, который чувствовал себя совсем больным после гибели сына, то и он оживал на наших вечерах и все чаще цитировал — главным образом, по поводу международных проблем — своего любимого автора, Козьмы Пруткова.

Наконец на последнее место — если считать по шуму — нужно поставить моего штурмана, который вообще не говорил ни слова, а только задумчиво сдвигал брови и, вынув трубку изо рта, выпускал дым.

А Катя хозяйничала. Как у нее получалось, что это наш дом, что мы принимаем гостей и от души стараемся, чтобы они были сыты и пьяны, не знаю! Но получалось.

Конечно, не было бы этих вечеров, этого счастья встреч с Катей, когда наутро она провожала меня, робкое, молодое солнце, похожее на детский воздушный шар,— солнце начала полярного дня,— как будто нарочно для нас поднималось над линией сопок... Не было бы этого душевного подъема, если бы радио каждую ночь не приносило известий о наших победах. Это был общий подъем, который с нарастающей силой чувствовался не только здесь, на Севере, где был крайний правый фланг войны и где на диком, срывающемся в воду утесе стоял последний солдат сухопутного фронта, но на любом участке этого фронта.

Уже отгремели последние выстрелы в Сталинграде, черные от копоти бойцы вылезли из водосточных люков и, щурясь от света, от снега, смотрели на испепеленный, отвоеванный город,— среди гранитных сопок Полярного гулко отозвалось эхо великой победы. Кажется, мы сделали все возможное, чтобы оно покатилось и дальше вдоль берегов Норвегии, туда, где осторожно крадутся от чужой страны к чужой стране немецкие караваны, туда, где они выгружают чужое оружие и берут на борт чужую руду и везут, везут ее в настороженной, полной загадочных шумов ночи Баренцева моря...

Все свободное время мы — доктор, Катя и я — тратили на изучение и подбор материалов экспедиции «Св. Марии».

Не знаю, что было сложнее — проявить фотопленки или прочитать документы экспедиции. Как известно,

снимок с годами слабеет или покрывается вуалью — недаром на футлярах всегда указывается срок, после которого фабрика не ручалась за отчетливость изображения. Этот срок для пленки «Св. Марии» кончился в феврале 1914 года. Кроме того, металлические футляры были полны воды, пленки промокли насквозь и, очевидно, годами находились в таком состоянии. Лучшие фотографы Северного флота объявили, что это «безнадежная затея» и что если бы даже они (фотографы) были божественного происхождения, то и в этом случае им не удалось бы проявить эту пленку. Я убедил их. В результате из ста двенадцати снимков, просушенных с бесконечными предосторожностями, около пятидесяти были признаны «достойными дальнейшей работы». После многократного копирования удалось получить двадцать два совершенно отчетливых снимка.

В свое время я прочитал дневники штурмана Климова, исписанные мелким, неразборчивым, небрежным почерком, залитые тюленьим жиром. Но все же это были отдельные странички в двух переплетенных тетрадках. Документы же Татаринова, кроме прощальных писем, сохранившихся лучше других бумаг, были найдены в виде плотно слежавшейся бумажной массы, и превратить ее в хронометрический или вахтенный журнал, в карты и данные съемки своими силами я, конечно, не мог. Это также было сделано в специальной лаборатории, под руководством опытного человека. В этой книге не найдется места для подробного рассказа о том, что было прочтено в холщовой тетради, о которой капитан Татаринов упоминает, перечисляя приложения. Скажу только, что он успел сделать выводы из своих наблюдений и что формулы, предложенные им, позволяют вычислить скорость и направление движения льдов в любом районе Северного Ледовитого океана. Это кажется почти невероятным, если вспомнить, что сравнительно короткий дрейф «Св. Марии» проходил по местам, которые, казалось бы, не дают данных для таких широких итогов. Но для гениального прозрения иногда нужны немногие факты.

«Ты прочел жизнь капитана Татаринова,— так говорил я себе,— но последняя ее страница осталась закрытой».

«Еще ничего не кончилось,— так я отвечал.— Кто знает, быть может, придет время, когда мне удастся открыть и прочесть эту страницу».

Время пришло. Я прочел ее — и она оказалась бессмертной.

Глава шестая
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Летом 1944 года я получил отпуск, и мы с Катей решили провести три недели в Москве, а четвертую в Ярославле — навестить стариков.

Мы приехали 17 июля — памятная дата! В этот день через Москву прошли пленные немцы.

У нас были легкие чемоданы, мы решили доехать до центра на метро — и, выйдя из Аэропорта, добрые два часа не могли перейти дорогу. Сперва мы стояли, потом, утомившись, сели на чемоданы, потом снова встали. А они всё шли. Уже их хорошо бритые, с жалкими надменными лицами, в высоких картузах, в кителях с «грудью», генералы, среди которых были несколько знаменитых мучителей и убийц, находились, должно быть, у Крымского моста, а солдаты всё шли, ковыляли — кто рваный и босой, а кто в шинели нараспашку.

С интересом и отвращением смотрел я на них. Как многие летчики-бомбардировщики, за всю войну я вообще ни разу не видел врага, разве что пикируя в цель,— позиция, с которой не много увидишь! Теперь сразу пятьдесят семь тысяч шестьсот врагов, по двадцати в шеренге, прошли передо мной, одни дивясь на Москву, которая была особенно хороша в этот сияющий день, другие потупившись, глядя под ноги равнодушно, угрюмо.

Это были разные люди, с разной судьбой. Но одинаково-чужим, бесконечно далеким от нас был каждый их взгляд, каждое движение.

Я посмотрел на Катю. Она стояла, прижав сумочку к груди, волновалась. Потом вдруг крепко поцеловала меня. Я спросил:

— Поблагодарила?

И она ответила очень серьезно:

— Да.

У нас было много денег, и мы сняли самый лучший

номер в гостинице «Москва» — роскошный, с зеркалами, картинами и роялем.

Сперва нам было немного страшновато. Но оказалось, что к зеркалам, коврам, потолку, на котором были нарисованы цветы и амуры, совсем нетрудно привыкнуть. Нам было очень хорошо в этом номере, просторно и уютно.

Конечно, Кораблев явился в день приезда — нарядный, с аккуратно закрученными усами, в свободной вышитой белой рубашке, которая очень шла к нему и делала похожим на какого-то великого русского художника — но на какого, мы с Катей забыли.

Он был в Москве, когда летом 1942 года я стучался в его лохматую, обитую войлоком дверь. Он был в Москве и чуть не сошел с ума, вернувшись домой и найдя письмо, в котором я сообщал, что еду в Ярославль за Катей.

— Как это вам понравится! За Катей, которую я накануне провожал в милицию, потому что ее не хотели прописывать на Сивцевом Вражке!

— Не беда, дорогой Иван Павлыч,— сказал я,— все хорошо, что хорошо кончается. В то лето я был не очень счастлив, и мне даже нравится, что мы встретились теперь, когда все действительно кончается хорошо. Я был черен, худ и дик, а теперь вы видите перед собой нормального веселого человека. Но расскажите же о себе! Что вы делаете? Как живете?

Иван Павлыч никогда не умел рассказывать о себе. Зато мы узнали много интересного о школе на Садово-Триумфальной, в которой некогда произошли такие важные события в моей и Катиной жизни. Мы кончили школу, с каждым годом она уходила все дальше от нас, и уже начинало казаться странным, что это были мы — пылкие дети, которым жизнь представлялась такой преувеличенно сложной. А для Ивана Павлыча школа все продолжалась. Каждый день он не торопясь расчесывал перед зеркалом усы, брал палочку и шел на урок, и новые мальчики, как под лучом прожектора, проходили перед его строгим, любящим, внимательным взглядом. О, этот взгляд! Я вспомнил Гришу Фабера, который утверждал, что «взгляд — всё» и что с таким взглядом он бы «в два счета сделал в театре карьеру».

— Иван Павлыч, где он?

— Гриша в провинции,— сказал Иван Павлыч,—

в Саратове. Я давно не видел его. Кажется, он стал хорошим актером.

— Он и был хорошим. Мне всегда нравилась его игра. Немного орал, но что за беда! Зато не пропадало ни слова.

Мы перебрали весь класс — грустно и весело было вспоминать старых друзей, которых по всей стране раскидала жизнь. Таня Величко строит дома в Сталинграде. Шура Кочнев — полковник артиллерии и недавно был упомянут в приказе. Но о многих и Иван Павлыч ничего не знал — время как будто прошло мимо них, и они остались в памяти мальчиками и девочками семнадцати лет.

Так-то мы сидели и разговаривали, и уже раза три позвонил профессор Валентин Николаевич Жуков и был обруган, даром что профессор, за то, что не приходит, ссылаясь на какую-то очередную затею со змеями или гибридами черно-бурых лисиц.

Наконец он явился и застыл на пороге, задумчиво положив палец на нос. Ему, видите ли, почудилось, что он попал в чужой номер.

— Ну, профессор, заходи,— сказал я ему.

И он побежал ко мне, хохоча, а за ним в дверях появилась высокая, полная белокурая дама, которую, если не ошибаюсь, когда-то звали Кирен.

Конечно, прежде всего я был подвергнут допросу, перекрестному, потому что слева меня допрашивал Валя, а справа — Кирен. Почему, каким образом и на каком основании, взломав чужую квартиру, обойдя комнаты, обнаружив, что Катя живет у профессора В. Н. Жукова, я не нашел ничего лучшего, как оставить записку, совершенно бессмысленную, потому что в ней не было указано, ни где меня искать, ни долго ли я пробуду в Москве.

— Дубина, это была ее постель,— сказал Валя,— а в ногах лежало ее платье! Боже мой, да разве ты не догадался, что только женская рука могла навести у меня такой порядок?

— Нет, в том, что женская,— ответил я,— у меня не было ни малейших сомнений.

Кира захохотала, кажется, добродушно, а Валя сделал мне большие глаза. Очевидно, тень загадочной Женьки Колпакчи с разными глазами еще бродила в этом семейном доме.

Женщины ушли в соседнюю комнату. Кирен кормила своего четвертого, так что, нужно полагать, у них нашлось о чем поболтать.

А мы заговорили о войне. Во многом уже были видны признаки ее окончания, и Валя с Иваном Павлычем слушали меня с таким выражением, как будто именно мне предстояло в ближайшем будущем отдать командующему последний рапорт о том, что нашими войсками занят город Берлин. Валя спросил, почему мы не форсируем Вислу, и от души огорчился, когда я отвечал, что не знаю. Что касается Севера, если судить по его вопросам, я командовал не эскадрильей, а фронтом.

Потом Иван Павлыч заговорил о капитане Татаринове. И, немного понизив голос, чтобы не услышала Катя, я рассказал некоторые подробности, о которых не упоминалось в печати. Недалеко от палатки капитана, в узкой расщелине скалы, были найдены могилы матросов — трупы были положены прямо на землю и завалены большими камнями. Медведи и песцы растащили и перемешали кости — один череп был найден в трех километрах от лагеря, в соседней ложбине. Очевидно, последние дни капитан провел в одном спальном мешке с поваром Колпаковым, который умер раньше его. На письме к Марье Васильевне было написано сперва «моей жене», а потом исправлено «моей вдове». Под правой рукой капитана было найдено обручальное кольцо с инициалами М. Т. на внутренней стороне ободка.

Я вынул из чемодана и показал золотой медальон в виде сердечка. На одной стороне был миниатюрный портрет Марьи Васильевны, а на другой — прядь черных волос. И, отойдя к окну, Иван Павлыч надел очки и долго рассматривал медальон. Так долго рассматривал он, вытирал платочком усы и снова рассматривал, что в конце концов мы с Валей подошли к нему и, обняв с обеих сторон, повели и посадили в кресло.

— Но Катя так похожа, боже мой! — сказал он вздохнув.— В декабре будет семнадцать лет. Трудно поверить.

Он попросил меня позвать Катю и рассказал ей, что весной ездил на кладбище, посадил цветы и нанял сторожа покрасить решетку.

До ночи сидели у нас друзья, и Кира уже успела съездить на Сивцев Вражек покормить младшего и вернулась со старшей — той самой, которая в будущем подавала надежды стать знаменитой артисткой. Во всяком случае, по мнению Кириной мамы, покойная Варвара Рабинович со всей своей знаменитой школой «не годилась в подметки» этой девочке, которая еще в грудном возрасте умела великолепно «брать голос и маску», а теперь читала Пушкина не хуже знаменитого Степаняна.

Валя много и не так скучно, как всегда, рассказывал о своих зверях — между прочим, о борьбе с грызунами в траншеях. Я спросил, удалось ли ему в конце концов доказать, что у змей от возраста меняется кровь, или это так и осталось в науке загадкой. Он засмеялся и сказал, что да, удалось.

Это был превосходный день в Москве, начавшийся с того, что больше двух часов мы ждали, пока пленные немцы пройдут мимо нас,— лучше он начаться не мог! Это был день, когда вдруг сверкнуло в душе и осталось навеки сознание победы. Еще она не была напечатана черными буквами на газетном листе, еще многие должны были отдать за нее жизнь, но уже она была ясно видна в том неуловимом чувстве возвращения, которое было, казалось, разлито повсюду. Жизнь возвращалась на старые места, война сделала их совсем другими, и странным, молодым ощущением столкновения нового и старого была полна Москва лета 1944 года.

А вечером был салют. Позывные «важного сообщения» прозвучали без четверти одиннадцать, и Валя сказал, что нужно немедленно бежать на двенадцатый этаж. Лифт был полон, и мы пошли пешком — совершенно напрасно, потому что дорогой выяснилось, что на двенадцатый этаж нельзя попасть иначе как лифтом. Но мы каким-то образом все же добрались, и великолепная вечерняя Москва открылась передо мной, стеснив сердце горячим и острым волнением. Мы с Катей переглянулись улыбаясь. Взявшись за руки, мы стояли у какой-то стены. Как бы не торопясь, озарялось багровыми вспышками спокойное небо, а потом прямо над нами быстро летели вверх и медленно вниз пестрые цветные огни.

Глава седьмая
ДВА РАЗГОВОРА

Два дела было у меня в Москве: первое — доклад в Географическом обществе о том, как мы нашли экспедицию «Св. Марии», и второе — разговор со следователем о Ромашове. Как ни странно, эти дела были связаны между собой, потому что еще из Н. я послал в прокуратуру копию моего объяснения с Ромашовым на Собачьей площадке.

Начну со второго.

Осенью 1942 года Ромашов был осужден — я узнал об этом от работника Особого отдела на Н., который снимал с меня допрос, когда в Москве разбиралось дело. Теперь оно, не знаю почему, было передано в гражданские инстанции и пересматривалось — тоже не знаю почему. Незадолго до моего отъезда из Н. мне сообщили, что в Москве следствие потребует от меня каких-то дополнительных данных.

Все это было неприятно и скучно, и, вспоминая еще дорогой, что мне придется снова войти в утомительную и сложную атмосферу этого дела, я немного расстраивался — отпуск был бы так хорош без него!

На второй день приезда я доложил, что явился, и был немедленно приглашен к следователю, который вел дело Ромашова...

Приемная была общая — полутемный зал, перегороженный деревянным барьером. Широкие старинные скамьи стояли вдоль стен, и самые разные люди — старики, девушки, какие-то военные без погон — сидели на них, дожидаясь допроса.

Я нашел кабинет моего следователя — на двери значилась его странная фамилия: Веселаго,— и, так как было еще рановато, занялся перестановкой флажков на карте, висевшей в приемной. Карта была недурна, но флажки далеко отставали от линии фронта.

Знакомый голос оторвал меня от этого занятия — такой знакомый, круглый, солидный голос, что на одно мгновение я почувствовал себя плохо одетым мальчиком, грязным, с большой заплатой на штанах.

Голос спросил:

— Можно?

Очевидно, было еще нельзя, потому что, приоткрыв дверь к следователю, Николай Антоныч закрыл ее и сел

на скамью с немного оскорбленным видом. Я встретил его в последний раз в метро летом 1942 года — таков он был и сейчас: величественный и снисходительно-важный.

Насвистывая, я переставлял флажки на Втором Прибалтийском фронте. Прошло семнадцать лет с тех пор, как я сказал ему: «Я найду экспедицию, и тогда посмотрим, кто из нас прав». Знает ли он, что я нашел экспедицию? Без сомнения. Но он не знает — в печати об этом не появилось ни слова — о том, что среди бумаг капитана Татаринова обнаружены бесспорные, неопровержимые доказательства моей правоты...

Он сидел, опустив голову, опираясь руками о палку. Потом посмотрел на меня, и невольное быстрое движение пробежало по бледному большому лицу. «Узнал»,— подумал я весело. Он узнал — и отвел глаза.

...Это была минута, когда он обдумывал, как держаться со мной. Сложная задача! Очевидно, он успешно решил ее, потому что вдруг встал и смело подошел ко мне, коснувшись рукой шляпы:

— Если не ошибаюсь, товарищ Григорьев?

— Да.

Кажется, впервые в жизни я с таким трудом произнес это короткое слово. Но и у меня была минута, когда я решил, как нужно держаться с ним.

— Вижу, что время не прошло даром для вас,— глядя на мои орденские ленточки, продолжал он.— Откуда же сейчас? На каком фронте защищаете нас, скромных работников тыла?

— На Крайнем Севере.

— Надолго в Москву?

— В отпуск, на три недели.

— И принуждены терять драгоценные часы в этой приемной? Впрочем, это наш гражданский долг,— прибавил он с почтительным выражением.— Я полагаю, что вы, как и я, вызваны по делу Ромашова?

— Да.

Он помолчал. Ох, как было мне знакомо, как еще в детстве я ненавидел это значительное молчание!

— Не человек, а воплощенное зло,— наконец сказал он.— Я считаю, что общество должно освободиться от него — и как можно скорее.

Если бы я был художником, я бы залюбовался этим зрелищем эпического лицемерия. Но я был обыкновен-

ным человеком, и мне захотелось сказать ему, что, если бы общество своевременно освободилось от Николая Антоныча, ему (обществу) не пришлось бы возиться с Ромашовым.

Я промолчал.

Ни слова еще не было сказано об экспедиции «Св. Марии», но я знал Николая Антоныча: он подошел, потому что боялся меня.

— Я слышал,— начал он осторожно,— что вам удалось довести до конца свое начинание, и хочу от души поблагодарить вас за то, что вы положили на него так много труда. Впрочем, я рассчитываю сделать это публично.

Это значило, что он придет на мой доклад и сделает вид, что мы всю жизнь были друзьями. Он предлагал мне мир. Очень хорошо! Нужно сделать вид, что я его принимаю.

— Да, кажется, кое-что удалось.

Больше я ничего не сказал. Но даже легкая краска появилась на полных бледных щеках — так он оживился. Все прошло и забыто, он теперь влиятельный человек, почему бы мне не наладить с ним отношения? Вероятно, я стал другим — в самом деле, разве жизнь не меняет людей? Я стал таким, как он,— у меня орден, удача, и он может по себе, по своим удачам судить обо мне...

— ...Событие, о котором в другое время заговорил бы весь мир,— продолжал он,— и прах национального героя, каковым по заслугам признан мой брат, был бы торжественно доставлен в столицу и предан погребению при огромном стечении народа.

Я отвечал, что прах капитана Татаринова покоится на берегу Енисейского залива и что он сам, вероятно, не пожелал бы для себя лучшей могилы.

— Без сомнения. Но я говорю о другом — о самой исключительности судьбы его. О том, что забвение как бы шло за ним по пятам и если бы не мы,— он сказал «мы»,— едва ли хоть один человек на земле знал бы, кто он таков и что он сделал для родины и науки.

Это было слишком, и я чуть не сказал ему дерзость. Но в эту минуту дверь открылась, и какая-то девушка, выйдя от следователя, пригласила меня к нему.

...Мне все время казалось, что, если бы следователь (это была женщина) не была такой молодой и краси-

вой, она не допрашивала бы меня так подчеркнуто сухо. Но потом моя история увлекла ее, и она совершенно оставила свой официальный тон.

— Вам известно, товарищ Григорьев,— так она начала, когда я сообщил ей свой возраст, профессию, был ли я под судом и т. д.,— по какому делу я вызвала вас?

Я отвечал, что известно.

— В свое время вы дали показания.— Очевидно, она имела в виду допрос в Н.— В них есть неясности, о которых мне прежде всего необходимо поговорить с вами.

Я сказал:

— К вашим услугам.

— Вот, например.

Она прочитала несколько мест, в которых я дословно передал наш разговор с Ромашовым на Собачьей площадке.

— Выходит, что, когда Ромашов писал на вас заявление, он был как бы орудием в руках другого лица.

— Другое лицо названо,— сказал я.— Это Николай Антоныч Татаринов, который дожидается вас в приемной. Кто из них был орудием, а кто руками — этого я сказать не могу. Мне кажется, что решение подобного вопроса является не моей, а вашей задачей.

Я рассердился, может быть, потому, что донос Ромашова она почтительно назвала заявлением.

— Так вот, остается неясным, какую же цель мог преследовать профессор Татаринов, пытаясь сорвать поисковую партию? Ведь он сам является ученым-полярником, и, казалось бы, розыски его пропавшего брата должны были встретить самое горячее сочувствие с его стороны.

Я отвечал, что профессор Татаринов мог преследовать несколько целей. Прежде всего, он боялся, что успешные поиски остатков экспедиции «Св. Марии» подтвердят мои обвинения. Затем, он не является ученым-полярником, а представляет собою тип лжеученого, построившего свою карьеру на книгах, посвященных истории экспедиции «Св. Марии». Поэтому всякая конкуренция, естественно, задевала его жизненные интересы.

— А у вас были серьезные основания надеяться, что розыски подтвердят ваши обвинения?

Я отвечал, что были. Но этот вопрос теперь не подлежит обсуждению, потому что я нашел остатки экспедиции и среди них — прямые доказательства, которые намерен огласить публично.

Именно после этого ответа следователь стала быстро съезжать с официального тона.

— Как — нашли? — спросила она с искренним изумлением.— Ведь это же было давно. Лет двадцать тому назад или даже больше?

— Двадцать девять.

— Но что же может сохраниться через двадцать девять лет?

— Очень многое,— отвечал я.

— И самого капитана нашли?

— Да.

— И он жив?

— Ну что вы, конечно нет! Можно точно сказать, когда он погиб — между восемнадцатым и двадцать вторым июня тысяча девятьсот пятнадцатого года.

— Ну, расскажите.

Конечно, я не мог рассказать ей все. Но долго ждал приема профессор Татаринов, и, должно быть, многое успел он перебрать в памяти и обо многом переговорить наедине с собой, прежде чем занял мое место у стола этой красивой, любознательной женщины.

И о том, что подлежит суду, и о том, что не подлежит суду за давностью преступления, рассказал я ей. Старая история! Но старые истории долго живут, гораздо дольше, чем это кажется с первого взгляда.

Она слушала меня, и хотя это был по-прежнему следователь, но следователь, который вместе со мной разбирал письма, некогда занесенные на двор половодьем, и вместе со мной делал выписки из полярных путешествий, и вместе со мной перебрасывал учителей, врачей, партработников в глухие ненецкие районы. Дневники штурмана Климова были уже прочитаны, и старый латунный багор найден — последний штрих, так мне казалось тогда, в стройной картине доказательств. Но вот я дошел до войны и замолчал, потому что беспредельная панорама всего, что мы пережили, открылась передо мной и в ее глубине лишь чуть-чуть светилась мысль, которая всю жизнь волновала меня. Это было трудно объяснить незнакомому человеку. Но я объяснил.

— Капитан Татаринов понимал все значение Северного морского пути для России,— сказал я,— и нет ничего случайного в том, что немцы пытались перерезать этот путь. Я был человеком войны, когда летел к месту гибели экспедиции «Святой Марии», и я нашел ее, потому что был человеком войны.

Глава восьмая
ДОКЛАД

На этот раз я не добивался чести выступить с докладом в Географическом обществе и не получал любезного приглашения представить свой доклад в письменном виде. Я дважды отказывался от выступления, потому что прошел лишь месяц с тех пор, как была опубликована замечательная статья профессора В. о научном наследстве «Св. Марии». Когда он сам позвонил мне, я согласился.

...Все пришли на этот доклад, даже Кирина мама. К сожалению, я не запомнил ту маленькую приветственную речь с цитатами из классиков, которою она встретила меня. Речь немного затянулась, и мне стало смешно, когда я увидел, с каким покорным отчаянием Валя слушал ее.

Кораблева я посадил в первом ряду, прямо напротив кафедры,— ведь я привык смотреть на него во время своих выступлений.

— Ну, Саня,— сказал он весело,— уговор. Я положу руку вот так, вниз ладонью, а ты говори и на нее посматривай! Стану похлопывать, значит, волнуешься. Нет — значит, нет.

— Иван Павлыч, дорогой!

Разумеется, я ничуть не волновался, хотя, в общем, это было довольно страшно. Я беспокоился лишь, придет ли на мой доклад Николай Антоныч.

Он пришел. Развешивая карты, я обернулся и увидел его в первом ряду, недалеко от Кораблева. Он сидел, положив ногу на ногу и глядя прямо перед собой с неподвижным выражением. Мне показалось, что он изменился за эти несколько дней: в лице его появилось что-то собачье, щеки обвисли, над воротником была высоко видна морщинистая, похудевшая шея.

Конечно, мне было очень приятно, когда председатель, старый, знаменитый географ, прежде чем предоставить мне слово, сам сказал несколько слов обо мне. И даже пожалел, что у него такой тихий голос. Он сказал, что я «один из тех людей, с которыми тесно связана история освоения Арктики большевиками». Потом он сказал, что именно моему «талантливому упорству» советская арктическая наука обязана одной из своих интереснейших страниц,— и я тоже не стал возражать, тем более что в зале зааплодировали, и громче всех — Кирина мама.

Пожалуй, не стоило делать такого длинного вступления, посвященного истории Северного морского пути, хотя это была интересная история.

Я довольно плохо рассказал об этом — часто останавливался, забывал самые простые слова и вообще «мекал», как потом объявила Кира.

Но вот где-то далеко, в темном конце прохода, мелькнула и скрылась Катя. Она была немного больна — простудилась — и обещала мне остаться дома. Как это было хорошо, что она приехала, просто прекрасно! У меня сразу сделалось веселее на душе, и я стал говорить увереннее и тверже.

— Может быть, вам покажется странным,— сказал я,— что в дни войны я намерен доложить вам о старинной экспедиции, окончившейся около тридцати лет тому назад. Это — история. Но мы не забыли нашей истории, и возможно, что наша главная сила заключается именно в том, что война не остановила ни одной из великих мыслей, которые преобразили нашу страну. Завоевание Севера принадлежит к числу этих мыслей.

Я запнулся, потому что мне захотелось рассказать, как мы с Ледковым осматривали Заполярье, но это было далеко от темы доклада, и не очень ловко я свернул на биографию капитана.

С непостижимым чувством рассказывал я о нем! Как будто не он, а я был этот мальчик, родившийся в бедной рыбачьей семье на берегу Азовского моря. Как будто не он, а я в юности ходил матросом на нефтеналивных судах между Батумом и Новороссийском. Как будто не он, а я выдержал экзамен на «морского прапорщика» и потом служил в Гидрографическом управлении, с гордым равнодушием перенося высокомерное непризнание офицерства. Как будто не он, а я делал заметки на

полях нансеновских книг и гениальная мысль: «Лед сам решит задачу» — была записана моей рукой. Как будто его история окончилась не поражением и безвестной смертью, а победой и счастьем. И друзья, и враги, и любовь повторились снова, но жизнь стала иной, и победили не враги, а друзья и любовь.

Я говорил и все с большей силой испытывал то чувство, которое не могу назвать иначе, как вдохновением. Как будто на далеком экране под открытым небом я увидел мертвую, засыпанную снегом шхуну. Мертвую ли? Нет, стучат, забивают досками световые люки, обшивают толем и войлоком потолки — готовятся к зимовке...

Моряки, стоявшие в проходе, расступились перед Катей, когда она шла к своему креслу, и я подумал, что это очень справедливо, что они так почтительно расступаются перед дочерью капитана Татаринова. Но она была еще и лучше всех — особенно в этом простом английском костюме. Она была лучше всех — и тоже каким-то образом участвовала в этом восторге, в этом вдохновении, с которым я говорил о плавании «Св. Марии».

Но пора было переходить к научной истории дрейфа, и я начал ее с утверждения, что факты, которые были установлены экспедицией капитана Татаринова, до сих пор не потеряли своего значения. Так, на основании изучения дрейфа известный полярник профессор В. предположил существование неизвестного острова между 78-й и 80-й параллелями, и этот остров был открыт в 1935 году — и именно там, где В. определил его место. Постоянный дрейф, установленный Нансеном, был подтвержден путешествием капитана Татаринова, а формулы сравнительного движения льда и ветра представляют собой огромный вклад в русскую науку.

Движение интереса пробежало по аудитории, когда я стал рассказывать о том, как были проявлены фотопленки экспедиции, пролежавшие в земле около тридцати лет.

Свет погас, и на экране появился высокий человек в меховой шапке, в меховых сапогах, перетянутых под коленями ремешками. Он стоял, упрямо склонив голову, опершись на ружье, и мертвый медведь, сложив лапы как котенок, лежал у его ног. Он как будто вошел в этот зал — сильная, бесстрашная душа, которой было нужно так мало!

Все встали, когда он появился на экране, и такое молчание, такая торжественная тишина воцарились в зале, что никто не смел даже вздохнуть, не то что сказать хоть слово.

И в этой торжественной тишине я прочитал рапорт и прощальное письмо капитана:

— «...Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение — что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли...» Но в этом письме,— продолжал я, когда все сели,— есть еще одно место, на которое я должен обратить ваше внимание. Вот оно: «Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам...» Кто же этот человек, самого имени которого капитан не хотел называть перед смертью? Это о нем он писал в другом письме: «Можно смело сказать, что всеми своими неудачами мы обязаны только ему». О нем он писал: «Мы шли на риск. Мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара». О нем он писал: «Главная неудача — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежедневно, ежеминутно,— та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю».

Николаю! Но мало ли Николаев на свете!

Конечно, на свете много Николаев и даже в этой аудитории их было немало, но только один из них вдруг выпрямился, оглянулся, когда я громко назвал это имя, и палка, на которую он опирался, упала и покатилась. Ему подали палку.

— Не для того я хочу сегодня полностью назвать это имя, чтобы решить старый спор между мною и этим человеком. Наш спор давно решен — самой жизнью. Но в своих статьях он продолжает утверждать, что всегда был благодетелем капитана Татаринова и что даже самая мысль «пройти по стопам Норденшельда», как он пишет, принадлежала ему. Он так уверен в себе, что имел смелость явиться на мой доклад и сейчас находится в этом зале.

Шепот пробежал по рядам, потом стало тихо, потом снова шепот. Председатель позвонил в колокольчик.

— Странная судьба! До сих пор он действительно ни разу не был назван полностью — именем, отчеством и фамилией. Но среди прощальных писем капитана мы нашли и деловые бумаги. С одной из них, очевидно, капитан никогда не расставался. Это копия обязательства, согласно которому: 1. По возвращении на Большую землю вся промысловая добыча принадлежит Николаю Антоновичу Татаринову — полностью имя, отчество и фамилия. 2. Капитан заранее отказывается от всякого вознаграждения. 3. В случае потери судна капитан отвечает всем своим имуществом перед Николаем Антоновичем Татариновым — полностью имя, отчество и фамилия. 4. Самое судно и страховая премия принадлежат Николаю Антоновичу Татаринову — полностью имя, отчество и фамилия. Когда-то в разговоре со мной этот человек сказал, что только одного свидетеля он признáет: самого капитана. Пусть же он теперь перед всеми нами откажется от этих слов, потому что сам капитан теперь называет его — полностью именем, отчеством и фамилией!

Страшная суматоха поднялась в зале, едва я кончил свою речь: в передних рядах многие встали, в задних стали кричать, чтобы садились — не видно, а он стоял, подняв руку с палкой, и кричал:

— Я прошу слова, я прошу слова!

Он получил слово, но ему не дали говорить. В жизни моей я не слышал такого дьявольского шума, который поднимался, едва он открывал рот. Но он все-таки сказал что-то — никто не расслышал — и, тяжело стуча палкой, сошел с кафедры и направился к выходу вдоль зрительного зала. Он шел в полной пустоте — и там, где он проходил, долго была еще пустота, как будто никто не хотел идти там, где он только что прошел, стуча своей палкой.

Глава девятая
И ПОСЛЕДНЯЯ

Вагон шел до Энска, значит, все эти люди, расположившиеся где придется — на полу и на полках, в переполненном, полутемном вагоне,— ехали в Энск. В прежние времена этого было достаточно, чтобы его народонаселение увеличилось чуть ли не вдвое.

Мы познакомились с соседями или, вернее, с соседками (потому что это были студентки московских вузов), и они сказали, что едут в Энск на работу.

— На какую же?

Еще неизвестно. На шахты.

Если не считать подкопа в Соборном саду, о котором Петька когда-то говорил, что он идет под рекой и что в нем «на каждом шагу скелеты», в Энске никогда не было ничего похожего на шахты. Но девушки утверждали, что едут на шахты.

Как всегда, уже через три-четыре часа в каждом отделении образовалась своя жизнь, не похожая на соседнюю, как будто тонкие, не доверху, дощатые стенки разделили не вагон, а чувства и мысли. В одних отделениях стало шумно и весело, а в других скучно. У нас — весело, потому что девушки, немного погрустив, что не удалось остаться на летнюю работу в Москве, и поругав какую-то Машку, которой это удалось, стали петь, и весь вечер мы с Катей слушали современные военные романсы, среди которых несколько было забавных. В общем, девушки пели до самого Энска, даже ночью — почему-то они решили не спать. Так и прошла вся недолгая дорога — тридцать четыре часа — в пении девушек и в дремоте под это молодое, то веселое, то грустное, пение.

Прежде поезд приходил рано утром, а теперь — под вечер, так что, когда мы слезли, маленький вокзал показался мне в сумерках симпатичным и старомодно-уютным. Но прежний Энск кончился там, где кончился широкий, в липах, подъезд к этому зданию, потому что, выйдя на бульвар, мы увидели вдалеке какие-то темные корпуса, над которыми быстро шли багрово-дымные облака, освещенные снизу. Это был такой странный для Энска пейзаж, что я даже сказал девушкам, что, очевидно, где-то в Заречной части пожар, и они поверили, потому что дорогой я хвастался, что родом из Энска и что мне знаком каждый камень. Но оказалось, что это не пожар, а пушечный завод, выстроенный в Энске за годы войны.

Я видел, как необыкновенно изменились за время войны наши города — например, М—ов,— но я не знал их в детские годы. Теперь, когда мы с Катей шли по быстро темнеющим Застенной, Гоголевской, мне казалось, что эти улицы, прежде лениво растянувшиеся вдоль

крепостного вала, теперь поспешно бегут вверх, чтобы принять участие в этом беспрестанном огненно-дымном движении облаков над заводскими корпусами. Это было первое, но верное впечатление — перед нами был хорошо вооруженный город. Конечно, для меня он был прежним, родным Энском, но теперь я встретился с ним, как со старым другом,— когда вглядываешься в знакомые изменившиеся черты и невольно смеешься от нежности и волнения и не знаешь, с чего начать разговор.

Еще из Полярного мы писали Пете, что приедем навестить стариков, и он рассчитывал подогнать к этому времени давно обещанный отпуск.

Никто не встретил нас на вокзале, хотя я телеграфировал из Москвы, и мы решили, что Пете не удалось приехать. Но первый, кого мы встретили у подъезда между сердитыми львиными мордами дома Маркузе, был именно Петя, которого я сразу узнал, даром что из рассеянной, задумчивой личности с вопросительным выражением лица он превратился в бравого, загорелого офицера.

— Ага, вот они где! — сказал он, как будто долго искал и наконец нашел нас.

Мы обнялись, а потом он шагнул к Кате и взял ее руки в свои. У них было свое — Ленинград, и, когда они стояли, сжимая руки друг другу, даже я был далек от них, хотя, может быть, ближе меня у них не было человека на свете.

Тетя Даша спала, когда мы ворвались в ее комнату, и, вероятно, решила, что мы приснились ей, потому что, приподнявшись на локте, долго рассматривала нас с задумчивым видом. Мы стали смеяться, и она очнулась.

— Господи, Санечка! — сказала она.— И Катя! А сам-то опять уехал!

«Сам» — это был судья, а «опять уехал» — это значило, что, когда мы с Катей лет пять назад приезжали в Энск, судья был на сессии где-то в районе.

Стоит ли рассказывать о том, как хлопотала, устраивая нас, тетя Даша, как она огорчалась, что пирог приходится ставить из темной муки и на каком-то «заграничном сале». Кончилось тем, что мы силой усадили ее, Катя принялась за хозяйство, мы с Петей вызвались помогать ей, и тетя Даша только вскрикивала и ужасалась, когда Петя «для вкуса», как он объявил, всадил в тесто какие-то концентраты, а я вместо соли едва не отправил туда же стиральный порошок. Но, как ни странно, тесто прекрасно подошло, и, хотя тетя Даша, положив кусочек его в рот, сказала, что мало «сдобы», видно было, что пирог, по военному времени, вышел недурной.

За обедом тетя Даша потребовала, чтобы ей было рассказано все, начиная с того дня и часа, когда мы пять лет тому назад расстались с нею на Энском вокзале. Но я убедил ее, что подробный отчет нужно отложить до приезда судьи; зато Петю мы заставили рассказать о себе.

С волнением слушал я его. С волнением — потому что знал его больше двадцати пяти лет и теперь он вовсе не казался мне другим человеком, как его рисовала Катя. Но то загадочное для меня «зрение художника», которое всегда отличало Петю в моих глазах от обыкновенных людей, теперь стало определеннее и точнее.

Он показал нам свои альбомы — последний год Петя находился уже не в строю: работал художником фронтового театра.

Это были зарисовки боевой жизни, часто беглые, торопливые. Но та нравственная сила, которую знает каждый, кто провел в нашей армии хотя бы несколько дней, была отражена в них с удивительной глубиной.

Часто я останавливался перед незабываемыми картинами войны, инстинктивно сожалея, что одна, бесследно исчезая, сменяет другую. Теперь я увидел их в едва намеченном, но глубоком гениальном преображении.

— Ну вот,— добродушно улыбнувшись, сказал Петя, когда я поздравил его,— а судья говорит, что плохо. Мало героизма. И сын рисует,— добавил он, выпятив нижнюю губу, как всегда, когда бывал доволен.— Ничего, кажется, способный.

Катя достала из чемодана письма от Нины Капитоновны, которая еще жила с Петенькой под Новосибирском, и тетя Даша, всегда интересовавшаяся бабушкой, потребовала, чтобы несколько из них были прочитаны вслух.

Бабушка по-прежнему жила отдельно, не в лагере, хотя директор Перышкин лично посетил ее и, принеся

извинения, просил вернуться в лагерь. Но бабушка «поблагодарила и отказалась, потому что смолоду кланяться не приучена», как она писала. Отказалась и вдруг, поразив весь район, поступила в культмассовый сектор местного Дома культуры.

«Учу шить и кроить,— кратко писала она,— а тебя и Саню поздравляю. Я его давно узнала, еще когда мал был, и, чтобы вырос, я его гречею кормила. Он славный... А ты не замучай его, у тебя характер неважный».

Это был ответ на письмо, в котором мы сообщали ей, что нашли друг друга.

«Не спала всю ночь,— писала она, получив известие о том, что найдены остатки экспедиции,— все думала о бедной Маше. И думала, что это к лучшему, что страшная судьба твоего отца осталась ей неизвестна».

Петенька был здоров, очень вырос, судя по фото, и стал еще больше похож на мать. Мы вспомнили Саню — и долго молчали, как бы вновь остановившись с тоской перед этой бессмысленной смертью.

Еще весной Катя стала хлопотать пропуска в Москву для бабушки и Петеньки, и была надежда, что мы увидим их на обратном пути.

Старая моя или Катина мысль, чтобы одной семьей поселиться в Ленинграде, не раз была повторена в этот вечер. Одной семьей — с бабушкой и обоими Петями, маленьким и большим. Но больной немного смутился, когда в будущей квартире, которая была уже получена в воображении, и не где-нибудь, а на Кировском проспекте, мы отвели ему студию в стороне, чтобы никто не мешал. Кажется, он не имел ничего против того, чтобы одна женщина, о которой Катя отзывалась с восторгом, иногда мешала ему. Но, разумеется, в этот вечер никто не сказал о ней ни слова...

Еще весь дом спал, когда вернулся судья. Он так зарычал и стал сердиться, когда тетя Даша собралась поднять нас, что пришлось притвориться и полежать еще полчаса. Точно как пять лет назад, он долго фыркал и кряхтел в кухне — мылся. И слышно было, как прошел по коридору и с него гулко падали капли.

Катя снова уснула, а я тихонько оделся и пошел в кухню, где он сидел и пил чай, босой, в чистой рубахе, с еще мокрыми после мытья головой и усами.

— Разбудил все-таки! — сказал он и, шагнув навстречу, крепко обнял меня.

Когда бы я ни вернулся в родной город, в родной дом, суровое: «Ну, рассказывай» — неизменно ждало меня. Старик желал знать, что я делал и правильно ли я жил за годы разлуки. Строго уставясь на меня из-под густых бровей, поросших длинными, толстыми волосами, он допрашивал меня, как настоящий судья, и я знал, что нигде на свете не найду более справедливого приговора... Но на этот раз — впервые в жизни — судья не потребовал у меня отчета.

— Все ясно,— сказал он, с довольным видом уставясь на мои ордена.— Четыре?

— Да.

— И пятый — за капитана Татаринова,— серьезно сказал судья.— Это трудно формулировать, но получишь.

Это действительно было трудно формулировать, но, очевидно, старик серьезно взялся за дело, потому что вечером, когда мы снова встретились за столом, сказал речь и в ней попытался подвести итоги тому, что я сделал.

— Жизнь идет,— сказал он.— Зрелые, законченные люди, вы приехали в родной город и вот говорите, что его трудно узнать, так он изменился. Он не только изменился — он сложился, как сложились вы, открыв в себе силы для борьбы и победы. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя, дорогой Саня. Ты нашел экспедицию капитана Татаринова — мечты исполняются, и часто оказывается реальностью то, что в воображении представлялось наивной сказкой. Ведь это к тебе обращается он в своих прощальных письмах — к тому, кто будет продолжать его великое дело. К тебе — и я законно вижу тебя рядом с ним, потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество и науку.

И он поднял рюмку и до дна выпил за мое здоровье.

До поздней ночи сидели мы за столом. Потом тетя Даша объявила, что пора спать, но мы не согласились и пошли гулять на Песчинку.

По-прежнему сменяя друг друга, торопливо бежали над заводом огненно-темные облака.

Мы спустились к реке и прошли до Пролома, подле которого худенький черный мальчик в широких штанах когда-то ловил голубых раков на мясо. Как будто время остановилось и терпеливо ждало меня на этом берегу, между старинных башен, у слияния Песчинки и Тихой,— и вот я вернулся, и мы смотрим друг другу в лицо. Что ждет меня впереди? Какие новые испытания, новый труд, новые мечты, счастье или несчастье? Кто знает... Но я не опускаю глаз под этим неподкупным взглядом.

Пора было возвращаться: Кате стало холодно, и, пройдя вдоль набережной, заваленной лесом, мы повернули домой.

В городе было тихо и как-то таинственно. Мы долго шли, обнявшись, и молчали. Мне вспомнилось наше бегство из Энска. Город был такой же темный и тихий, а мы — маленькие, несчастные и храбрые, а впереди — страшная и неизвестная жизнь...

У меня были мокрые глаза, и я не вытирал этих радостных слез и не стеснялся, что плачу.

ЭПИЛОГ

Чудная картина открывается с этой высокой скалы, у подошвы которой растут, пробиваясь между камней, дикие полярные маки. У берега еще видна открытая зеркальная вода, а там, дальше, полыньи и лиловые, уходящие в таинственную глубину ледяные поля. Здесь необыкновенной кажется прозрачность полярного воздуха. Тишина и простор. Только ястреб иногда пролетит над одинокой могилой.

Льды идут мимо нее, сталкиваясь и кружась,— одни медленно, другие быстрее.

Вот проплыла голова великана в серебряном сверкающем шлеме; все можно рассмотреть: зеленую косматую бороду, уходящую в море, и приплюснутый нос, и прищуренные глаза под нависшими седыми бровями.

Вот приближается ледяной дом, с которого, звеня бесчисленными колокольчиками, скатывается вода; а вот большие праздничные столы, покрытые чистыми скатертями.

Идут и идут, без конца и края!

Заходящие в Енисейский залив корабли издалека видят эту могилу. Они проходят мимо нее с приспущенными флагами, и траурный салют гремит из пушек, и долгое эхо катится не умолкая.

Могила сооружена из белого камня, и он ослепительно сверкает под лучами незаходящего полярного солнца.

На высоте человеческого роста высечены следующие слова:

«Здесь покоится тело капитана И. Л. Татаринова, совершившего одно из самых отважных путешествий и погибшего на обратном пути с открытой им Северной Земли в июне 1915 года.

Бороться и искать, найти и не сдаваться».

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ ВТОРОЙ

Часть шестая, рассказанная Катей Татариновой

МОЛОДОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Глава первая. «Ты его не знаешь» 3
Глава вторая. На Собачьей площадке 8
Глава третья. «Счастливого плавания и достижений» 13
Глава четвертая. Мы пьем за Саню 18
Глава пятая. Здесь написано: «Шхуна „Св. Мария“» 25
Глава шестая. У бабушки 28
Глава седьмая. Зима 34
Глава восьмая. Ленинград 38
Глава девятая. Встреча 45
Глава десятая. Ночь 49
Глава одиннадцатая. Сестра 52
Глава двенадцатая. Последнее прощание 58
Глава тринадцатая. Маленький Петя 60
Глава четырнадцатая. Ночной гость 62
Глава пятнадцатая. Молодость продолжается . . . 65
Глава шестнадцатая. «Я вижу тебя с малышом на руках...» 69

Часть седьмая

РАЗЛУКА

Глава первая. Пять лет 73
Глава вторая. О чем рассказала бабушка 83
Глава третья. «Помни, ты веришь» 87
Глава четвертая. «Непременно увидимся, но не скоро» 90
Глава пятая. Брат 97
Глава шестая. Теперь мы равны 99
Глава седьмая. «Екатерине Ивановне Татариновой-Григорьевой» 102
Глава восьмая. Это сделал доктор 106
Глава девятая. А жизнь идет 108
Глава десятая. Ужин. «Не обо мне речь» 112
Глава одиннадцатая. Верю 116
Глава двенадцатая. Надежда 120
Глава тринадцатая. Теряю надежду 126
Глава четырнадцатая. «Да спасет тебя любовь моя!» 129
Глава пятнадцатая. Прости, Ленинград! 134

Часть восьмая, рассказанная Саней Григорьевым

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ

Глава первая. Утро 141
Глава вторая. Он 143
Глава третья. Все, что могли 147
Глава четвертая. «Это ты, сова?» 149
Глава пятая. Старые счеты 151
Глава шестая. Девушки из Станислава 155
Глава седьмая. Никто не узнает 157
Глава восьмая. В осиновой роще 161
Глава девятая. Один 163
Глава десятая. Мальчики 165
Глава одиннадцатая. О любви 167
Глава двенадцатая. В госпитале 170
Глава тринадцатая. Приговор 174
Глава четырнадцатая. Ищу Катю 177
Глава пятнадцатая. Встреча с гидрографом Р. . . 182
Глава шестнадцатая. Решение 187
Глава семнадцатая. Друзья, которых не было дома 190
Глава восемнадцатая. Старый знакомый. Катин портрет 193
Глава девятнадцатая. «Ты меня не убьешь» . . . 197
Глава двадцатая. Тень 201

Часть девятая

НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

Глава первая. Жена 208
Глава вторая. Еще ничего не кончилось 212
Глава третья. Свободная охота 217
Глава четвертая. Доктор служит в Полярном . . . 221
Глава пятая. «За тех, кто в море» 226
Глава шестая. Большие расстояния 227
Глава седьмая. Снова в Заполярье 231
Глава восьмая. Победа 238

Часть десятая

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Глава первая. Разгадка 242
Глава вторая. Самое невероятное 246
Глава третья. Это была Катя 250
Глава четвертая. Прощальные письма 256
Глава пятая. Последняя страница 260

Глава шестая. Возвращение 264
Глава седьмая. Два разговора 269
Глава восьмая. Доклад 274
Глава девятая, и последняя 278
Эпилог 285

ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ КАВЕРИН

ДВА КАПИТАНА

Роман

Книга вторая

Редактор *М. Климова.* Художественный редактор *И. Сальникова.* Технический редактор *В. Нефедова.* Корректоры *Т. Медведева* и *Т. Почукалина.* ИБ № 1558. Сдано в набор 10.05.79. Подписано в печать 26.10.79. Бум. газетная. Формат 84×108 1/32. Печать высокая. Гарнитура «Обыкновенная». 15,12 усл. печ. л. 15,443 уч.-изд. л. Заказ № 85. Тираж 500 000 (2-й з-д 150 001—300 000) экз. Цена 45 коп. Издательство «Художественная литература». 107882 Москва, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28